

ЛЕВ СЛАВИН

Антверпские
летрасны

८



ЛЕВ СЛАВИН

Арденнские страсти

РОМАН

МОСКВА • СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ • 1978

Имя Льва Славина хорошо известно советскому читателю. Его пьеса «Интервенция» больше сорока лет не сходит со сцен советских театров, его книги выдержали десятки изданий.

В новом романе Л. Славина развернуты картины одной из операций второй мировой войны. Речь идет о наступлении немецко-фашистских войск в Арденнах в декабре 1944 — январе 1945 года. Англия пережила тяжелые дни. Английское правительство с согласия американского попросило помощи Советских Вооруженных Сил. Советские войска повели успешное наступление на широком фронте от Балтийского моря до Карпат и заставили гитлеровцев прекратить Арденнскую операцию.

В романе много персонажей. Действие перебрасывается из кабинета Гитлера в осажденный город Бастонь, из штаба Эйзенхауэра в партизанский отряд. Перед читателем проходят как бы кадры Арденнской операции, рассмотренной зорким взглядом писателя через несколько десятилетий.

СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА ПЕРВОГО ЛЕЙТЕНАНТА ЛАЙОНЕЛА ОСБОРНА

Записи от 5—10 декабря 1944 года

Второй день я мотаюсь в этой курортной, наполовину разбомбленной дыре Спа и все не могу найти попутной машины в часть.

И вообще сдается, что войны вовсе и нет.

А ее и вправду нет в Арденнах.

Это, положим, не мои слова. Это сказал мне за обедом саперный капитан, похожий на постаревшего кролика.

Когда он ест, его оттопыренные уши (точь-в-точь две улитки!) шевелятся в такт жеванью. Честное слово, я насобачился по частоте этого ритма судить о вкусовых качествах жратвы в этой интендантской объедаловке, забравшейся в роскошные залы ванного заведения «Петр Великий». Крыша стеклянная. Окна под потолком.

Поинтересовался:

— Что это еще за «Петр Великий»?

Капитан меня просветил:

— Русский император. Лечился здесь. Имейте в виду, эту знаменитую воду не вывозят. Пользоваться можно только здесь. Ходить недалеко: источник «Петр Великий» тут же, в подвале. Волшебная водичка! Хочешь — пей, хочешь — купайся. Курорт! И не только здесь, в Спа. Весь наш фронт от самого Ахена и до Трира — сплошной курорт. Последний выстрел я слышал, когда у Сен-Вита обивал окопы досками. И то, по-моему, из охотничьего ружья.

Ну, я ему на это сказал, что не мешало хотя бы по-

штукатурить облупленные стены «Петра Великого». А он начал вздыхать и качать головой. Что, мол, делать! У немцев здесь было офицерское казино. И они разрисовали все стены в своем анально-фекальном стиле. Пришлось сбивать эту порно, чтобы наши ребятки не воспалялись излишне. Я, правда, полюбопытствовал:

— А что ж это за такой стиль?

— А вот полюбуйтесь.

И он вынул из кармана статуэтку. Маленькая борода-тая собачка. Я взял ее, осмотрел. Ничего особенного. Собачка как собачка.

А он так хитренько улыбнулся, говорит:

— Это же машинка для чинки карандашей. Вся штука в том, куда вставляется карандаш. Под хвост! Весело, да? Или вот еще.

Опять он полез в карман и вытащил фарфоровую пепельницу. Посреди нее была выложена фарфоровая же и очень натурально сделанная кучка кала.

Спрашиваю:

— Вы что, собираете эти прелести?

Он сказал:

— Забавно же...

И принялся за суп.

Смотрю: уши его замолотили как сумасшедшие. А очень просто: овсяный суп с опостылевшей свиной тушенкой был преме-рзким и, значит, капитан спешил раз-делаться с ним побыстрее. Но это не мешало ему ра-ботать языком. Так и сыпал именами. Пришлось мне оста-навливать его чуть ли не на каждом слове.

Говорит:

— Старик Трой Миддлтон, конечно, вне себя...

— Стоп! Это кто?

А он недоверчиво:

— А вы не знаете?

— Я же не вашего фронта.

— Это наш командующий корпусом. Да и вся эта штабная бражка Восьмого корпуса ворчит: нет боев, нет наград. Весь Спа нафарширован штабами. Здесь вы можете увидеть Ходжеса...

— Стоп!

— Все забываю, что вы не наш. Командующий Пер-вой армией. Да и сам Брэдли изредка наезжает. Омар Брэдли, командующий Двенадцатой группой армий.

— Это-то я знаю.

— И вообще генералов тут у нас, в Спа, хватает. Как-то прикатил старик Уильям Симпсон из Девятой, из Маастрихта, принял парочку углекислых «петров великих». А однажды удостоил нас визитом сам Монти.

Говорю:

— А не заливаете, капитан? Фельдмаршал Монтгомери?

Я подумал, что ослышался.

Но он:

— Во-во! Собственной персоной. Хотя лайми там, под Антверпеном, не очень-то потеют.

Так я узнал, что англичан наши ребята называют «лайми». Это, я сказал бы, не чересчур почетное прозвище.

А он сыплет дальше:

— Слушайте, Симпсон, часом, не индейского происхождения? С его носом, изогнутым, как клюв коршуна, он сильно смахивает на какого-нибудь ирокезишку. Как же он все-таки докарабкался до генерал-лейтенанта, а?

Подали бараньи котлетки, и тут уши капитана замолотили в темпе модерато. Действительно, не совру, котлетки прямо таяли во рту, нежные, в пикантных сухарях, отлично прожаренные.

А капитан бубнит:

— Да и воевать тут, собственно, некому. И не с кем. На весь фронт в сто двадцать километров у нас тут четыре дивизии Ходжеса неполного состава. И резерва никакого. А зачем он здесь? А у мофов и того нет.

Так я узнал, что немцев тут называют «мофы», словечко голландское и довольно крепкое.

— Глушь. (Это все он говорит.) Леса. Ни тебе дотов. Ни тебе минных полей. Да и ни к чему они здесь. Горы. Непроходимые горы. Дорог нет. Вот и шлют нам с других участков потрепанные части для отдыха и поправки. Да еще новобранцев обучаться. Я вижу, вы хромаете? Из госпиталя? Ничего. У нас вы быстро поправитесь. Витамина тут, в Арденнах, в воздухе, прямо трещат на зубах. Вот придет весна — в горных речках форель, в лесу кабаны. Как вы насчет охоты, не любитель?

Он, наверно, обомлел, когда я встал и не простившись вышел из столовой. Как подумаешь, что в Тихом океане, и в Бирме, и у Окинавы, и в Италии, и в России ребята

сгорают, тонут, разлетаются в куски! А эта старая ухорвертка забаррикадировалась Арденнами и наворачивает бараньи котлетки!

Хотя, в сущности, чем он виноват!

В конце концов, сказать по правде, мне тоже не мешает после ранения отдохнуть, вернуть форму. Эх, как я вспомню свой старый уютный контрабас, на котором я работал в нашей кафешке «Магические брызги»... Нет, нет! К черту! Не буду расслабляться. Я уже заметил: чуть я начинаю что-нибудь такое, рана кровоточит.

Значит, так. Медленно я плелся по улицам Спа. Все-таки он не очень разбомблен. Отели первоклассные. Ван-ные заведения прямо как дворцы. А кругом горы. Как будто их здесь поставили специально для обстановки люкс. Лес на них темно-зеленый, из него так и тянет кондиционинг-воздухом.

Прошел через маленькую площадь. Смотрю: памятник какому-то усатому типу. Оказывается, это маршал Жоффри — прямо морж на коне. А все-таки немцы его не снесли! Хотя им доставалось от него в ту войну. Может, просто руки не дошли.

Горка снежная. Издали показалось: дети катаются с нее. Подхожу: солдаты! Хохочут. И съезжают на детских салазках. Вояки! Отвратительно. На меня никакого внимания.

Хорошо, но все-таки мне надо где-нибудь переночевать! Я решил опять завернуть к коменданту. А вдруг? И что же — действительно повезло. Только я вошел в комендантское управление, как дежурный сержант орет:

— Первый лейтенант Осборн! Хорошо, что вы пришли! Есть машина. Правда, не военная. Ну да тут у нас тихо. Мистер Ли согласился подхватить вас.

Через полчаса мы выезжали из города вверх по узкой аллее, обсаженной елями.

Мистер Ли сказал:

— Забавный городишко, а?

Он сам сидел за баранкой своего старого «бьюнка», джентльмен средних лет, в куртке с кенгуровым воротником. Машину ведет неплохо.

А сосед мой — мы его прихватили в комендантском, молоденький парнишка в берете и камуфлированном комбинезоне десантника-коммандоса, или, как англичане говорят, «рейнджерс», — так он говорит брезгливо:

— Помойная яма...

Спа, значит.

Я не удержался и спросил, глядя на его английское обмундирование:

— Каким ветром тебя занесло к нам?

Он пробормотал:

— Из окружения... Пробираюсь в Бастонь. Там пункт сбора.

Дорога паршивая, извилистая, с крутыми поворотами. С гор туман. Мистер Ли выжимал не менее ста и при этом беспрерывно болтал, иногда даже жестикулировал. Я подумывал: а не отнять ли у него баранку? Голос у него скучный, и он бубнил:

— Нет, городишко любопытный. Знаете ли вы, ребята, что в первую мировую войну в Спа была ставка германского императора Вильгельма Второго?

Я подмигнул десантнику, а он поджал губы: мне, мол, наплевать.

На императора, конечно.

А я спросил из чистой вежливости, все-таки машина его, то есть мистера Ли, он же мог и не взять нас с собой, это надо ценить. Так я спросил:

— Это тот, который с усами, закрученными кверху? Я имел в виду императора.

В это время из-за поворота вылетел «додж» три четверти¹. Я закрыл лицо руками. Но сквозь пальцы смотрел. Мистер Ли отчаянно выкрутил баранку сначала вправо, оба правых ската завертелись в воздухе над пропастью, потом влево. «Додж» пронесся с дьявольским грохотом. И вот мы снова всеми четырьмя лапками на земле и мирно катим дальше.

— That's some driving!² — крикнул десантник.

«Р» у него было раскатистое, славянское.

Спрашиваю:

— Русский?

— Поляк.

Ну, я назвал себя. И он назвал себя:

— Сержант Феликс Маньковский.

Мистер Ли опять завел свою говорильную машину:

¹ Осборн имеет в виду полугрузовичок вместимостью в три четверти тонны.

² Вот это езда! (англ.)

— Бьюсь об заклад, вы не знаете, что было в Спа летом тысяча девятьсот двадцатого года!

Я посмотрел на поляка. Он пожал плечами и сказал:

— Вы не могли бы рассказывать быстрее, а ездить медленнее?

А мистер Ли заявляет:

— Летом двадцатого года здесь, в Спа, состоялась конференция держав-победительниц. Они определили размер репараций с Германии и запретили ей на веки вечные вооружаться. И вот мы опять с ней воюем.

Я, конечно, дал тут же отпор:

— Ну, теперь мы наступим ей на пах так, что она не пикнет.

Маньковский покосился на меня. Вообще этот мальчишка в камуфляже начал раздражать меня своим вызывающим молчанием. Коммандос, подумаешь! Будто они значат что-нибудь на войне!

— Чем пахнет нагретый от стрельбы затвор карабина, знаешь? — спрашиваю.

А он угрюмо:

— Я из-под Арнема.

Молчу. Арнем — другое дело.

Мы то спускались в долины, то снова карабкались на горы. Внизу стояли склады. Всякие — боеприпасов, провиантские, амбары с горючим. Добра чертова уйма под защитой непроходимых гор. Потом мы опять подымались и кружили по тесным горным спиральям.

В одном месте стоп: шлагбаум. К машине подошли ребята из Эм-Пи¹ в своих белых шлемах. Я вынул документы. Но они даже не посмотрели на них. Их интересовало другое. Они потребовали открыть бензиновый бак.

Мистер Ли, конечно, отказался. С негодованием! Тогда один из солдат сам открыл бак, вставил в него резиновую трубку, потянул ртом, и бензин полился на землю. Они полезли также в багажник, проверили горючее в канистрах. Потом откозыряли нам и открыли шлагбаум.

Когда мы отъехали, я спросил: в чем дело? Мистер Ли проворчал:

— Я ж им говорил, что у нас бензин белый.

¹ Military police — военная полиция (англ.).

Не скажу, чтоб я что-нибудь уразумел из этого ответа. Маньковский меня просветил:

— Военный бензин розовый.

— Почему?

— Чтоб не крали. Тут же воровство на полном ходу. Воруют сигареты, консервы, ну, и бензин. Вот его стали подкрашивать.

Н-да... Местечко эти Арденны...

— Тыл... — сказал Маньковский.

Здесь к нам подсел совсем молоденький лейтенантик. Таких молочных поросят сейчас пачками штампуют в Штатах. Все на нем до неприличия блестящее и скрипучее. Почтительно поглядывая на мою линялую куртку и комбинезон Маньковского, он представился:

— Джон Вулворт.

— Не из фирмы ли «Эдна Вулворт, магазины стандартных цен «Пять и десять центов»?

— Да... Собственно, это моя тетя...

— Что ж она не пристроила вас при каком-нибудь сенаторе?

Мальчик так покраснел, что мне стало жалко его. Потом он робко спросил:

— А почему у нас шофер штатский?

Я посмотрел на Маньковского.

— Черт побери, а ведь действительно, кто он?

Поляк пожал плечами.

— Гробовщик, — тихо сказал он.

— Как? Гробовщик?

Маньковский улыбнулся.

— Он владелец фирмы, которая взяла подряд на перевозку и захоронение трупов американских солдат.

— То-то у него такой похоронный вид.

— Да, это профессиональное. Только, кажется, в Арденнах он прогорит.

— Да, ему бы к вам под Арнем. Там бы он поживился.

Так мы болтали шепотком, крутясь по извилистым горным дорогам, переваливая через арочные мосты, осторожно соскальзывая с крутизны, тормозя мотором. А этот сосунок Вулворт с обожанием смотрел на меня и поляка и восхищался солдатской грубостью нашего разговора. Сам он молчал, не смея вмешаться своим писком. Ей-богу, мне даже стало жаль его, и я спросил:

— А тебе куда?

Он поспешно отбарабанил:

— В Шестую бронетанковую дивизию Восьмого корпуса Первой армии Двенадцатой группы армий. — Он помолчал. Потом спросил нерешительно: — Не знаете, там какие машины? Я ведь танкист. — И добавил: — Как и Эйзенхауэр.

Он смутился: не звучит ли это по-ребячески хвастливо.

Неожиданно, не поворачивая голову от баранки, мистер Ли крикнул:

— Ну, он, положим, больше дипломат, чем военный!

Это выпад, конечно. Но не хотелось ссориться с водителем. Наступило неловкое молчание. К счастью, поляк сказал:

— В дивизии танки типа «генерал Шерман».

Мальчик обрадовался:

— М-четыре — А-два? Вот здорово! С семидесятишестимиллиметровой пушкой? Это ж мой танк. Классная машина!

Поляк сказал:

— Много я их видел, вдрызг покалеченных, в Пятом корпусе.

Вулворт даже просиял:

— Там жарко, да?

— В Пятом? На реке Роер? Баня! Идут бои за эти проклятые дамбы. Там есть одно подразделение из твоей Шестой дивизии. Только тебе-то что? Ты же в Восьмой корпус. На курорт.

Лейтенантик всполошился, полез в свой бумажник за документами. Мы заглянули в его предписание. Мальчик чуть не плакал.

— Я уверен, — хныкал он, — что это все тетя Эдна подстроила... Чертова баба!

Он нудил и ругался школьными ругательствами, пока я не заткнул ему рот:

— Слушай, старик, ты утри сопли и не искушай судьбу. На фронте ничего нельзя менять, понял? Какие карты тебе сданы, такими и играй. Без передергивания. Судьба! Уразумел?

Поляк кивнул головой, подтверждая святую правду моих слов.

— Вот и он так говорит. Слушай старых солдат. А он

из-под Арнема. Он был в аду и вернулся живым. Маньковский, расскажите нам про эту заваруху под Арнемом. Ребенку полезно. Да и мне интересно.

Поляк молчал. Потом сказал:

— Не хочется.

Лицо его помрачнело.

Я не настаивал. Дело хозяйское...

ИСКУССТВОВЕД

Дом стоял в буковом лесу, совсем небольшой, просто сторожка, покинутая лесником, каменная халупа, сложенная из неровных глыб, с конической грифельной крышей. Ветви, запорошенные снегом, лгнули к окошку.

Не сходя с койки, Вулворт видел могучие отроги Эйфеля, плавно переходившие в долины, а иногда вдруг обрывавшиеся так круто и отвесно, словно их отхватили вселенским топором. Кое-где ветром смело снег, обнажились каменные бугры материнских пород.

На другой койке полулежал маленький пухлый первый лейтенант в очках. Часа два назад в штабе он приветливо встретил Вулворта. Никакого отношения к 6-й дивизии он не имел, а просто, увидев растерянность Вулворта, пожалел его.

Снег повизгивал под их ногами, когда они шли сюда, в эту каменную конуру. Первый лейтенант прикрывал рот рукой. Он буркнул:

— Берегу дыхание.

И всю дорогу молчал.

Вулворт машинально шел с ним в ногу. Потом спохватился, что это выглядит как-то по-школьному, и нарочно сбился с ноги. На морозе первый лейтенант казался молодым, а в комнате Вулворт увидел, что ему, вероятно, что-нибудь за сорок.

На стене висело изображение богоматери. Все кваркерское существо Вулворта инстинктивно напряглось при виде «идола». Возможно, первый лейтенант заметил это, потому что сказал, что в мирной жизни он был искусствоведом и богоматерь эта — «Сикстинская мадонна» Рафаэля.

— Как раз перед войной я выпустил исследование. Может быть, вам попадалось? Томас Конвей, «Ранние

византийские иконы». Нет? Я подарю вам. А чемодан у вас легонький. Набит, видно, надеждами и мужеством. Вы не против, если я лягу? У меня, видите ли, строгий режим. С утра лыжи. После обеда часок поспать. Вечером можно позволить себе стаканчик, но не больше. Ревматизм, ничего не поделаешь. Перед сном прогулка.

— Значит, здесь боевых столкновений совсем нет?

— С кем? — удивился Конвей. — Кто полезет в эти горы, да еще зимой? Я очень рад вам, народу у нас тут мало.

— Мало? Все-таки корпус.

— А! — Конвей пренебрежительно махнул рукой. — Чтобы перечислить по пальцам наши подразделения, можете сапог не снимать. Что у нас тут? Три пехотные дивизии да эта ваша бронетанковая. Ну еще небольшая бронекавалерийская разведывательная группка.

— Все-таки целых три пехотных.

— А что проку? Сто девяносто шестая только что из Штатов, пороку еще не нюхала. А Четвертая и Двадцать восьмая так были потрепаны в ноябре, нет, не здесь, а на реке Роер, что от них остались одни огрызки. Их отвели сюда к нам на отдых и пополнение. Да, кстати, ваша Шестая бронетанковая тоже только по названию дивизия.

— Почему?

— Потому что несколько батальонов увели на север в Пятый корпус. Наши дрались за эти проклятые дамбы на Роере и, видно, там и полегли.

Глаза Вулворта горели от возбуждения. Он восхищался небрежным и даже слегка скучающим тоном, каким первый лейтенант упоминал о сражениях. Вулворт и завидовал этому тону и негодовал. Проглотив слюну, он сказал:

— Так что здесь...

— Здесь? Тысяч, я думаю, восемьдесят на сто двадцать километров фронта. Представляете? По тридцать — сорок километров на одну дивизию. Все мы растянуты в один эшелон. Усвоили? Но вы не волнуйтесь.

— Нет, я ничего. Наоборот...

— Ладно, ладно, я когда-то тоже был таким петушком. А теперь знаете что? Да, кстати, выпить хотите?

Вулворт засуетился:

— Я сейчас...

Он полез в чемодан и вынул бутылку виски «Длинный Джон». Они выпили. Бывший искусствовед растянулся на койке.

Вулворт ожидал, что сейчас зайдет разговор о женщинах, постарался внутренне перестроиться и приготовился выпалить несколько залихватских историй, вынесенных еще из колледжа. Конвей, мечтательно устремив глаза в потолок, говорил:

— Вы понимаете, Вулворт, с моим ревматизмом я мог бы без труда получить увольнение из армии. И я это сделал бы, если бы не Спа. Я езжу туда три раза в неделю. Ванны! В мирное время мне это было не по карману даже в Штатах. Вы только подумайте, какие грандиозные усилия пришлось применить из-за меня. Я часто об этом думаю. Понадобилось произвести на свет этого выродка Гитлера. Понадобилось, чтобы он слопал всю Европу. Так? Понадобилось, чтобы этим он не насытился и решил заглотать Россию. Так? Понадобилось, чтобы он подавился Сталинградом. И все это для того, чтобы я мог спокойно, тихо, а главное, бесплатно лечить свои суставы. И где? На одном из самых дорогих аристократических курортов мира. Знаете, Вулворт, так воевать я согласен. Почему вы не пьете?

— Спасибо. Значит, здесь совсем тихо?

— Отпуск. До самой весны. Великие зимние каникулы. Хотите, я вас зачислю в свою группу? Группа небольшая, но, как у всех здесь, штаты не заполнены. А перевод из вашей бронетанковой мы устроим.

— Это какой род войск?

— Разведка.

— Разведка? — Глаза Вулворта заблестели.

Конвей улыбнулся.

— Вы уже чего-то себе навоображали. Работа у нас тихая — по связи с партизанами.

— Значит, надо проникать к ним в горы?

— Ну вот еще! Мы устроились удобнее. Время от времени они сами спускаются с гор и докладывают, как там, у немцев. Давно уже не были, потому что ничего не происходит. Так хотите?

Вулворт замаялся.

— Знаете, я ведь танкист, — сказал он смущенно.

— Ну так что? Я сам артиллерист, — сказал Конвей, зевнув, и опустил на подушку.

Вулворт подумал, что Конвей потерял к нему интерес, потому что считает его мальчишкой, маменькиным сыночком. Он покраснел от стыда и решил исправить впечатление.

— А как у вас тут насчет баб? — сказал он деланно хамским голосом. — Я слышал, что голландочки слабы на передок.

Он попытался придать своему юному лицу игривое выражение, какое подмечал у взрослых мужчин, когда они вели вольные разговоры о женщинах. И подмигнул при этом своим детски чистым голубым глазом.

Конвей приподнялся на одном локте и внимательно посмотрел на Вулворта. Потом захохотал. Он ничего не говорил, он только смеялся. Вулворт пролепетал что-то невнятное. Наконец Конвей сказал:

— Я отдал бы десять лет жизни, чтобы уметь так очаровательно краснеть, как вы, Вулворт.

Вулворт надулся и спросил:

— А до Бастони тут далеко?

— Да тут все, в общем, близко. А что?

— В штабе у вас сказали: ищите вашу дивизию в районе Бастони. Кроме того, там у меня родственник полковник Чарлз Вулворт.

— Что ж, — сказал Конвей, снова зевнув, — подавайтесь в Бастонь. Завтра туда перебазировается Сто первая воздушно-десантная дивизия. Пристройтесь к ней.

Он опустил на подушку, заложил руки за голову и сказал:

— А мне и здесь хорошо. Так воевать я согласен хоть всю жизнь...

ВЕЧЕР В КАЗИНО

Ствол стопятидесятимиллиметровки смахивает на хобот слона, когда он вздымает его, чтобы протрубить боевой клич. «Однако, — подумал капитан Франц Штольберг, — эта пушечка, хватающая на двадцать два километра, выглядит здесь весьма мирно, почти музейно». Сходство со слонем усиливалось благодаря серому чехлу, которым, как перчаткой, был обтянут ствол гаубицы. Но это же окончательно лишало ее воинственности.

Вокруг орудия на дощатом круглом обводе валялись несколько парней, не иначе как орудийная прислуга. Двое, по пояс голые, нежились в лучах горного солнца.

Горячие лучи и крахмально блистающий снег с морозными блестками — этот коктейль восхитил капитана Штольберга. Он только что прибыл с Восточного фронта, из слякоти польских проселков. В шинах его автоколонны был еще варшавский воздух. А кроме того, он любил сшибать противоположности. Это напоминало ему его самого: седоват, а лицо нестарое.

Он окликнул одного из солдат. Тот вскочил, щелкнул каблуками, прижал локти к бедрам. Капитан спросил дорогу к коменданту. Потом кивнул в сторону орудия:

— Исправна?

— Кто? Спящая красавица?

Капитан засмеялся:

— Когда ж она проснется?

Солдат махнул рукой:

— Весной, должно быть.

Он взгляделся в погоны капитана: по голубой их оторочке увидел, что невелика птичка — всего-то транспортная служба. Он усмехнулся глупо и дерзко, буркнул: «Sieg heill!»¹ — повернулся налево кругом и пошел по обводу.

Капитан зашагал далее, энергично махая руками, по-свистывая, вертя головой по сторонам. Его длинное суставчатое тело трещало на ходу, как ящик с бильярдными шарами. Он с удовольствием озирался. После бесконечных тревожных славянских просторов арденские вершины, нависавшие над городом, действовали на него успокоительно, как стены дома.

С комендантом он разговорился. Пожилой офицер, слишком старый для своего чина, слушал его хмуро.

— Нет, обер-лейтенант, я не из Берлина, — говорил Штольберг, усевшись без приглашения в потертое, но удобное кожаное кресло, явно извлеченное из какого-то частного дома. — Конечно, я очень хорошо знаю Берлин. Я там учился и подолгу живал. А сам я из Штраусберга. Не слыхали? Небольшой городок. Мы соседи Берлина. Всего тридцать километров. Город страуса. У него и в

¹ Да здравствует победа! (нем.) — приветствие в фашистской армии.

гербе страус. Красивый городок, старинный, на озере. У нас там был собственный рыбный садок...

Комендант был вынужден перебить его, потому что Штольберг говорил не останавливаясь: намолчался он, что ли, там, в унылых восточных равнинах? А у коменданта дел невпроворот: шутка ли — навалилась из-под Кёльна вся мантейфельская громада, 5-я танковая армия. Обер-лейтенанту удалось мельком увидеть самого генерала Гассо Эккарда фон Мантейфеля. Генерал вышел из автомобиля на площади и зашел за стену дома, вероятно по нужде, тощий, с длинным печальным лицом, похожий на задумавшегося пастора.

Комендант задал только один вопрос Штольбергу, отобрав для этого наиболее обтекаемые выражения: верно ли, что внесены некоторые поправки в закон о порядке или, точнее сказать, норме призыва в армию очередных возрастов, без сомнения вызванные важными государственными соображениями? В ответ капитан Штольберг рывкнул со свойственной ему грубоватой решительностью:

— Еще бы! Если у вас есть внучата-школьники и отец-пенсионер, распрощайтесь с ними, обер-лейтенант. Призывной возраст снижен с семнадцати с половиной до шестнадцати лет и повышен до шестидесяти. Это фольксштурм. Из них сформированы фольксгренадерские дивизии. Наши бабы, как ни тужатся, не успевают народить нам новые армии, так ведь, обер-лейтенант?

Капитан расхохотался и, видимо, собирался что-то еще добавить, но, встретив отчужденный взгляд коменданта, ничего не сказал, усмехнулся и, положив в карман ордер на постой, вышел на улицу, где сквозь свисавшие с крыш длинные сосульки хрустально преломлялось солнце, разбрасывая по сахаристому снегу оранжевые и синие полосы. Капитан глянул на небо, радостно голубевшее над домами и горами, и подумал озабоченно: «А погодка-то ведь летная...»

С Вилли Цшоке капитан Штольберг встретился вечером в офицерском казино. Тут царствовал все тот же курортный дух. Чересчур много женщин. Не говоря уж об официантках, здесь порхали телефонистки едва ли не со всех участков арденнского фронта, офицерские жены, даже матери из тех, что помоложе, и просто какие-то гости из глубины Германии, быть может из самого Бер-

лина, пробравшиеся под всякими предлогами сюда от бомбежек, от «регламентированного снабжения», от хлеба с примесью древесной коры, попросту от полуголодного «карточного» существования — сюда, в этот спокойный сытый уголок Западного фронта.

Одна стена казино была заклеена лозунгами, призывами, изречениями фюрера. Тут же плакат, уже порядком намозоливший глаза в оккупированных областях: под словами «Верьте доброму немецкому солдату» был изображен улыбающийся солдат, обнимающий ребенка, который уписывает толстый бутерброд с колбасой.

Майор Цшоке нисколько не изменился. Та же щекастая веснушчатая благодушная рожа, разве только голос стал совсем хриплым. Видно, от неутомимого пьянства у него изрядно набрякли голосовые связки. Облапив официантку, Цшоке кричал:

— Вы, молодые, учитесь, как надо ухаживать за женщиной!

Сидевший за тем же столиком молодой офицер сдержанно улыбнулся. Штольберг глянул на его левую петлицу, туда, где у эсэсовских офицеров были знаки различия — плетеные квадраты, — и увидел, что перед ним гауптштурмфюрер, что соответствовало общеармейскому чину капитана. Со своими тонкими усиками и лиловатыми подглазьями на узком бледном лице эсэсовец был похож на несколько подержанного фата. Что касается Цшоке, то на нем по-прежнему были погоны с розовой окантовкой танковых войск.

Увидев Штольберга, Цшоке перестал тискать официантку и кинулся к нему:

— Как я рад тебя видеть, чертов малыш!

Штольберг не помнил, чтобы он был когда-нибудь с Цшоке на «ты». Но в этот момент его поразило другое. Если Цшоке здесь, то не значит ли это, что и 6-ю танковую армию СС пригнали сюда с Востока? Решив выяснить это обстоятельство, Штольберг присел за столик к Цшоке. Эсэсовец привстал и назвал себя:

— Гауптштурмфюрер Биттнер.

Услышав фамилию Штольберг, он посмотрел на капитана несколько более пристально, чем это принято при первом знакомстве. Впрочем, не сказал ничего. Лицо его снова приняло выражение мягкой, почти томной грусти.

Штольберг приступил к делу издалека. Он не очень

верил в опьянение Цшоке. Он не понимал, почему Цшоке так дружески прильнул к нему. Ведь отношения между ними всегда были прохладными. Особенно после нашумевшей реплики... Дело в том, что Цшоке умудрился в самом начале войны с Францией попасть в плен. Редчайший случай в те идиллические времена. После капитуляции Франции Цшоке утверждал, что он бежал из плена. Во всяком случае, на его служебной карьере это как будто не отразилось. Однажды — это было в небольшом польском городке — Цшоке, как каждое утро, вышел из дому для совершения гимнастических упражнений. Так он опохмелялся после ночных разгулов. Ставши на крыльце, он плавно воздел руки, сопровождая это глубоким вдохом, потом опустил их — выдох, и так несколько раз: руки вверх — вдох, руки вниз... В этот момент мимо проходил Штольберг. «Не удивляйтесь, — сказал Цшоке, улыбаясь. — Я упражняюсь в правильном дыхании. Для этого я поднимаю руки вверх и...» — «Тем более что вы привыкли это делать», — сказал невозмутимо Штольберг. Острота эта быстро разошлась среди офицеров гарнизона.

Но сейчас Цшоке был любезен, может быть даже чрезмерно любезен, и подливал Штольбергу коньяк с такой ретивостью, что тот подумал: «Уж не собирается ли он подпоить меня?» Штольберг все хотел повернуть разговор на передвижения 6-й армии, да не мог подыскать подходящего повода. Цшоке засыпал его вопросами: как-ково сейчас в Берлине, не голодно ли там и много ли жертв от ночных англо-американских бомбежек?

— Но, конечно, присутствие духа высокое, не правда ли, Франц? Я даже слышал, что берлинцы с никогда не покидающим их чувством юмора называют фугасные бомбы «бомбоньерками»? Верно это?

Штольберг вдруг озлился. Ему захотелось проткнуть этот пузырь, раздувшийся от самодовольства.

— О! — сказал он. — Чувство юмора сейчас шагнуло так далеко, что вместо «убивать» говорят «обезвреживать» или «подвергнуть специальной обработке».

Цшоке отмахнулся:

— Так это в концлагерях по отношению к политическим преступникам и расово неполноценным. А я — о нашем здоровом берлинском юморе...

Вмешался Биттнер. Поглаживая черные усики, он сказал:

— Сейчас у берлинцев в ходу, например, такое выражение: «Думайте, о чем вы говорите, иначе вылетите в трубу».

Тон у него был нравоучительный, как у проповедника. Цшоке захохотал:

— То есть, конечно, в дымовую трубу? В крематорий? Нет, Франц, ты только посмотри на Биттнера, на его невозмутимое лицо. Как все прирожденные юмористы, откалывает он свои словечки с ледяным видом.

Действительно, Биттнер сохранял холодное спокойствие, только чуть помаргивал презрительно. «Штучка, должно быть, этот эсэсовец», — подумал Штольберг. Он досадовал на себя. Время шло, а он еще не выведал того, что его интересовало. Кроме того, он почувствовал, что слегка пьянеет, и испугался. «Еще не хватает, чтоб я надрался, и тогда я вообще забуду, зачем я, собственно, подсел к этим свиньям». И он выпалил первое, что ему пришло в голову:

— Похоже, что я видел старика Зеппа Дитриха, он промелькнул в большом камуфлированном «мерседесе». Неужели его Шестая тоже рванула сюда?

Биттнер отвернулся, словно и не слышал вопроса. А Цшоке бросил пренебрежительно:

— Знаешь, я ведь не интересуюсь этими золотыми фазанами.

Он вызывающе посмотрел на Штольберга. Тот несколько оторопел. За эту дерзость — «золотые фазаны» (так, издеваясь, прозвала улица нацистских заправил) — можно было в два счета попасть в лапы гестапо. Цшоке продолжал насмешливо смотреть на Штольберга, потягивая ликер, и весь его вид говорил: да, я вот какой, я ничего не боюсь, мне море по колено. Он подозвал официантку и попытался посадить ее к себе на колени. Крупная дебелая женщина с хохотом вырвалась и убежала. Цшоке вскочил и погнался за ней.

Штольберг сказал:

— Я вижу, здесь нравы вольные.

Биттнер улыбнулся:

— Осуществляем на практике лозунг доктора Геббельса: «Сила через радость».

Штольберг не понял, говорил он это серьезно или издевался. Пожал плечами и заметил:

— Подходящее занятие для боевого танкиста.

— О, — сказал Биттнер, — майор Цшоке временно откомандирован в распоряжение третьего отдела «Группен-абвер».

— Простите мое невежество... — начал Штольберг.

— Третий отдел «Н» — это контрпропагандистская группа, которая ведает поддержанием боевого духа и нацистского образа мыслей в рядах вооруженных сил.

Вернулся Цшоке. Он плюхнулся на стул, а впрочем, был совершенно серьезен. Казалось, пьяненькое с него разом слиняло. Он посмотрел на Штольберга внимательным, изучающим взглядом, разлил по бокалам розовое «либфраумильх» и в некоторой задумчивости повертел между пальцами тонкую ножку бокала, еще раз глянул зорко из-под припухших век на Штольберга и молвил, придавая своему хриповатому голосу ласковость:

— Чудак ты был, Франц, и чудак остался. Я и титул придумал тебе. — Он поднял бокал и возгласил: — Твое здоровье, ваше чудачество!

Злобное озорство вдруг охватило Штольберга. Он поднял бокал и сказал с поклоном:

— И твое, ваше стукачество!

Наступило молчание. Потом Цшоке сказал как ни в чем не бывало:

— Слушай, Франц, тут собирается небольшая экспедиция в горы. Ты ведь отличный лыжник. Такие люди нам нужны. Места живописнейшие, старая голландская мельница. Будешь моим заместителем. Решено?.. Что ж мы не пьем? По этому случаю еще по бокальчику...

ПОЕДИНОК

Из казино Штольберг выходил уже в сильном подпитии. Он только успел заметить, что на кузове «вандерера», в котором Цшоке подбросил его домой, зигзагообразные стреловидные молнии — эсэсовская эмблема.

Рано утром его разбудил продолжительный стук в дверь. Он встал с сильной головной болью. Солдат из комендантского управления сткозырял и вручил ему два запечатанных конверта. Штольберг расписался, швырнул

пакеты на стол и пошел варить кофе. Несколько согрев нутро, он распечатал первый конверт и крепко выругался.

В бумаге с грифом «совершенно секретно» значилось, что капитан технической службы Франц Штольберг назначен заместителем командира эйнзацкоманды для проведения карательной экспедиции против партизан в районе мельницы в пункте Сент-Антуана. К этой бумаге были приколоты «Приложения»:

«Приложение I. Накануне выступления Вам надлежит получить на складе 028-БД: рюкзак, лыжи, бинокль, компас, а также из расчета... дней шоколад, сухари, чай, табак. Оружие легкое стрелковое, гранаты.

Приложение II. Извлечение из наставления «Боевые действия против партизан». Вводится в действие с 1 апреля 1944 года.

Ст. 31. Если предстоит двигаться по неразведанной дороге, надлежит с целью обнаружения мин принимать следующие меры предосторожности:

- а) высылать перед колонной деревянные катки;
- б) гнать впереди колонны скот.

Ст. 70. Допрос пленных является одним из лучших способов получения сведений. Поэтому захваченных партизан расстреливать сразу не следует.

(Слово «сразу» подчеркнуто красным карандашом.)

Ст. 78. Некоторые способы уничтожения партизанских отрядов:

...б) метод «охота на куропаток»:

«Атакующие силы оттесняют партизан, как куропаток, к оборонительным позициям нашего отряда... Такой метод рекомендуется возле позиций у реки... у лесной полосы.

(Против этих слов на полях замечание красным карандашом: «Как в данном случае».)

...Оттеснение партизан к этим позициям ведет к их уничтожению».

Тут же было «Приложение III» — извлечение из специальной директивы по борьбе против партизан штаба 257-й дивизии:

«Если допрашиваемый сначала притворяется, а позднее сообщает какие-либо сведения, его надо подвергнуть более тщательному допросу, сопровождая примерно двадцатью пятью ударами резиновой дубинкой или плетью. При этом после каждого удара добавлять слово «говори!».

(На полях красным карандашом: «Обеспечить в отряде наличие переводчика, знающего голландский и французский языки». Ниже добавлено: «...а также русский ввиду наличия среди арденнских партизан значительного числа русских беглецов из шахт и лагерей военнопленных».)

Далее было «Приложение IV» — извлечение из «Памятки об использовании войск против партизан»:

«...8а) Партизан, захваченных в бою, надлежит допросить, а затем расстрелять или повесить;

б) к повешенным следует прикреплять табличку с надписью на местном языке: «Этот партизан не сдался».

Штольберг внимательно прочел «Приложения». Потом снова перечитал бумагу о своем назначении. В конце ее было добавлено, что о дне выступления будет извещено особо и что временное откомандирование капитана Штольберга будет согласовано с его начальством.

Последняя фраза лишала Штольберга всякой возможности отговориться от ужасного задания. Что делать? Сказаться больным? Да, это единственный выход. Но как? Надо подумать. Надо посоветоваться с дивизионным врачом Миллером, он все поймет, он поможет.

Так. Теперь второй пакет. Штольберг нетерпеливо вскрыл его. Час от часу не легче! Это был вызов к имперскому военному следователю. К десяти часам утра. Штольберг посмотрел на часы: половина десятого. Он натянул сапоги, сунул голову под кран и пустил холодную воду. Вытираясь, он подумал, что этот вызов — следствие вчерашней пьяной трепотни в казино. Что-то, помнится, он разливался о «наркозе власти», о том, что «вкус власти сладок», многозначительно восклицал: «Пусть только кончится война!..» Ай-ай-ай, как плохо, а главное, как глупо... Перед кем он гарцевал! Перед ста-

рым доносчиком, а теперь, видно, абверовцем Цшоке! Правда, Цшоке тоже был пьян и тоже щеголял вольнодумством. На что Штольберг (даже сейчас, вспоминая это, несмотря на ужас своего положения, он улыбнулся) отвечал: «На словах ты либеральничаешь, а на деле сукин сын. Знаешь, Вилли, на кого ты похож? На того обывателя, который тайно посещает бардак, а уверяет, что в это время был в церкви».

Но тут безжалостная память подбросила Штольбергу еще один его вчерашний ляп, да такой, что его сейчас бросило в дрожь: «Мы преступили заповедь «не сотвори себе кумира». Мы заглушили в себе дух критицизма. Мы героизировали этого человека. Он занимает слишком большое место в нашей частной жизни...» После операции «Валькирия», как называли заговорщики июльское покушение на Гитлера, даже тень намека на критическое отношение к нему каралось смертью, притом мучительной. «Оперативно сработал Цшоке, — продолжал Штольберг ворочать в голове вчерашний вечер. — Да еще этот тост: «ваше стукачество»...» Штольберг был уверен, что донес на него именно Цшоке, а не Биттнер. «Но в таком случае, — мучительно думал он, — почему Цшоке берет меня своим заместителем в карательный отряд? Может быть, это способ испытать меня, устроить мне проверку на политическую благонадежность? А раз так, любое уклонение от этого задания, даже болезнь, приведет в лапы гестапо».

Чувствуя, что у него в голове от всего полная заверть, Штольберг вышел из дому и побрел к военному следователю, мысленно понося себя последними словами: «Вот что значит выпивать со всякой дрянью! Ну уж тут, в разговоре со следователем, я буду осторожен. Ни одного лишнего слова. Никаких вольностей...»

— Садитесь, пожалуйста, капитан Штольберг, — сказал Биттнер, любезно пожимая ему руку.

— Так это вы следователь? — изумился Штольберг.

— Разумеется, — сказал Биттнер. — Разве это что-нибудь меняет?

«Ну и влип же я! — подумал Штольберг. — Оказывается, я трепался прямо в пасти у гестапо...»

— А знаете, вы мне что-то знакомы, — сказал он развязно, чтобы протянуть время.

— Возможно, — учтиво согласился Биттнер, — что вы меня встречали, когда я служил в учебной роте переводчиков при ОКВ¹.

«Вот откуда у него этот назидательный тон, который так не вяжется с его физиономией жуира», — подумал Штольберг. И при этом снова, как вчера, его поразила тяжелая пристальность взгляда Биттнера. Она не вязалась с томной улыбочкой, все еще не покидавшей его губ. В этом сочетании было что-то недоброе, как в желтом цвете неба перед грозой.

— Значит, вы из переводчиков махнули в эсэсовцы? — сказал Штольберг.

Он силился придать разговору стиль легкой приятельской болтовни.

— Видите ли, я до войны работал как специалист по психологии торговли в крупной фирме Титца. А ведь следователь обязан быть опытным психологом, не правда ли?

Снова этот взгляд...

Штольберг по нетерпеливости своей натуры решил идти ва-банк.

— Слушайте, Биттнер, — сказал он, — мы все были вчера изрядно выпивши.

Биттнер перебил его.

— Неужели вы думаете, — сказал он меланхолично, — что я побеспокоил вас по поводу безобидной болтовни за стаканом вина?

Казалось, он тоже включился в этот тон дружеской солдатской беседы у костра.

— В таком случае... — обрадованно и удивленно сказал Штольберг.

Длинной рукой Биттнер доверительно коснулся колена Штольберга.

— Вы заподозрены в действиях, которые носят угрожающий государству характер.

Штольберг оторопел, потом рассмеялся — до того это было неожиданно.

Биттнер сел за стол. Не то чтобы он сразу переменялся, нет, по-прежнему на лице его покоилось выражение мягкой грусти. Но уже не было солдатской беседы у костра, над которым висит котелок со вкусной дымящейся

¹ Верховное командование фашистской армии.

тюрей, откуда они по-братски черпают ложками. Теперь между ними залегали ледяные пространства письменного стола, папки, досье, высокий узкий стакан, ошетилившийся остро отточенными карандашами.

Но Штольберг словно и не замечал этой перемены. Он по-прежнему балагурил:

— Слушайте, Биттнер, а она не прогорела, эта фирма, где вы работали психологом по торговле, а? Нет, серьезно, вы, наверно, спутали меня с кем-то другим.

Биттнер задумчиво огладил свои щегольские черные усики и сказал, не повышая голоса:

— Вам известно такое имя — Ядзя-с-косичками?

Вот оно что!

Штольбергу понадобилось собрать все свое самообладание, чтобы не вскрикнуть, не измениться в лице и сказать с хорошо разыгранным недоумением:

— Какое дурацкое имя!

Биттнер посмотрел на Штольберга с нежным укором:

— Скажу вам откровенно, мой дорогой, провести столько времени на Восточном фронте в генерал-губернаторстве и не слышать имени этой знаменитой партизанки — в это трудно поверить.

— Баба-партизанка? Были и такие? — сказал Штольберг.

«Не переигрываю ли я», — подумал он и добавил:

— Напомните-ка мне, может, я и вспомню.

И пока Биттнер мерным скушающим голосом перечислял: участие Ядзи в знаменитой акции 17 октября сорокового года, когда в отместку за повешенных поляков в одну ночь было уничтожено тридцать четыре германских офицера; налет с участием Ядзи на германскую кассу, где был захвачен миллион злотых (Штольберг зашелкал языком — ц-ц-ц! — самым естественным тоном); наконец, чтоб не распространяться об остальном, неслыханное по дерзости убийство начальника гестапо у него же в кабинете, куда Ядзя проникла с поддельной кеннкарте¹ на фальшивое имя Эрики Неттельхорст.

Биттнер очень отчетливо произнес это имя. А Штольбергу тем легче было изобразить на лице полное недоумение, что действительно он слышал это имя впервые. Мысленно он усмехнулся: до того нелепым представилось

¹ Удостоверение личности в оккупированных немцами областях.

ему, что он спрашивает у Ядзи документ в ту минуту, когда упрятывал ее в ящик из-под македонских сигарет, а кругом топали искавшие ее эсэсовцы.

— Я позволил себе побеспокоить вас, капитан...

Штольберг насторожился. В голосе Биттнера появилось что-то рокошущее, словно отдаленный раскат приближающейся грозы.

— ...потому что в этот день вскоре после убийства полковника из этого места, то есть недалеко от Сандомежа, вышла автоколонна, груженная пустой тарой из-под продовольствия. Это были ящики крупной вместимости, куда при желании свободно можно было упрятать человека небольших габаритов. Известно, что транспортировкой тары ведали вы.

В общем, Биттнер говорил довольно корректно. Вот только последнее слово, это «вы», он внезапно точно отхватил топором.

— Ядзя... Ядзя... — медленно проговорил Штольберг.

Он нахмурился, задумчиво уставился в потолок, всем своим видом показывая, что роется в памяти.

— Так Ядзя, говорите?

— Ядзя-с-косичками, — довольно нетерпеливо сказал Биттнер.

— Помню, зацапали мы такого Андрея из хлопского батальона, — вдумчиво врал Штольберг. — Там мы его, знаете, на месте... Потом — это было где-то недалеко от Барнува, — как же его звали? .. Ага, Стефан! Мы его отправили в Аушвиц¹. Ну а там, конечно, — как это вчера здорово сказали! — его пустили в трубу.

— Так это ж все мужчины, — сказал Биттнер уже с некоторой досадой.

— Да... Погодите, еще там были... Дай бог памяти...

— Мужчины?

— Да... Ах, вы ищете бабу? Вот что-то баб нам не попадалось... А имена этих парней я вам сейчас припомню...

— Да нет, не трудитесь. Вы лучше постарайтесь вспомнить Ядзю. Это очень важно для вас же.

— Для меня? Почему?

¹ Освенцим.

— Потому что ваша забывчивость может быть принята за притворство.

— Ерунда! На кой черт мне притворяться!

— Прямой расчет, — пояснил Биттнер.

И тоном вполне деловитым, даже каким-то монотонно-канцелярским он начал излагать, почему это выгодно для Штольберга. Первое: свести все это дело о побеге Ядзи к неопределенности, утопить его в тумане невещественности. Второе: придать делу характер незначительности. Третье: окончательно отодвинуть себя от этого дела в такую отдаленность, что не то чтобы участником, но даже свидетелем по нему Штольберг быть не может.

Штольберг мрачно слушал. Он видел, что пес вышел на след. Но его взорвал этот канцелярски-деловитый говорок Биттнера, эта бездушная машинообразность поведения. И Штольберг заорал:

— Опомнитесь! Что за чушь вы несете?

Биттнер удовлетворенно улыбнулся. Видимо, это и было его целью — вышибить Штольберга из равновесия и сгоряча заставить его проговориться.

И Штольберг это понял. Но ему было наплевать. В нем заговорила самолюбивая спортивная злость. Неужели этот чопорный кобель переиграет его? Он уже не думал о том страшном, что ему, быть может, грозит. Он чувствовал одно: волю к победе в этой игре. Он заставил себя улыбнуться.

— Я вижу, старик, вы глубоко разочарованы: не удается уцепить меня в кутузку!

Биттнер покачал головой с некоторой грустью.

— Мера пресечения, — сказал он, — тут другая.

— Какая? — не удержался Штольберг.

Биттнер сказал тихо:

— Эшафот.

— Эшафот?

— Да. Отсечение головы. — Помолчав, он добавил: — И это еще лучший исход. — Он закурил сигарету, искоса глянул на Штольберга и продолжал: — Представьте себе полутемное помещение с голыми стенами на первом этаже берлинской тюрьмы Плетцензее. В потолок ввинчены крюки, на них петли-удавки. Процесс повешения рассчитан так, что происходит медленное удушение — минут пять. Конечно, обезглавливание лучше.

Он не спускал глаз со Штольберга.

Тот снова засмеялся и сказал:

— Это очень мило с вашей стороны — предлагать мне такой богатый выбор. — Потом уже серьезно: — Знаете, Биттнер, а наш друг Цшоке совершенно прав: вы действительно, как прирожденный юморист, откалываете свои остроты с ледяным видом. Манера классного остряка! Правда, у вас, я сказал бы, несколько макабрический стиль.

Досада впервые промелькнула на лице Биттнера. То ли ему надоело, что его считают юмористом и к тому серьезному, что он говорит, относятся как к каким-то клоунским выходкам. То ли он заподозрил, что над ним просто потешаются. Он нырнул в гору папок, извлек оттуда бумагу и протянул ее Штольбергу:

— Читайте.

— Что это?

— Протокол казни.

Штольберг забыл согнать с лица улыбку. Так она, покуда он читал протокол, и сохранялась на его лице, подобно тому как сброшенная одежда сохраняет форму тела.

В левом углу бумаги штамп: «Народный трибунал». Прочтя эти два слова, Штольберг с трудом сдержал волнение. Так вот чем Биттнер его страшит! Обычный суд, который выносил приговоры тоже под давлением нацистских органов, начал казаться властям слишком медлительным, слишком приверженным к соблюдению юридических норм. Народный трибунал — он был создан для рассмотрения дел о государственных преступлениях — отменил все эти процессуальные тонкости. Здесь было упрощенное судопроизводство. А мера наказания одна: смерть.

Народный трибунал

ПРОТОКОЛ

Каторжная тюрьма
Плетцензее Кенигсдам, 7

исполнение смертного
приговора над Юлиусом
Лебером

Телефон 356231

за государственную измену
в боевой обстановке

Присутствовали:

Главный прокурор нар. трибунала Лауст

Инспектор тюремной канцелярии А. Бауэр

Тюремный врач Э. Кнотцер

В 21 ч. 05 м. приговоренный в кандалах был введен конвоирами в смертную камеру. Здесь уже находился палач Реттгер и три его подручных.

Штольберг отер пот со лба.

Было произведено установление идентичности личности приговоренного. После чего были оголены шея и плечи приговоренного.

На шею его была опущена петля.

Совершив повешение, палач доложил о его успешности.

Процедура заняла восемь с половиной минут.

Старший советник военного суда (подпись)

Инспектор тюремной канцелярии (подпись)

Тюремный врач (подпись)

Палач (подпись)

— Вы улыбаетесь? — Биттнер не скрывал раздражения.

— А я представил себе, — сказал Штольберг, — как эти смертники, выдвинув голову из петли, кроют своих палачей.

Биттнер искоса посмотрел на Штольберга, как бы проверяя, в самом ли деле он так глуп или придуривается из тактических соображений.

— Это предусмотрено, — сказал он холодно. — Чтобы смертники перед казнью молчали, им заливают рот гипсом.

Штольберг напрягся, чтобы сдержать дрожь.

— И вы при этом присутствовали? — спросил он. — Но, по-видимому, не в качестве приговоренного, судя по тому, что ваша голова, если мне не изменяет зрение, у вас на плечах.

Штольберг говорил длинными витиеватыми фразами, чтобы дать себе время опомниться. Он не хотел, чтобы Биттнер увидел, что в него прокрался страх.

— Я там не был, — сухо сказал Биттнер, — мне рассказали.

«Врет. Был, — подумал Штольберг. — Он маленький, подленький человечек. И откуда Германия выгребла их в таком количестве? Самое ужасное в том, что всегда находится именно столько палачей, сколько им нужно. А Гёте один, Эйнштейн один...»

— Вот вы упомянули, капитан, — сказал Биттнер, взяв протокол из рук Штольберга и аккуратно укладывая его в папку. — Вот вы упомянули, что ящики обвязывали веревками.

— Я этого не говорил!

Он подумал: «Ловит»... И весь напрягся внутренне, готовясь к отпору.

— Разве не говорили? — сказал Биттнер, нисколько не смутившись. — Так все-таки обвязывали?

— Не знаю. Это ведь не на мне лежало. Мое дело транспорт. А упаковка — это дело отправителя.

— Так, так...

Биттнер забарабанил пальцами по столу.

Уже не было ни лирики, ни солдатского братства. А были охотник и дичь. Ну, пока она еще не поймана. Она ускользает. Внезапно Биттнер спросил:

— Вы были членом НСДАП¹?

— Да.

— И даже штурмовиком?

— Да.

— Но потом сделали шаг влево и вышли из партии?

— Не совсем так.

— То есть?

«Чем короче я говорю, тем лучше», — подумал Штольберг и сказал:

— Меня исключили.

Биттнер оживился:

— За что?

— За связь с расово неполноценной женщиной.

Биттнер ничего не сказал. Он снова извлек из папки какую-то бумагу и углубился в чтение.

Штольберг в это время думал: «Он все знает. Он ловит меня: совру или нет? Все данные обо мне перед ним. Я должен во что бы то ни стало произвести на него впечатление искреннего малого. Главного-то он все-таки, по-видимому, не знает. А вдруг знает? — Штольберг лихо

¹ Национал-социалистская партия.

рабочно соображал: — Уж не шофер ли меня выдал? Не может быть, Ганс — верный парень. Но ведь только он и мог выдать. Может быть, его пытали...» Подняв голову, Штольберг увидел, что Биттнер за ним наблюдает. «Неужели у меня озабоченное лицо?»

— Значит, — медленно сказал Биттнер, — не помните?

Штольберг уже не помнил, чего он не помнит.

— Слушайте, Биттнер, — сказал он устало, — вы представляете себе, сколько ящиков во время войны я перевез?

— Безусловно, — вежливо согласился Биттнер, — но...

Он замолчал, закурил сигарету. По-видимому, эта пауза ему нужна — пусть Штольберг томится в ожидании. От этого слабеют духом.

— Но, — продолжал он, пустив в воздух из округленного рта колечко дыма, — но из всего этого неисчислимого множества ящиков нас интересует только один: тот, в котором сидела Ядзя. — Он вынул из папки бумагу и помахал ею в воздухе: — А об этом документике вы не забыли?

Штольберг сразу узнал этот позорный «документик». Как и другие военнослужащие на Восточном фронте, он был вынужден подписать его:

«Я поставлен командованием в известность, что в случае моего перехода на сторону русских весь мой род — отец, мать, жена, дети и внуки будут расстреляны».

Штольберг пожал плечами, сделав равнодушное лицо.

— То есть вы хотите сказать, — тотчас подхватил Биттнер, не сводя с него тяжелого взгляда, — что Ядзя-с косичками не русская, а полька? Но ведь это пустая отговорка.

Штольберг молчал. Он устало подумал: «Признаться, что ли?»

Биттнер добавил:

— Или, может быть, это был не единственный случай? Может быть, это был способ освобождения польских партизан?

Штольберг искренне удивился. Мысль о том, что партизаны почему зря разъезжали по стране в бисквитных и табачных ящиках, показалась Штольбергу до того забавной, что он рассмеялся. «Да нет, ничего не знает, ло-

вит... Знал бы, так не тянул бы с допросом... А может быть, знает, но ему нужно мое собственное признание. Для полного успеха. Это будет его заслугой». Биттнер устало потянулся. «Он тоже устал, как и я, — подумал Штольберг, — а может быть, это иезуитский следовательский приемчик. Будем настороже».

Биттнер протяжно зевнул и сказал, преодолевая зевоту:

— В общем, картина ясна. Да, вот еще вопросик, так сказать, для полноты впечатления: можно ли забраться в ящики так, чтобы вы не заметили?

«Отчего же, можно», — хотел было сказать Штольберг, потому что этот вопрос был как бы протянутая рука помощи. Допустим, что Ядзя пробралась в ящик где-то в хвосте колонны, она ведь длинная, а Штольберг не заметил — и все! И делу конец. Но тут же мгновенно он сдержал готовое сорваться с языка «отчего же, можно». Ибо это было бы почти равносильно признанию. Да! Это ловушка! Капкан! Пробралась незаметно? Допустим. А вышла как?..

— Что вы! — сказал Штольберг сурово. — Даже мышь не могла бы проскользнуть в мою колонну.

— Ну что же, — сказал Биттнер добродушно, — я думаю, капитан, на сегодня довольно.

— На сегодня? — удивился Штольберг. — Вы что же, думаете продолжать это странное занятие?

— Истина иногда играет с нами в прятки, — сказал Биттнер, — но в конце концов мы ее находим.

Он медленно поднялся.

«Если он меня сейчас ударит, — решил Штольберг, — я не сдержусь, расквашу его благочестивую сутенерскую рожу. А там что будет, то будет».

Биттнер наклонился к Штольбергу и сказал озабоченно и сочувственно:

— Устали?

Штольберг вздохнул облегченно, но не принял этого дара. Он сказал резко:

— А где протокол допроса, ведь я должен его подписать.

Улыбка не сходила с лица Биттнера, — по-видимому, он заказал ее надолго.

— Помилуйте, — сказал он. — Какой допрос? Мы с вами просто беседуем.

Штольберг вскочил:

— Ах так? В таком случае прошу меня простить. У меня служебные дела, и мне некогда заниматься разговорчиками.

Биттнер развел руками:

— Не смею вас задерживать.

Они пошли к выходу. Уже у самых дверей Биттнер сказал:

— Чуть не забыл!

Лицо его в полутьме коридора было совсем близко. Штольберг сжал кулаки и не спускал глаз с его крупного носа и тоненьких фатовских усов.

— Это был какой-нибудь особенный рейс или обыкновенный, рядовой?

«Самый что ни на есть обыкновенный, — чуть было не ляпнул Штольберг. И тут же спохватился: — Боже мой! Чуть не рухнул. Стоило мне только сказать, какой это был рейс, — и я пропал!» Он выдавил из себя смешок:

— Знаете, Биттнер, в конце концов это становится забавным. Вы расспрашиваете меня о каком-то случае, о котором я ни черта не знаю. Наша беседа похожа на разговор глухих.

Биттнер рассмеялся.

— Ну, я надеюсь, — сказал он, дружески положив руку на плечо капитану, — завтра мы будем разговаривать более определенно.

«Как? И завтра это мучительство?» А вслух Штольберг сказал:

— Думаю, что вам я могу это сказать. Я назначен...

— В карательную экспедицию в партизанский район, — перебил его Биттнер.

«Он и это знает!» — с ужасом подумал Штольберг.

— Но срок выступления, — продолжал Биттнер, — во всяком случае, еще не завтра...

ИЗ ДНЕВНИКА КАПИТАНА ФРАНЦА ШТОЛЬБЕРГА

«Вчера после допроса я уже считал себя «Totwürdig»¹, как вдруг сегодня этот подонок Биттнер известил меня, что не надо приходить на второй допрос. Я поду-

¹ «Достойный смерти» (нем.) — фашистский термин для приговоренных к смертной казни.

мал: это потому, что я умело повел себя на первом допросе. Я был похож вчера на искусного фехтовальщика, с той только разницей, что это было не спортивное состязание, а борьба за жизнь».

Штольберг отложил перо. Ему показалось, что он прихорашивает себя. Он вымарал несколько строк. Мало того: он тут же записал признание, что вымарал их потому, что искажил правду. После этого он вернулся к разговору с Биттнером:

«Я не удержался и спросил его, почему он прервал следствие. Он отмахнулся: «Не до того». Он казался взволнованным. Я поспешил к Цшоке с медицинской справкой, которую вырвал у доктора Миллера. Но только я занкнулся о ней, как Цшоке заорал: «Экспедиция отменена!» — «Почему?» — «Не до того». В течение дня я несколько раз слышал это выражение. Казалось, оно заменило прежнее: «Рванем весной». Если добавить, что получен срочный приказ принять сейчас ежегодную присягу от всех Parteigenosse на верность фюреру, то есть значительно раньше обычного срока, то, очевидно, что-то более значительное вытеснило и отменило все остальное, в том числе и мое «дело» и карательную экспедицию. . .»

Штольберг снова отложил перо и задумался. А стоит ли записывать все это? Особенно сейчас, когда эти ищетки заинтересовались им? Не благоразумнее ли уничтожить дневник?

Он полистал тетрадь. И вдруг ему стало жаль расставаться с ней. Сюда занесено столько фактов и сведений поистине примечательных для лица эпохи. А ведь забудутся! От кого же узнают люди об этих необыкновенных временах, если не от нас, очевидцев и участников?

Может быть, просто прятать тетрадь более тщательно, чем до сих пор? Но тут же Штольберг посмеялся над самим собой: «Уж если за мной придут, ни одной щелочки не оставят непроверенной».

Нет, нельзя уничтожить дневник. Это так же естественно, как убить живое. Тем более кто знает, как повернутся события? Он перечел предыдущие строки, взял перо и продолжал:

«Сопоставив все это с тем, что в Арденны переброшены две армии, я прихожу к убеждению, что, очевидно, ожидается наступление англо-американских войск. Да,

очевидно, это так! Вероятно, Эйзенхауэр очнулся от своей зимней спячки и заносит руку над нами. Наверное, он собрал кулак и собирается рвануть от Ахена. Вот тебе и «курортный фронт» в Арденнах! Сумеем ли мы сдерживать натиск англо-американцев? Поговорить бы... Да с кем?

А Гитлер сидит где-то в Восточной Пруссии под Растенбургом, в своем Вольфшанце¹ в глубине леса. Люди, побывавшие там, говорят, что лес там до того густой, что солнце не проникает к Гитлеру. Там он сидит далеко от нас и решает наши судьбы...»

В СТАВКЕ ГИТЛЕРА

Но Гитлер был гораздо ближе. В сопредельной с Арденнами немецкой земле, у города Цигенберг. Сюда с крайнего востока Германии, из Герлицкого леса, что у города Растенбурга, на крайний запад ее, в горное гнездо Таунус, он еще 11 декабря неожиданно перенес свою ставку. И назвал ее «Адлерхорст». Сюда от станции Герлиц в специальном поезде «Атлас» через всю империю везли обстановку из Вольфшанце, ибо фюрер изъявил желание, чтобы его новая штаб-квартира ничем не отличалась от старой в его излюбленной Восточной Пруссии, куда сейчас с непостижимой поспешностью прорываются славянские орды. Впрочем, об этом Гитлер предпочитал не думать, так как у него уже был готов план в самый короткий срок снова переманить военное счастье на свою сторону.

И все здесь стало, как в Вольфшанце. Как и там, не вдруг распознаешь обиталище фюрера — невысокий снежный холм, сплошь заросший кустарником. Надо было чуть ли не носом уткнуться в него, чтобы обнаружить небольшую дверь, выкрашенную по зимнему времени в белый цвет. За дверью начинался длинный каменный коридор, упиравшийся в другую дверь, массивную, стальную. Она открывалась нажатием кнопки, упрятанной в стене. За дверью кабинет фюрера, огромный, со сводчатым потолком, откуда свисали стилизованные сталактиты, — не то церковный придел, не то пещера: при-

¹ «Волчье логово» (нем.).

чуда Гитлера, все еще воображавшего себя гениальным архитектором, обреченным отказаться от строительства зданий (так и не приступив к нему), для того чтобы строить новый мир. У задней стены кабинета — просторный стол из черного мореного дуба. Столешница покоится на двух мощных тумбах. На правой тумбе с ее наружной стороны так, чтобы это сразу бросалось в глаза посетителям, сверкала ярко начищенная серебряная табличка с отчеканенной надписью: «*Стол императора французов Наполеона Бонапарта в годы 1804—1810*». Рядом на полу меховой коврик для Блонди, любимой овчарки фюрера.

Снаружи этот белый холм окружен минным полем и шестью заборами из колючей проволоки. Разумеется, там есть проход. Но без провожатого не сунешься: проволока всегда находится под высоким напряжением.

Новой ставке надо было дать кодовое имя — очевидно, в стиле тех высокопарных кличек, которые диктовал Гитлеру его мещанский эстетизм, вроде «Волчьего логова» в Восточной Пруссии, или «Альпийской крепости» в Берхтесгадене, или «Оборотня» в ставке под Винницей. После недолгого раздумья Гитлер окрестил свою новую штаб-квартиру «Адлерхорст» — «Орлиное гнездо».

Вместе с обстановкой в «Орлиное гнездо» переехал двор Гитлера: его камердинер Линге, его шофер Эрих Кемпка, его врач Теодор Морелль, его пилоты Битц и Бауэр, его фотограф Генрих Гоффман и его зять группенфюрер СС Герман Фогелейн, сделавшийся приближенным Гитлера, когда женился на сестре Евы Браун. В этой среде браки заключались только внутри касты, между своими. Семьи высокопоставленных чиновников роднились между собой. Это еще больше спланивало касту. Чужих не впускали в это сановное сословие, боясь проникновения жадных, завистливых людей с другой психологией, быть может, с другими политическими воззрениями, быть может, объятых социальным гневом. А также потому, что это было просто невыгодно.

Переехал сюда также женский кружок — Ева Браун, Магда Геббельс, Луиза Йодль и та несколько мужеподобная секретарша Бормана, к которой ревновала Ева Браун; в их среде Гитлер любил проводить послеобеденных два часа, превращаясь из всемогущего властителя

в галантного юбочника, каким он бывал в те времена, когда таскался по значным местам Берлина.

Переехала также библиотека Гитлера: «Малый лексикон» Кнаурса, «Поход в Россию 1812 года» Филиппа де Сегюра, адъютанта Наполеона, речи Бенито Муссолини, военные сочинения Мольтке, Шлиффена, Клаузевица, «Жизнеописание Чингисхана», Елена Блаватская — «Ключ к теософии», Юлий Цезарь — «О Галльской войне», несколько романов Казимира Эдшмидта, совершившего головокружительное сальто-мортале из задиристого экспрессионизма в уютное болото национал-социализма, а также изрядное количество экземпляров книги Гитлера «Майн кампф». Как известно, фюрер написал ее, а вернее, продиктовал Маурицу и Гессу еще десятка два лет назад. К тому времени другие ведущие нацисты, например Розенберг или Эккарт, уже были авторами глубокомысленных политических и даже философских бредней. И это просто неприлично, что лидер партии Адольф Гитлер до сих пор не произвел на свет хоть самой завалящей брошюры. Надо доказать всем этим заносчивым свиньям и вообще народу, что хотя он, ваш фюрер, не нюхал разных там университетов и не допер даже до аттестата зрелости, тем не менее он может швырнуть вам в морду десяток-другой цитат и вообще является глубоким мыслителем, черт побери! Так появилась на свет «Моя борьба» с ее водянистым стилем, напыщенными библиеизмами и нищиеизмами, с ее самолюбованием и самовлюбленностью, и не много было людей даже среди членов партии, которые имели терпение дочитать ее до конца.

В утренние и даже дневные часы в ставке Гитлера царил благоговейная тишина. Гитлер превратил день в ночь. Он бодрствовал до четырех часов утра. И все окружающие, и генштабисты, и консультанты, вызванные для справок, и жалобщики, и генералы, явившиеся за распоряжениями, и прожекторы, удостоенные приема, и доносчики, примчавшиеся со свеженькими новостями, не смеют сомкнуть глаз.

Тут же в углу коридора стоит большая, только что срубленная елка. Ее мохнатые лапы охвачены широким полотнищем, верхушка упирается в потолок. Она испускает приятный смолистый запах. Через несколько дней рождество. Но никто не знает, будет ли фюрер праздни-

вать его, и если да, то как и с кем. Он ведь не христианин, а придерживается каких-то язычески-оперных обрядов. Все же елку срубили на всякий случай.

Вообще же говоря, эти дни наполнены тревожным предчувствием каких-то чрезвычайных событий. Несмотря на тщательную конспирацию, невозможно было скрыть передвижение с востока крупных воинских сил. Как и капитан Штольберг, многие полагали, что предстоит большое наступление англо-американских сил и принимаются меры для его отражения.

И никто не знал, что еще около двух месяцев назад, а точнее 1 ноября, еще там, в «Волчьем логове», Гитлер вызвал к себе фельдмаршала Вальтера фон Модела, своего фаворита, и фельдмаршала Герда фон Рундштедта, единственного из старых германских генералов, еще не изгнанного им из армии. Гитлер не любил его, но ценил за огромный военный опыт.

Что касается Рундштедта, то поначалу он ничего не имел против Гитлера. Возрождение германской армии, захват Австрии, Чехословакии, победоносные походы на Францию, на Польшу — все это Рундштедтом одобрялось, поддерживалось, даже восхищало его. Нацистская идеология? Что ж, и это, в общем, не противоречило взглядам Рундштедта. В его среде родовитых помещиков издавна считалось, что Германия призвана править Европой, а в дальнейшем и миром, что немецкая чистопородность — величайшее благо, что французы — вырождающаяся нация, славяне — недочеловеки, а евреи вовсе не люди. Но когда военное счастье отшатнулось от Гитлера и одна за другой загрохотали катастрофы под Сталинградом, на Курской дуге, в Сицилии, во Франции, Рундштедт почувствовал презрение к этому неудачнику, этому недоучке ефрейтору, вскарабкавшемуся на диктаторский трон. Но уже не мог отлепиться от него, так как (так же как и генерал-полковник Гудериан) был перевит с ним кровавой веревочкой.

Другое дело Модел. Безжалостный и сентиментальный, он считал величайшей добродетелью фанатичное повиновение власти. Он делал быструю и блестящую военную карьеру, хотя никаких выдающихся побед за ним не числилось. Но ему покровительствовал Гиммлер, разгадавший в нем родственную натуру. Одно из качеств, необходимых полководцу, у Модела, во всяком случае,

было: решительность. Но — в незначительных ситуациях. Он обладал свойством быстро подгрести и подтаскивать резервы, но опять-таки во второстепенных положениях. Его прозвали «скорая помощь» или «аварийная служба», в конце концов за ним утвердилась кличка «пожарный для безнадежных положений».

Оба фельдмаршала стояли потому, что стоял фюрер. Его гигантская тень стлалась по полу и, скользнув на заднюю стену, затмила ее. Не задержавшись здесь, она вскарабкалась на потолок, сжалась в шар и стала похожа на большой флакон с маленькой пробкой.

Только взглядевшись, можно было увидеть в углу вторую тень фюрера — рейхслейтера Мартина Бормана, шефа партийной канцелярии, коренастого брюнета с борцовской шеей. Бесшумно отворяя потайную дверь, один за другим входили и застывали министр пропаганды и просвещения доктор философии Иозеф Геббельс, начальник штаба оперативного руководства генерал-полковник Альфред Йодль, бывший венский адвокат, а ныне начальник всех фашистских полиций Эрнст Кальтенбруннер, каланча, увенчанная конской мордой.

Гитлер принимал фельдмаршалов стоя не потому, что хотел подчеркнуть этим холодность приема, а для того, чтобы придать ему торжественность. Он собирался сообщить им нечто чрезвычайное. Правда, была еще одна причина, по которой он предпочитал стоять: в этом состоянии не так заметны были судорожные подергивания его ног.

Пока он молчал — а молчал он тоже для того, чтобы нагнетать торжественность, — оба фельдмаршала испытывали почти непреодолимое желание переглянуться. Но они остерегались сделать это. Это могло быть принято за сговор. За особый тайный язык взглядов. Как есть тайнопись, так есть (возможно?) и тайноглядь. А сговор — это уже почти заговор. Ведь после июльского покушения на фюрера было умерщвлено народным трибуналом и иными, еще более скоростными способами не менее пяти тысяч немцев. Уничтожали целыми семьями. Притом по методу, предписанному фюрером: «Вешать, как скотину!» И вешали — на мясных крюках. А так как ввиду массовости мероприятия веревок не хватило, пустили в ход для удушения фортепьянные струны. Эсэсовские вешатели получали добавочную порцию спирта и колбасы.

И именно он, фельдмаршал Герд фон Рундштедт, был назначен председателем военного «суда чести» для расправы над заговорщиками. И не посмел отказаться — уж очень он привязан к своей старой шкуре.

Так зачем же переглядываться? Не стоит, право. Тем более что там же в тени стоит око Гитлера — уколоный человек в пенсне, с фюрерскими усиками под носом, всеми ненавидимый рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Рундштедту и Моделю казалось, что к каждому из них при- ставлен офицер СС.

А переглянуться фельдмаршалам страсть как хоте- лось! Потому что уж очень поразили их новые разруше- ния в облике Гитлера. То, что левая рука его тряслась, а щеки были испещрены красными пятнами, это уже не ново, это появилось после поражения под Сталинградом. Положим, Рундштедт не очень верил в столь патриоти- ческое происхождение этой гитлеровской трясушки. При- дворный врач фюрера Теодор Морелль шепнул Рунд- штедту в минуту приятельской откровенности, что бо- лезнь Гитлера *paralysis agitans*, или в просторечии Пар- кинсонова болезнь, есть следствие не столько сталин- градского разгрома, сколько гриппа или венерической болезни. Впрочем, сейчас левая рука не тряслась. Гитлер плотно прижал ее к боку как по команде «смирно». Сей- час фельдмаршалам показалось, что Гитлер стал ниже ростом и ссохся. А между тем лицо раздулось, особенно правая щека, словно отекала.

Но вот он заговорил. И перед ними — прежний Гит- лер. Снова эти не то лающие, не то квакающие звуки, ставшие каноном красноречия для нацистских ораторов. Необычайно широко открывается рот и захлопывается резко, едва ли не с шумом.

Однако фельдмаршалы перестали обращать внима- ние на внешность Гитлера — так поразило их то, что он им сказал.

— Я решил нанести решающий удар на Западном фронте. Я выбрал для этого Арденны, где англо-амери- канцы не смогут противостоять мне. С вершин Эйфеля мы низринемся к реке Маас. Мы форсируем ее и бросим- ся на Брюссель и Антверпен. Да, господа! Мы пройдем горы и покатымся по равнине! Вперед! Только вперед! Не обращая внимания на фланги! Я расколю фронт англо-американских войск! — Слюна пузырилась в угол-

ках его рта и походила на пену. — Севернее Антверпена я загоню британскую группу войск в эту западную между Рейном и Мозелем и там уничтожу ее!

Голос его истончился, временами переходил почти в фальцет. Он выбрасывал слова с необыкновенной энергией и даже яростно, как всегда, когда заговаривал об англичанах.

— Удар будет внезапен. Это будет похоже на убийство спящего, и мы имеем на это право! Я отвечаю за все!

Модель слушал его как замороженный. Он смотрел на фюрера с обожанием. Иссеченное морщинами и все же молоджавое лицо Рундштедта сохраняло вежливое внимание. Он был строен, несмотря на свои преклонные годы, мундир его даже во фронтовой обстановке выглядел щегольски.

— Мы повторим блистательный удар сорокового года на Францию. Рундштедт, вы помните, каким вихрем мы тогда промчались через Арденны?

— Мой фюрер, у нас тогда было сорок пять дивизий. Из них семь танковых. И нам противостояло только семнадцать французских дивизий и ни одной танковой.

Рундштедт говорил, как всегда, лениво и важно, слегка нараспев. Голос его с барственными искорками раздражал Гитлера. Но на этот раз он сдержался.

— А сейчас, — сказал он, хмурясь, — нашим двадцати одной дивизии противостоят только три американских пехотных дивизии — Вторая, Четвертая и Двадцать восьмая, сильно потрепанные, да! Выдохшиеся в боях на реке Роер! Мы сомнем их и перемелем! Это будет поворотный момент в войне. Хваленый англо-американо-русский «единый фронт» развалится с оглушительным грохотом. Западные державы вынуждены будут заключить со мной сепаратный мир. Мы останемся наедине с Россией и обескровим ее. История не простит мне, если я упущу этот момент.

Казалось, магнетическому красноречию Гитлера все равно, изливаться ли на многочисленные толпы на площадях или на нескольких человек в комнате.

Рундштедт тихонько вздохнул и перестал слушать. «Почему эти властители так многоголаголивы? — думал он. — Не от уверенности ли, что никто не посмеет их перебить?» Фельдмаршал вспомнил последнего германско-

го императора. Право, Гитлер походит чем-то на Вильгельма II — хотя бы властолюбием, маниакальным самомнением и уж конечно велеречивостью. В ту пору, когда Рундштедт был молоденьким фендриком, какой-то солдат спросил его, что означают буквы I. R., неизменно сопровождающие имя императора. Вместо того чтобы объяснить, что это начальные буквы латинских слов «Imperator. Rex»¹, острый на язык Рундштедт сказал «Immer Redender»². Это ему стоило недели на гауптвахте.

Повелительным кивком Гитлер подозвал фельдмаршалов. Все трое склонились над оперативной картой, застилавшей огромный наполеоновский стол. Из мрака вынырнул адъютант по делам вооруженных сил, он же начальник управления личного состава, генерал пехоты Вильгельм Бургдорф, с лакейской прытью засветил над картой ослепительно яркую лампу. Зазмеились зеленые отроги Арденнских гор. Их пересекали синие стрелы грядущего наступления. Гитлер нацепил на нос очки и взял в руку указку.

— Перейдем к диспозиции. Мы будем прорывать фронт южнее Лютиха, на участке Монжуа — Эстернах — Живэ.

Указка фюрера грациозно порхала среди ущелий, меридианов, изотермических линий и горных потоков.

— На седьмой день операции мы прижмем их к Антверпену и создадим второй Дюнкерк. На этот раз я не пощажу их! Мы уничтожим четыре армии: Первую канадскую, Вторую английскую, Первую и Девятую американские!

Гитлер начал сыпать номерами частей и соединений немецких 5-й и 6-й танковых армий и даже именами их командиров. «У него недурная память», — подумал Рундштедт. Он вежливо кивал вслед за пулеметной скороговоркой Гитлера, а сам в это время думал: «Черчилль назвал его «кровавым недоноском»? Дорваться бы до Черчилля — уж он бы его вздернул. И хотя сейчас он надеется на сепаратный мир с Черчиллем, в каком-то отдаленном будущем он видит его в петле». Мысли эти никак не отражались на каменном лице Рундштедта.

¹ Император. Царь.

² Всегда говорящий (нем.).

Когда он обращался к Гитлеру, видны были его старания казаться любезным.

Гитлер чуть повернул голову и крикнул через плечо:
— Йодль!

От темной стены отделился высокий худой генерал. Сдержанный, какой-то отчужденный, с надменно опущенными уголками рта, Альфред Йодль, штабная крыса, маскировал свою придворную льстивость наигранно-грубоватой солдатской прямоотой. Всегда чопорный, сейчас он выглядел нетерпеливым и даже раздраженным. Казалось, от тесного общения с Гитлером он приобрел некоторые его черты.

Рундштедт окинул его презрительным взглядом. Йодль старался не смотреть на него. Шесть лет прошло с того дня, когда Йодль — в ту пору заурядный артиллерийский майор — подбросил Гитлеру свой знаменитый донос на фрондировавших тогда генералов, в том числе на Рундштедта. За эти годы доносчик возвысился до звания генерал-полковника и в качестве начальника оперативного управления отдает приказы ему, фельдмаршалу Карлу Рудольфу Герду фон Рундштедту.

Йодль заговорил, тыча пальцем в карту:

— Правый фланг — Шестая танковая армия СС под командованием оберстгруппенфюрера Зеппа Дитриха. Центр — Пятая танковая армия под командованием генерала Гассо Экарда фон Мантейфеля. И, наконец, левый фланг — Седьмая полевая армия под командованием генерала Бранденбергера. Шестая танковая армия СС после прорыва выходит на рубеж Антверпен — Маастрихт... — Тонкий палец Йодля прошелся по изящно изогнутой синей стреле. — Пятая танковая армия после прорыва выходит в район Брюсселя и Антверпена...

Рундштедт снова перестал слушать. Изредка до него доносился монотонный щебет Йодля:

— ...в первом эшелоне два танковых корпуса... для развития операции четыре дивизии... наступлению будет предшествовать операция «Гриф». Ее суть...

Гитлер резко остановил Йодля:

— Это план дезинформации. Он еще только разрабатывается.

«Значит, есть секреты и от нас», — подумал Рундштедт.

Услышав слово «Гриф», из мрака под стеной выдвинул свою лошадиную морду Эрнст Кальтенбруннер, шеф главного имперского управления безопасности, и искалительно посмотрел на Гитлера. Тот отмахнулся от него. Кальтенбруннер вздохнул и снова потонул во мраке. А ведь он поначалу участвовал в создании плана дезинформации. Но земляк Гитлера — австриец, он до сих пор говорил с венским акцентом. Это раздражало Гитлера, напоминало ему, что он, фюрер, не белокурый, голубоглазый, рослый нордический ариец, а черноволосый, черноглазый коротышка Шикльгрубер из австрийского захолустья Браунау, смахивающий скорее на еврея или, что еще хуже, на цыгана.

Впервые заговорил Рундштедт:

— Мой фюрер, этот план гениален. Но хватит ли у нас горючего?

Модель посмотрел на Рундштедта с некоторым подозрением: сочетать «гениален» с «горючим» — не кроется ли в этой лести насмешка? Но Гитлеру вопрос Рундштедта даже как будто понравился. По крайней мере, он остановил на нем свой горячий взгляд с явным удовлетворением.

— Я обеспечил танки горючим на первые сто пятьдесят километров. А дальше мы возьмем горючее у американцев в Ставло. Там у них огромные склады. Вот здесь, юго-западнее Мальмеди.

Модель склонился над картой. Рундштедт сделал вид, что и он смотрит на карту.

— От Ставло, — вставил Йодль, — всего семьдесят пять километров до Льежа.

— А Льеж, — подхватил Гитлер с многозначительной улыбкой, — как известно, стоит на Маасе.

Улыбка вождя тотчас как в зеркале отразилась на лицах обоих фельдмаршалов и Йодля, скользнула к стене позади Гитлера, и там в тени почтительно засверкали оскалы придворных.

Внезапно Гитлер помрачнел. О, эти переходы фюрера от безоблачного неба к грозе!

— Сейчас мороз? — выкрикнул он. — Да! Мороз! И чтобы не заморозить радиаторы, свиньи водители гоняют моторы круглую ночь. Это еще можно бы понять. Но эти подонки обогреваются за счет горючего!.. Я не потерплю этого, господа!

Странное чувство овладело фельдмаршалом Вальтером фон Моделем. Да, он смотрел на фюрера обожающими глазами. И Гитлер любил в нем этот взгляд, полный почти религиозной веры. Да, Модель верил в магическую непознаваемую силу фюрера. Это было, быть может, самое сильное чувство в натуре сухого пруссака Моделя. Но в то же время по природе своей он был сторонником *kleine Lösungen*¹. Его ужаснул размах предполагаемого удара в Арденнах.

— Я позволил бы себе предложить, — сказал он не очень уверенно, — для начала ограничиться уничтожением американского выступления у Ахена...

Он замолчал, увидев, как на низком лбу Гитлера под знаменитым его чубом собираются львиные складки, что предвещало припадок гнева. И этот возмущенный взгляд Йодля! Ропот из мрака у задней стены, похожий на отдаленный рокот приближающейся грозы...

Модель остро пожалел, что обмолвился об Ахене. Кто тянул его за язык! Его жизненным правилом было закрывать глаза на неприятное. Так он делал вид, что не знает, как зверствовала его 9-я армия, когда в сорок третьем году, отступая с «московского плацдарма», проводила «политику выжженной земли». Он старался не вспоминать о том, что был одним из тех, кто потерпел поражение в грандиозной битве под Курском...

Гитлер сдержался. Он метнул взгляд на Рундштедта, на его неподвижную вежливо-высокомерную маску. Что думает этот сгусток военных знаний? Он славится своим немногословием. Вот и сейчас он молчит. О эта старая редиска, этот мелочный, дотошный Рундштедт! Гитлер ненавидел его за вечную придирчивость, которая проступала, даже когда фельдмаршал молчит, во взгляде, в линии крепко сжатого рта. Но он знал, что Рундштедт к нему привязан всей кровью и плотью своего существа: противник его не пощадит — Рундштедт значится в списке военных преступников. Недаром после июльского покушения на фюрера Рундштедт прислал ему подобострастное поздравление с высокопарными проклятиями по адресу заговорщиков.

Однако его молчание взорвало фюрера. Гитлера беси-

¹ Малые решения (нем.).

ло, что профессиональные военные считают его дилетантом.

— Я требую вашего мнения, Рундштедт, — сказал он, сдерживая голос. — Вы тоже за малодушное, слюнявое предложение Моделя об Ахене?

Рундштедт покачал головой.

— В атаке на Ахен, — протянул он, как всегда словно с ленцой, — есть большой смысл, но я бы этим не ограничился. Под Ахеном, как вы справедливо указали, мой фюрер, мы легко разгромим Монтгомери. Затем выйдем к Маасу и овладеем Льежем. Сообразуясь с нашими скромными силами, мы...

Тут уж Гитлер не выдержал. Этот сановный разговор вывел его из себя. Он хватил кулаком по наполеоновскому столу:

— Я не хочу ничего слышать об этом! Я двину двадцать одну дивизию, и, кроме того, я даю две мои личные бригады — гренадерскую и охранную! Довольно!

Он выбежал из-за стола и стал перед фельдмаршалами. Они не смели двинуться, хотя он забрызгивал их слюной.

— Я не нуждаюсь в ваших советах! Я руковожу армией много лет, и я приобрел больше практического опыта, чем все эти господа из генерального штаба! Я... я... — Теперь он бегал по комнате, слегка волоча ногу, и кричал: — Я проштудировал Клаузевица, Мольтке, Шлиффена! Гнейзенау! И об этом у меня сведений больше, чем у всех вас!

Рундштедт прикрыл глаза. Он почувствовал, как забила жилка на правом виске. Во рту медный вкус. Ему тоже хотелось закатить истерику. Но здесь, в ставке верховного командования, право на истерику имел один Гитлер. Рундштедт отлично помнил, во что обошлась ему его реплика, после того как англо-американцы очистили от немцев полуостров Котантен. Вообще-то Рундштедт был изысканно (некоторые говорили — старомодно) вежлив. Сорвался он только однажды, вот именно в этот день — 1 июля. Тогда старый фельдмаршал с ослепительной ясностью увидел, что наступление союзников остановить нельзя. И на панический вопрос по прямому проводу начальника штаба, этого «паркетного генерала» Кейтеля: «Что делать?» — Рундштедт ответил: «Заклучайте мир, дураки!» В ту же ночь он был смещен и заме-

нен фельдмаршалом Гюнтером фон Клюге. Рундштедт счел это за благо. Он снова был восстановлен главнокомандующим всеми силами на Западе не далее как через три месяца — 4 сентября сорок четвертого года, после того как фельдмаршал Клюге был снят с этого поста и застрелился, предварительно написав Гитлеру почтительно-дерзкое письмо, где подхалимские объяснения в любви перемешивались с категорическими требованиями кончать эту безнадежную войну. Его самоубийство было объяснено поражением Клюге под Авраншем, но все знали, что, в сущности, это казнь за прикосновенность Клюге к покушению на Гитлера 20 июля сорок четвертого года.

— Мой фюрер! На звездах начертано, что Арденны станут для нас поворотом к победе! — Маленькое лицо Геббельса с низко и косо посаженными, как у обезьяны, ушами дышало восторгом.

Гитлер вдруг успокоился. Это произошло так внезапно, что Рундштедт подумал: «А не являются ли его истерики притворством?» Гитлер подошел к Моделю и положил левую руку ему на плечо. Он благоволил к этому маленькому пруссаку и даже простил ему поражение под Курском.

— Ты веришь мне?

Модель вздрогнул от этого обращения на «ты» — редчайший случай особой милости.

— Да, мой фюрер!

— Вера и воля — вот в чем наша сила.

— И в вашей гениальной интуиции, мой фюрер.

Гитлер задумчиво склонил голову.

— Государственный деятель, — сказал он, — должен уметь предвидеть задолго вперед. Слушай меня: не пройдет и года — мы будем победителями в этой войне.

— Да, мой фюрер! — воскликнул фельдмаршал с порывистостью юного лейтенанта.

Гитлер подошел к столу, взял папку и протянул Рундштедту.

— Вот план операции, — сказал он. — Я назвал ее «Wacht am Rhein»¹.

— Превосходное название! — воскликнул Геббельс.

Оба фельдмаршала звякнули шпорами и пошли к вы-

¹ «Стража на Рейне» (нем.).

ходу. Когда они были в дверях, Гитлер окликнул их. Они вернулись обеспокоенные, Гитлер протянул руку:

— Дайте-ка сюда.

Рундштедт, недоумевая, вернул папку. Гитлер написал на ней готическим шрифтом: «Изменению не подлежит». И размашисто подписался.

Когда они покинули кабинет Гитлера, миновали все бронированные двери, прошли по узкому коридору между двух шеренг эсэсовцев и вырвались на свежий воздух, Рундштедт посмотрел на часы и проворчал:

— Что за варварская манера работать по ночам.

Модель сказал участливо:

— Могу предложить вам отличное снотворное.

Рундштедт покачал головой. Из снотворных он предпочитал алкоголь. Некоторое время они шли молча. Модель снял монокль и принялся вертеть его на шнуре вокруг пальца, что было у него признаком волнения. Потом сказал несколько вызывающим тоном:

— Самая идея наступать через Арденны смела и остроумна. Вы не можете отказать ей в находчивости, не правда ли?

Рундштедт нехотя разомкнул уста:

— Я считаю главным фронтом Восточный.

— Но после победы в Арденнах у нас останется один фронт, и мы справимся с ним быстро. Ведь наши беды в том, что мы в центре Европы и потому уязвимы со всех сторон.

— Главная беда наша в другом.

— В чем?

— В том, что мы должны получать указания от одного человека.

— Господин фон Рундштедт, я присягал фюреру.

— Бог мой, я тоже.

Больше между ними не было сказано ни слова. Только перед тем как сесть в свой «мерседес-бенц», Рундштедт, перед которым распахнул дверцу молодой адъютант, его сын, сказал:

— Страх... Система держится страхом.

Модель сделал вид, что не слышит. Он отгонял от себя неприятные мысли. Обласканный Гитлером, он поспешил в свой штаб. Он верил в пророческий дар фюрера. «Не пройдет и года», — повторял он мысленно. И когда в штабе группы армий «Б», которой он командовал,

его окружили офицеры во главе с начальником штаба генералом Кребсом, расспрашивая о свидании с Гитлером, он повторил им эти пророческие слова фюрера: «Не пройдет и года», не предвидя, что не пройдет и полугода, как он, фельдмаршал фон Модель, попав с трехсоттысячным войском в окружение, пустит себе пулю в лоб, а еще через две недели покончит с собой и сам пророк.

Там же, в «Волчьем логове», и примерно в те же дни был затеян план «Гриф». Тайна строжайшая! В сущности, поначалу о нем знали только два человека: Гитлер и состоящий при нем для особых поручений оберштурмбанфюрер Отто Скорцени, иначе говоря, специальный агент фюрера. Ну, еще, может быть, отчасти Кальтенбруннер, который подбросил Гитлеру пару-другую идей на счет этого тонкого дела, но быстро был отстранен.

Отто Скорцени вымахал два метра без малого. Так что Гитлеру во время разговора с ним приходилось задира́ть голову. А Скорцени почтительно нависал над фюрером, сплошное «чего изволите, только прикажите — отца родного не моргнув зарежу».

Да вот беда: 20 октября, как раз когда Скорцени понадобился фюреру, он был в отпуске, предавался в Берлине сладкой жизни. Бомбежки сообщали его ночным наслаждениям особый острый привкус.

Конечно, адрес его был известен: отель «Адлон». Но офицер, посланный за ним на связном «Хейнкеле-111», не застал его там. Администратор посоветовал офицеру наведаться в ночной клуб «Фемина». Действительно, посланец нашел Скорцени в туалете клуба, где он сосредоточенно выбирал презервативы (отдавая предпочтение французским), которыми среди блистающих изразцов и аммиачного запаха этого заведения бойко торговал одоногий инвалид с железным крестом на груди.

— Скорцени, я знаю, только вам можно доверить это дело, и вы его выполните.

Верзила преданно щелкнул шпорами. На черном эссовском мундире его блистали рыцарский крест и итальянский орден «Сто мушкетеров».

— То, что я вам скажу, — продолжал Гитлер, — является сверхсекретом. Кроме вас и меня. . . — Фюрер внезапно прервал свою речь. — Что у вас в планшете?

Он нажал кнопку на столе.

Вошел гауптштурмфюрер в сопровождении трех эсэсовцев — руки к бедрам, щелкнули каблуками.

Конечно, Скорцени глубоко свой. Не он ли свергал австрийского канцлера Дольфуса? Не он ли расправился с венгерским властителем Хорти? Не он ли, черт побери, похитил самого Бенито Муссолини 12 сентября сорок третьего года? Но после июльского покушения Гитлер не доверял собственной тени.

Скорцени вынул из планшета фотографию Гитлера, оправленную в серебряную рамку. Золотой каймой была обведена дарственная надпись: «Моему штурмбанфюреру Отто Скорцени в благодарность и на память о 12 сентября 1943 года. Адольф Гитлер».

— Я ношу ее всюду с собой, — сказал Скорцени строго. — У меня нет более дорогой вещи.

Фюрер благосклонно улыбнулся и кивнул эсэсовцам. Они вышли.

— Скорцени, слушайте меня внимательно, — сказал он. — Мы ударим по союзникам в Арденнах. Этот удар будет подобен грому с чистого неба.

Пауза. Быстрый взгляд на собеседника. Скорцени изобразил восхищение. Гитлер продолжал возбужденно:

— Я разорву их дерьмовые армии надвое и поочередно уничтожу их! Они считают, что с моей Германией покончено. Безглазые черви! Не они меня, а я их буду хоронить!

Трясущейся рукой он налил в стакан воду и долго пил. Потом снова:

— Скорцени, чего я хочу от вас? Вы должны внести смятение в их тылы. Вы переоденете вашу бригаду в американскую и английскую форму и снабдите их соответствующими документами. Конечно, вы подберете таких людей, которые отлично говорят по-английски. Понятно?

— Значит, я должен...

— Вы должны просочиться в расположение противника и захватить мосты через Маас.

«Это уже что-то другое», — подумал Скорцени.

— Вот здесь. Смотрите.

Указка Гитлера скользнула по карте и остановилась между Льежем и Намюром.

— Но этого мало. Вы должны внести в их тылы пере-

полох. Панические слухи! Ложные приказы! Нарушение коммуникаций! При удаче пленение крупных офицеров. Словом, вы понимаете...

Он вдруг замолчал. Потом толкнул дверь в задней стене и крикнул:

— Гиммлер!

Вошел рейхсфюрер, которого за его спиной втихомолку называли «рейхсферфюрер»¹.

— Гиммлер, не придать ли нам бригаде Скорцени, которому я даю специальное задание, бригаду Дирлевангера?

Когда-то батальон, затем полк, наконец, бригада — эта часть, числившаяся в группе армий «Центр», состояла из преступников, осужденных за грабежи и убийства. Даже среди эсэсовцев они слыли кровавыми бестиями.

— Счастливая мысль, мой фюрер, — сказал Гиммлер.

Гитлер вперил в него горящий взгляд.

— Нет, — сказал он. — Я передумал. Это преждевременно. С государственной точки зрения это неразумно. Ребята Дирлевангера не отличаются, — он усмехнулся, — сдержанностью. Их манеры (тут все захихикали) могли бы восстановить против Германии этого святошу Рузвельта и помешать сепаратному миру после предстоящей победы в Арденнах...

Скорцени расположил свой штаб в замке Фриденталь, вблизи Берлина. В целях конспирации он переименовал фамилию на Золяр. Для того чтобы отобрать в частях солдат и офицеров, говорящих по-английски, ему нужно было разрешение высшего военного начальства. Скорцени обратился к фельдмаршалу Рундшtedту, не сомневаясь в его содействии. Он знал приказ Рундшtedта по вверенным ему войскам, изданный совсем недавно, 21 сентября 1944 года: «Эта борьба за право быть или не быть немецкому народу не должна щадить культурные памятники и прочие культурные ценности...» Знал он и о том, что Рундшtedт покорно выполняет приказ Гитлера о «выжженной земле», известный под кодовой кличкой «Приказ Нерона».

Поэтому Скорцени был поражен, когда Рундшtedт

¹ Имперский совратитель (нем.).

ему отказал. В сущности, фельдмаршал вежливо зыгнал его. Он считал всю эту операцию «Гриф» любительщиной, а участников ее обреченными. Кроме того, ему не нравилась вульгарная физиономия Скорцени. «Может быть, я потерял честь, но я не утратил вкуса», — подумал фельдмаршал.

Скорцени с нагловатой развязностью заявил, что в таком случае ему остается обратиться к фюреру. Рундштедт пожал плечами и ничего не ответил. Глядя вслед удаляющейся спине Скорцени, он думал: «Может быть, это зачтется в мою защиту, когда меня будут судить как военного преступника».

Скорцени не посмел жаловаться Гитлеру, а обратился к Кейтелю. Этот фельдмаршал, которого за спиной называли Лакейтель, тотчас выдал Скорцени соответствующее разрешение.

Скоро в тщательно охраняемом лагере на полигоне Графенвер под Нюрнбергом скопилось три с лишним тысячи солдат и офицеров, говорящих по-английски. Они составили специальную 150-ю бригаду.

Однако их английский язык был чисто школьным и сильно папахивал немецким акцентом. Тогда им дали учителей — военнопленных унтер-офицеров, англичан и американцев. Отчасти подкупом, отчасти угрозами, иногда обманом их заставили преподавать немцам жаргонные словечки, манеру обращения, повадки, ругательства, солдатские остроты и, конечно, произношение. Труднее всего было вытравить из немецких солдат их деревянную дисциплину и внушить им, например, что американские солдаты не вынимают рук из карманов даже при разговоре с офицерами. В них вдабливали, что американцы называют бензин не «petrol», а «gas». Их учили жевать резинку и свертывать самокрутки из табака «Sарogal». Танкисты осваивали американские танки, шоферы — грузовики и транспортеры, а повара овладевали искусством готовить из американских продуктов.

Конечно, их переодели в английское и американское обмундирование и соответственно вооружили. Доллары и фунты стерлингов, которыми их снабдили, были фальшивыми, но почти неотличимыми от настоящих. Зато подлинной была ампула с цианистым калием, которую получил каждый диверсант. Для себя, конечно. Ну а что, если две группы диверсантов случайно столкнутся? Как

они узнают, что это свои, а не настоящие американцы? Для этого были установлены опознавательные приметы: зрительная — вторая сверху расстегнутая пуговица кителя, слуховая — двойной стук пальцами по каске.

Официально предстоящая им операция получила кодовое название «Гриф». Но сами диверсанты предпочитали называть ее более привычным им бандитским словечком «гэнг»¹.

Шесть часов утра — наконец спать! По зимнему времени темно, как ночью. К распростертому на кровати Гитлеру подходит, мягко переваливаясь на слоновьих ногах, его лейб-медик Теодор Морелль. Брюхастый, лохматый, неряшливый толстяк — рубаха не первой свежести выбивается из брюк. Гитлер посмотрел на него с отвращением. Сам-то фюрер одевался всегда с иголки, очень следил за собой, стараясь элегантною возместить незначительность наружности.

Но Морелль свой. По крайней мере, можно ему доверять. Он рядом с Гитлером с давних времен. Он из самых приближенных, как и лейб-фотограф Генрих Гоффман, который, собственно, и свел его с Мореллем, как и со своей лаборанткой Евой Браун. Пусть о Морелле говорят дурное, пусть чешут языки завистники, что до возвышения Гитлера его клиентуру составляли берлинские проститутки, что он был подпольным абортмахером. Что с того! Сейчас его волшебный шприц дарует Гитлеру бодрость, жизненный тонус, а главное — сон.

— Морелль, я буду спать?

— Вы будете спать, мой фюрер, как новорожденный младенец.

Гитлер отстранил руку Морелля со шприцем. Он боялся сновидений. А вдруг придет сон-жало, сон-приговор, сон-казнь?

— Морелль, я не хочу никаких снов!

— Мой фюрер, у вас будут только приятные сны.

Гитлер с подозрением посмотрел на мутно-зеленоватую жидкость, качавшуюся в стекле.

— Чего вы мне подмешали сюда?

¹ Банда (англ.).

— Немножко гашиша, мой фюрер, — сказал толстяк своим вкрадчивым голосом. — Безвредная доза. Она придаст вашим сновидениям легкость и очарование.

Это был полусон. Действительно, мысли Гитлера обратились на приятное. Он возвращался воображением к тем дням, когда был безвестным маленьким художником, а потом в войну вестовым при штабе Баварского полка. В отличие от многих других выскочек, он любил вспоминать о времени, когда был социальным ничтожеством. Это возвышало в собственных глазах. Вспомнилось, как Гинденбург в Нойдеке перед смертью — ему не забыть этого дня! — ранним утром 2 августа 1934 года назвал его «ваше высочество»! А Крупп! Гитлеру сладостно было ворошить в полусонных видениях переданное ему на днях Гиммлером. Глава концерна доктор Густав Крупп фон Болен унд Гальбах сказал недавно там у себя, в своем королевстве, в Эссене: «Не пора ли нам вынуть из этого малого наши вклады?» — «Поздно, господин Густав Крупп фон Болен унд Гальбах! Нет, я не хочу ссориться с вами. И я недавно специальным декретом даже превратил ваши владения в наследственный майорат. Но вы поздно спохватились! Вы считали, что я ваше предприятие? Нет, руки коротки, господа! Теперь я народное предприятие. Да, в свое время корону мне вручили промышленные бароны. Но теперь содрать ее с меня вы уже не в силах».

Мозг, возбужденный гашишем ли или черт его знает еще чем, работал как бы взрывами. «Никто никогда за всю историю Германии не обладал такою властью, как я. Карл V? Фридрих II? Да нет, куда им! Может быть, только Лютер... и то...»

И вдруг взорвалось в черепе, казалось, лопнут виски: Сталин! И потянулась цепочка... Сталинград... Проклятый Паулюс пожалел свое вшивое тело и не застрелился!.. Рундштедт тоже из этого вонючего теста, он не застрелится, если... если... Но Гитлер не хотел признаться себе, что Арденны — его последний шанс. Он зарывал эту мысль куда-то очень глубоко.

Он старался вытеснить мысль о «Страже на Рейне» мыслью о «Пасхальном яйчке». Так — покуда про себя — назвал он операцию, которую еще никому не раскрывал

и которая приведет к коренному перелому в ходе войны. Да, он преподнесет миру это пасхальное яичко, черт бы взял их всех вместе и каждого в отдельности, в первую голову, разумеется, Черчилля и Сталина! По этому плану предполагалось убийство Эйзенхауэра, немедленный мощный удар по Франции, а главное — вот что должно было потрясти весь мир! — обстрел Нью-Йорка ракетами дальнего действия. Да, милостивые государи, вы не ослышались. Именно Нью-Йорка! И как? А вот как.

Гитлер принялся переворачивать в полусонном мозгу это дивное «Пасхальное яичко». Специальная сеть тайных агентов — это могут быть молодчики из стаи Скорцени — скрытно установят на нью-йоркских крышах особые высокочувствительные ультракоротковолновые радиомаяки системы профессора Манфреда фон Арденне (какая символическая фамилия!). Они-то и наведут на американскую столицу ракеты дальнего действия «фау-3»...

А до этого? Да, что до этого?

...Судьба мне внушила тяжелые решения. Очень тяжелые. Но я избран их осуществить. Я, и никто другой. И германский народ меня поддержит. Да, народ ни перед чем не остановится, будь то новый сбор шерстяного трикотажа для фронта, будь то новый призыв в армию. Германскому народу повезло, что у него есть я!

Народ, народ... Что-то в этом слове раздражало Гитлера.

...Где же этот проклятый сон, обещанный Мореллем? Народ... Да, жить должен народ. Отдельная личность должна умереть в народе. Нельзя допускать, чтобы мои приказы критиковались. Сам народ не хочет иметь никого права на критику. Иметь это право хотят смутьяны, копошащиеся в народе... Где же наконец этот сон? Почему он не приходит? А вместо него лезут в голову незваные мысли о смутьянах, об этом обер-лейтенанте авиации Шульце-Бойзене и его подпольной «Красной капелле». Правда, им всем поотрубали головы. Несчастье немецкого народа в том, что он слишком усердно развивает интеллект и слишком мало волю и веру.

...Вот откуда зараза! Зараза Сопротивления! Да, отсюда, да еще из этих дерьмовых Даний, Голландий, Греций! Эти занюханые страны с их опереточными королями могут существовать только потому, что крупные евро-

пейские державы никак не договорятся, каким образом их слопать. Я возьмусь за них. Я переселю народы. А те французишки, которые воротят морду, пусть выметаются в Виши... Переселение народов — признак величия верховного правителя. Например, Наполеона... Надо было перевезти из Парижа не только стол Наполеона, но и его гробницу... А впрочем, к чему? Все три Наполеона плохо кончили...

Мысли его то текли лениво, то пускались вскачь.

...Вокруг меня подонки, они воспитаны так: пусть другие приносят себя в жертву; а сами косят в сторону... Необходимые фронту двухсотсорок миллиметровые минометы, за которыми я уже месяцы гонюсь, как черт за грешной душой, все еще не могут поступить в производство. Бесхребетные сволочи! Хуже, чем какая-нибудь коммунистическая свинья — у тех есть хоть какие-нибудь идеалы, за которые они борются... Если где-нибудь в тылу я обнаружу хоть одного мужчину моложе шестидесяти лет, пусть молится богу перед смертью!..

Он приподнялся на кровати. Возбуждение спадало. Очень захотелось кофе с черным хлебом пумперникель. Веки тяжелели. Ему казалось, что желанный сон накатывается на него. Чтоб не спугнуть, он снова принялся думать о приятном. Об Арденнах!

...Победа в Арденнах будет факелом для всего мира! Поручкой тому разработанный мной план операции «Wacht am Rhein». Льеж и Антверпен снова будут наши! А в дальнейшем... Да, да, это будет Париж...

Утрату Парижа он ощущал особенно болезненно. Казалось, что ему Париж? Он не смог взять Ленинград из-за, как он уверил себя, бездарности старого оболтуса фон Лееба. И переживал это как унижение. Он не овладел Москвой из-за — он тешил себя этой мыслью — коварного русского снега. И был вне себя от бешенства. Он упустил Сталинград из-за — он заставил себя верить в это — слабоволия этой собачьей свиньи Паулюса. И это был для него удар под ложечку.

Но мучительнее всего была потеря Парижа. Он без конца приказывал контратаковать его. Вернуть Париж! Но контратаковать было нечем. Тогда он отдал приказ уничтожить Париж! Не мне, так никому! Снести его с лица земли канонадой из крупнокалиберных мортир и фугасками с воздуха! Но и это не было выполнено. Поспеш-

но отступавшие немцы заботились больше о спасении шкуры, чем об утолении мести фюрера. Они бежали так быстро, что не успели взорвать парижские мосты, к чему их обязывал его гневный приказ.

Да, Париж! Почему до сих пор утрата его — как заноза в сердце? Быть может, потому, что Париж — это престиж. Кто владеет Парижем, владеет миром. Когда Наполеон отдал Париж, он отдал все...

...Через Арденны — в Париж! Арденны — это ступенька к Парижу. Передо мною в Арденнах, в сущности, никого нет. Каких-то пять дивизий или, возможно, только четыре, а может быть, и три. Свежих сил там нет. Исключение, может быть, 12-я американская дивизия. Но еще не ясно, прибыла ли она в Арденны. Если даже и прибыла, то совсем недавно. Уж не говоря о том, что она необстрелянная, американцы вообще не способны к длительному боевому напряжению. Подобно фениксу из пепла вновь поднимется воля Германии!

На краю кровати сидел его старый товарищ Эрнст Рем, убитый им еще в тридцать четвертом году в кровавую «ночь длинных ножей». На груди его запеклись раны. Рем улыбался ласково, принимал к Гитлеру, ластился и струился, как поток. Гитлер попробовал оттолкнуть его, но рука увязла в студенистом теле Рема. Гитлер вскочил. Главное, не проронить ни слова. Ведь известно — призраки не могут заговорить первыми.

Держась одной рукой за стену, Гитлер пошел, шлепая босыми ногами. Он не смел крикнуть слуг все из того же страха заговорить первым и этим разомкнуть уста ему. Только бы добраться до двери!

Но возле двери уже стоял стройный смуглый однорукый красавец с черной повязкой на левом глазу. Штауфенберг! Тот самый. Клаус Шенк граф фон Штауфенберг. Начальник штаба армии резерва. Герой Африки, подложивший под него бомбу 20 июля. Расстрелянный по приказу Гитлера той же ночью 20 июля во дворе военного министерства при свете автомобильных фар, а потом для верности повешенный.

К тому же он не один. С ним еще два Клауса Штауфенберга, совершенно неотличимые от него, с такими же полковничьими погонами и тоже со струнными удавками

на шее. А что удивительного — призрак может появляться одновременно в разных местах. *Hic et ubique*¹.

Все так же лукаво ластясь к Гитлеру, как и Рем, Штауффенберг снял со своей шеи струнную петлю и, изловчившись, набросил ее на шею Гитлера. Гитлер хотел поднять руки, чтобы сорвать ее, но два других Штауффенберга схватили его за руки. Он почувствовал, как струна врезается в шею. Ему не хватало воздуха. Хрустнул позвонок. Струна издала звук невыносимо тонкий, как и она сама. Три Штауффенберга, сдвигаясь темными телами все теснее, образовали вокруг Гитлера подобие бокса вроде тех, в какие запикивали смертников в гестапо.

И Гитлер, уже не думая, что этим он разговорит призраков, прохрипел:

— Линге... Кемпка... Бауэр... Битц...

В комнату вбежал Морелль в халате и шлепанцах.

— Что с вами, мой фюрер?

Гитлер лежал на полу посреди комнаты. Морелль перенес его на кровать. Вынув из кармана халата шприц и склянку с мутно-желтой жидкостью, он вкатил Гитлеру лошадиную дозу снотворного. Гитлер повалился на подушки и заснул слепым сном.

ПОЛЯК И ЕГО ПЕСНЯ

Вулворт стоял на перекрестке дорог с поднятой рукой. Ни одна машина не останавливалась. От унижения он чуть не плакал. Лечь перед машиной? Дать очередь из автомата? «Может быть, кто-нибудь так и сделал бы, — терзался Вулворт, — а я слизняк, интеллигент, теткин выкормыш, и это в самом деле не война, а какой-то зимний горно-туристский курорт...»

Один грузовик все-таки притормозил. Из-под брезента высунулся парень и протянул сверху руку:

— Лейтенант, влезайте.

Он втащил Вулворта в машину.

— Я вас сразу узнал, лейтенант, — сказал он. — Мы же с вами вместе ехали в машине этого гробовщика. Вспомнили? Феликс Маньковский меня зовут.

В кузове пахло грубым табаком, чуть соусированным.

¹ Здесь и всюду (лат.).

Несколько человек мурлыкали однообразную песню. Кто-то невидимый крикнул:

— Продолжай, поляк! Гони дальше!

— На чем я остановился? — спросил Феликс.

— Привезли вас на аэродром... — сказал малый с нашивками сержанта.

Рыжий детина, сидевший на коленях у другого солдата, лениво спросил:

— А где этот собачий аэродром?

— Подождите, ребята, не все вместе. Аэродром, моему, где-то на юго-востоке Англии, возле Портсмута, что ли. Мы торчали там дня три. Пока отправляли английских парашютистов. Их было целых две дивизии «красных дьяволов». Представляете?

— Почему красных дьяволов?

— Так они же в красных беретах.

— Как и наши, — заметил кто-то.

— Да, только у наших с черной полосой.

— Да что ты тянешь! — закричал рыжий. — Ты дело рассказывай!

Маньковский снял с пояса фляжку, встряхнул и со вздохом прицепил обратно. Она была пуста. Потом продолжал:

— Они эти береты носили на одном ухе. Ребята — красота! Как на подбор. В общем, чуть ли не вся Первая воздушно-десантная армия. Думаете, на самолетах? Черта с два! На планерах! Напихают по тридцать парней в брюхо планеру — и с попутным ветерком! Там их была уйма, говорили — тысяча планеров. Картинка! А на четвертый день наконец погрузили нас, поляков. Было это, как сейчас помню, не то первого, не то второго сентября. Куда летим, мы не знали. Нас тоже было немало... — Он вдруг сказал по-польски с какой-то непонятной гордостью: — Самодзельна бригада спадохронова. — И тут же перевел: — Отдельная воздушно-десантная бригада. — Он повернулся к Вулворту и спросил: — Лейтенант, у вас хлебнуть не найдется?

Вулворт с готовностью протянул флягу.

Маньковский закинул голову и пил, булькая. Солдаты смотрели на него молчаливые, сосредоточенные, как в церкви на богослужении. Поляк отер рот и продолжал:

— По дороге нам сказали, что англичане должны были захватить какой-то Арнем, в Голландии, что ли, вооб-

ще в тылу у немцев. Операция по коду называлась почему-то «Market-gardeh», то есть «Огород». Но у них что-то не получалось. Влипли они в этот огород. И мы, стало быть, летели на выручку.

— Собачье дело, — сказал рыжий авторитетным тоном.

— В общем, когда мы плюхнулись на землю километрах в тридцати от фронта, оказалось, что этот глубокий немецкий тыл вовсе не такой пустынный, как рассчитывало начальство, а весь прошпигован швабами. И началось...

— Собачьи штабы наши... — сказал рыжий и сплюнул.

— Да, ребята, нас втянули в самую гущу швабов. Там стояла Десятая боевая танковая группа СС. По-моему, она ждала нас, птенчиков.

Рыжий вскочил с коленей товарища и заорал:

— А наша собачья разведка что же?

— А разведка это профукала!

Со всех сторон посыпались ругательства. Вулворт робко спросил:

— А английские парашютисты?

— Их расколошматили еще до нас. Тут еще погода сделалась паршивая, и авиация не смогла ни черта нам подбросить. Не было чего жрать, да и не до жратвы было, честное слово! Швабы сдавили нас двумя танковыми корпусами СС и били как хотели.

Голос из угла:

— Сколько ж вас было там, поляков?

— Хватало... Три пехотных батальона, да артиллерия, да противотанковая часть, да связь...

Тот же насмешливый голос:

— И вы все, значит, сразу драпанули?

Маньковский нахмурился. Казалось, вот-вот взорвется. Вулворт взволновался и внутренне приготовился броситься Маньковскому на помощь. Но поляк, видимо, сдержал себя и ответил спокойно:

— Ты чем думаешь — головой или задницей? Куда драпать? Куда?! Задание наше было удерживать мосты через Рейн, пока не придет Монтгомери. Мы и держали. Гибли, но держали. Я сам слышал, как командир наш генерал Соснковский — я при нем был связистом — сказал: «Старик Монти не выдаст, старик Монти придет».

— Ну?

— Он не пришел. . . Наплевал на нас. Мы это поняли только через неделю, двадцать шестого сентября.

— Не пришел? — крикнул рыжий. Он гневно хлопнул себя по колену. — Конечно! — кричал он. — Кого больше всего на войне? Нас, мальчишек! Призывные возрасты! А мальчишки, известно, самый драчливый народ. А кто командует нами? Старики! Осторожные, медлительные, трусоватые, как и полагается старикам. Слушай, поляк, если бы там командовал не эта собачья рухлядь Монти, а молодой парень вроде нас с тобой, он бы пришел к вам на помощь и вы все были бы спасены.

— Не знаю, — сказал Феликс. — В конце концов мы — я имею в виду ту кучку англичан и поляков, что уцелели, — бросили этот проклятый Арнем и просочились кто как мог за нижний Рейн. Вот и все, ребята. . .

Маньковский замолчал и откинулся на борт грузовика. Глаза его были закрыты. С мучительным наслаждением он вспоминал Варшаву — ту, старую, довоенную. Круглый, как торт, костел святого Александра на маленькой уютной площади Трех Крестов. Сюда по воскресеньям мама и папа, принарядившись, водили его и братишку Игнация. Мама — черное шелковое платье, зонтик и белые митенки на руках. Платье празднично шуршало. На лаковых башмаках папы прыгали солнечные зайчики. Он, Феликс, и братишка Игнаций в одинаковых костюмчиках, коротких штанах, как у сказочных принцев, белые крахмальные воротники с длинными концами. Кудри. . . Где он теперь-то, Игнаций? Жив ли? Они вместе обороняли Варшаву в тридцать девятом. . . Пустые бочки, плиты, вырванные из тротуаров, поваленные уличные фонари, хаос, называвшийся баррикадой. . . И мы, мальчишки, с пистолетами и охотничьими ружьями. . . Народ мальчишек. . . Варшаву защищали — он это хорошо знает — шестьдесят батальонов с четырьмястами пятьюдесятью орудиями.

А у немцев три армии! Ну хорошо, не три, а около трех — 3-я, 8-я и часть 10-й. А орудий и минометов до двух тысяч. Да двести самолетов с утра до ночи бомбили Варшаву. И ночью тоже. . . Так было тогда, в тридцать девятом. А сейчас, говорят, Варшавы и вовсе нет, она взорвана, сожжена, она — труп. . . Как они спорили с братом! Как он, Феликс, уговаривал брата в сорок пер-

вом уйти с ним на запад. «Нет, — уперся Игнаций, — я поляк, и мое место в Польше». — «Но ты сейчас не в Польше, ты у русских. Неужели ты простишь им пакт с Гитлером?» — «Они сейчас сами воюют с Гитлером». . . Игнаций остался.

А он, Феликс, вместе с андерсовцами ушел в длинный путь — Иран, Палестина, Мальта, Англия. . . «Дошло ли мое письмо до отца? Я посылал его из Англии через Москву в Прагу-Варшавскую. . .» Кто же тот судья, который скажет, у кого правда — у него, Феликса, или у Игнация? Когда наконец кончится соперничество между братьями и кто из них станет решать судьбу Польши? Он, Феликс, с запада или брат Игнаций с востока? Кто скажет, какой будет Польша? А какой она должна быть? Ну уж конечно не такой, какой была. Но какой — этого, честно говоря, Феликс не знал. . . Вся штука в том, чтобы поляки наконец перестали быть народом обреченных. Но как? Как? . . Нет, не думать! «Я не хочу думать! Будь что будет. Все решится само собой». Феликс тихонько запел:

A gdzie matka tej dzeciny w kolebce. . .¹

Он почувствовал тяжесть на плече. Лейтенант Вулворт тихонько посапывал, опершись на Феликса щекой. Что ему снится? Тетя Эдна, домашний громовержец, седая, румяная, с лорнеткой, болтающейся на могучем бюсте? Или первый лейтенант Осборн с желчным лицом и мушкетерскими усиками?

Феликс улыбнулся, глядя на пухлые по-детски щеки Вулворта, и продолжал негромко напевать под ритмичный рокот мотора:

Co to plynie to tei bystrej po rzecie?
Co to plynie po rzecie?²

ЛИНИЯ КОМЕТЫ

Летчик упал во что-то колючее, щекочущее и повис на стропах парашюта. Он попробовал в темноте нащупать ногой землю. Нога ни во что не упиралась. Тут

¹ А где мать того ребенка в колыбели? (польск.)

² Что плывет по той быстрой по реке? Что плывет по реке. . . (польск.)

только ему пришло в голову, не ранен ли он. Нет, как будто ничего не болит, кроме царапины на лице. Надо бы перерезать стропы. Но тогда он упадет на землю, а далеко ли до нее, он не знал. Фонарик он боялся засветить, чтобы не выдать себя. Где упал подбитый самолет, он тоже не соображал, но, наверно, далеко от него, иначе он увидел бы пламя. Упал где-то в этих проклятых Арденнских горах. Упал, как факел, вместе со штурманом и стрелком-радистом. Стрелка ранило в голову еще в кабине, когда в самолет вломились осколки двадцатимиллиметрового снаряда... А штурман... Летчик стиснул зубы, чтоб не застонать. Вдруг он услышал под собой негромкие голоса. Он вынул из кобуры пистолет и дослал патрон в канал ствола. Пистолет при этом сухо щелкнул.

Внизу кто-то сказал по-английски со странным акцентом:

— Эй вы, не валяйте дурака, здесь свои. Вы англичанин? Прыгайте вниз, здесь невысоко и мягко, снег.

Летчик подумал и сказал:

— Откуда я знаю, что вы свои?

Голос ответил:

— Если бы мы были не свои, мы бы вас просто пристрелили.

Летчик нашел, что это резонно. Он вынул нож и принялся перерезать стропы.

— Прыгаю.

Он рухнул в сугроб всем своим долговязым телом. Ему помогли выкарабкаться. Теперь на снегу он смутно различал очертания фигур. Очевидно, их двое.

— Целы? — спросил тот же голос.

— Да.

— Тогда идем.

— А парашют? Они же его найдут.

— Весной. Когда сойдет снег. А сейчас они сидят спокойно в своих хорошо отапливаемых блиндажах.

Они пошли через лес гуськом, летчик посередине. Глаза его привыкли к темноте, теперь он увидел, что шедший впереди был огромен. Летчик и сам был высок. Но этот превосходил его по меньшей мере на две головы. А тот, что сзади, напротив, мал и быстро семенит, пока эти двое отмахивают свои саженные шаги.

Иногда тот, впереди, через голову летчика обменивал-

ся со своим товарищем несколькими словами на незнакомом языке. Летчик не выдержал и спросил:

— Это вы по-голландски?

— По-русски, — ответил передний.

— А... — сказал летчик удивленно. — Как вы сюда попали?

Высокий бросил через плечо:

— Нас спасла Комета.

— Не понимаю...

— Поймете, когда она спасет и вас.

От усталости и темноты, от невероятности происходящего с ним летчику все казалось ненастоящим. Но он не удивлялся, потому что во сне ведь не удивляются. Только когда проснешься, все виденное там вспоминается странным. С другой стороны, если сознаешь, что спишь, значит, не спишь.

— Меня зовут Реджинальд Мур, — сказал он голосом, который казался ему не своим. — А вас?

Шедший впереди буркнул:

— Нашел время знакомиться. Кличка моя Урс. Урс — значит медведь. Помните роман Сенкевича «Камо грядеши»? Там тоже есть Урс, восставший раб. Я, если угодно, тоже восставший раб. Почему? Фамилия у меня самая простая — Смирнов.

— Смирнофф, — повторил Мур.

— Вот именно. И самая распространенная. Не люблю я ее. И не потому, что в России натыкаешься на нее на каждом шагу. А потому, что в ней есть отзвук чего-то робкого, приниженного, смиренного, рабского. В этом имени слышится крепостное право. «Смирнов» — это согнутая спина, это свист кнута, это хрясь в морду, это «чего изволите?». Российский деспотизм вырос и расцвел на смиренных, на смиренности народа...

Урс говорил, размахивая длинной рукой, и не оборачивался, словно обращался не к Муру, а к деревьям, толпившимся вокруг, иногда подбегавшим к самому краю тропинки как бы для того, чтобы лучше расслышать человека.

— А русская революция? — сказал Мур.

— Да, революция, — подхватил Урс. — Народ — это электричество, это колоссальная дремлющая энергия. Она покорно служит повелителю, и вдруг — мятеж: гроза

или просто короткое замыкание. Молния! Пожар! Вот и я ведь не просто раб, а восставший, Урс!

Мур оглянулся на того, кто сзади. Уже стало заметно светлее, и он увидел невысокого мужичка. Его детский носик кнопкой в сочетании с дремучей бородой, малым ростом и доброй улыбкой делали его похожим на сказочного гнома. Или, подумал Мур, на школьный бюст Сократа.

Урс сказал:

— А его кличка Финесс. Так его здесь прозвали за малые габариты. Финесс — значит «тонкость». А для простоты я его называю Финик. И теперь все так зовут его...

«Так кажется мне это все или на самом деле?..» — думал Мур. Все в нем устало — ноги, веки, спина. Мысли заезжали одна в другую. Но это не было и бодрствованием. Мур явственно видел могучие лохматые ели, обступившие тропинку. А между елями вдруг появлялось крыло самолета, но не закрывая их, а как бы пронзая. И внезапно отламывалось с такой легкостью, как если бы оно было картонным. И по крылу шагал Урс. Но это был настоящий Урс, он шагал перед ним и что-то говорил, говорил... Попросить остановиться, прилечь, отдохнуть? Муру почему-то стыдно было сделать это. Он тряхнул головой, напрягся и спросил голосом, который совсем стал чужим:

— А Комета? Это что?

Несмотря на то что Урс с живостью обернулся и снова заговорил, Мур ничего не услышал — сон навалился на него с такой силой, что он всем своим долговязым телом рухнул в снег.

Он очнулся гораздо позже и тогда узнал, что такое линия Кометы.

— Ну вот вы, Мур, в полном порядке, — сказал Урс. — И даже глазки масляные, когда вы на нее смотрите.

Женщина быстро двигалась по избе. У нее была удивительно ровная поступь. Она словно плыла, как конькобежцы или ангелы. Она приносила из кухни тарелки со снедью, дымящийся чугунок, бутылки с чем-то голубоватым, должно быть, самогоном. Она была немолода, и тем не менее Мур действительно не отводил от нее глаз. Уличенный в этом, он весело улыбнулся и подумал об Урсе: «Циник, грубоват, хитер, должно быть, храбр».

Урс разлил самогон по стаканам. Он поднял свой стакан, но не произнес ничего, только мотнул большой медвежьей головой. Мур выпил и закашлялся. Урс засмеялся:

— А мне ничего, луженое горло.

Маленький Финик тоже засмеялся. А женщина заговорила быстро, длинно и горячо.

— Что она, тоже русская? — спросил Мур.

— Она говорит по-фламандски.

— А что она сказала?

— Пустяки. Болтуня, голландская мельница.

Женщина подозрительно посмотрела на Урса. Сердито взмахнула полотенцем и уплыла своей ангельской поступью.

— Я уловил только одно слово, — сказал Мур.

— Какое?

— Комета. К чему это она?

Урс засмеялся:

— В свое время узнаешь.

Мур пожал плечами:

— Не знаю, вправе ли я спрашивать. Но меня интересует, как вы, русские, попали сюда. Если не хотите, можете не отвечать. Я не обижусь.

Урс снова засмеялся. Хорошее настроение, видимо, редко покидало его.

— Не ожидали? — сказал он. — Впервые видите русских? Никакого секрета в этом нет. Попали в плен. Отправили нас работать в шахты возле Линабурга. Бежали. Связались с Кометой. Проще простого!

— Опять Комета!

Вечером Урс привел плечистого малого. В рыжих волосах его пробивалась седина. А лицо молодое, веселое. Сильно вздернутый нос сообщал ему что-то клоуновое. Он охотно улыбался, и тогда становилось видно, что на месте передних зубов у него темная впадина. Конечно, поэтому он пришепetyвал. Вообще-то он говорил по-английски не сказать чтоб очень бегло, частенько задумывался в поисках слова. Но понять его можно было.

— Английский у меня еще со школы, — заявил он. — Ну, а на войне какая практика?

Урс хлопнул его по плечу.

— Вот этот парень, — сказал он, — расскажет тебе о линии Кометы.

— Очень хорошо, — сказал Мур, с интересом вглядываясь в новопришедшего, — но прежде расскажите о себе.

— Фамилия моя Лейзеров, — заявил тот. — В сорок втором, когда немцы потянули от Изюмо-Барвенкова...

Мур поднял брови.

— Это недалеко от Воронежа.

Брови не опускались.

— Не знаете? Ну, от Харькова.

Мур с сожалением покачал головой.

— Фу ты, черт, — растерялся Лейзеров, — да он ни черта не знает, совсем темный. На Украине, понял?

Мур радостно закивал головой.

— Ага, дошло! Так вот под Изюмо-Барвенковым остатки нашей дивизии попали в плен. Какая-то сука донесла, что я еврей. Меня в Аушвиц, по-польски Освенцим. Слышали про такой лагерь? — Лейзеров спустил с одной руки куртку, а потом и рубаху. На обнаженной руке синела татуировка: 156099. — Это мой номер, немцы заклеили. А на одежде они нашивали значки. Разные, кому что. Политическим, например, красный треугольник, педерастам — зеленый, проституткам — черный, священникам — фиолетовый. Нам, евреям, — шестиугольную звезду...

— О, я знаю! — воскликнул Мур. — Печать Соломона!

— У вас так это называется? Ну да, щит Давида. В общем, аккуратный народ немцы. Я уже думал, мне конец. Я узнал, что занесен в списки «Totwürdig», то есть «достойный смерти». Мне предстояло то, что немцы деликатно называли «Sonderbehandlung», то есть «особая обработка», а попросту удушение в газовой камере. Но я выкрутился: заявил, что я караим. Понятно? Ну, это есть в России такое непонятное племя, оно не признает Талмуда, а верит только в Библию. Словом, я наплел им кучу всяких богословских историй и потребовал, чтобы они выяснили о караимах в своем чертовом центре. Но они же, вы знаете, палачи, но буквседы. Короче, дело дошло до самого Гитлера. А он не то спросонья был, не то ему моча в голову ударила. Короче, он разъяснил, что караимы — это арийцы. Меня переслали в лагерь в Люксембург, а оттуда я бежал вот к ним. Фу, аж горло пересохло.

Урс налил ему вина. Лейзеров выпил и отер губы.

— Ну, теперь слушайте про Комету. Линия Кометы действительно линия. Она тянется от бельгийских побережий до испанской границы. И дальше. Какая ее работа? Ее работа — выручать сбитых английских летчиков и возвращать их на родину. Ну, а бежавших из плена, конечно, в партизаны. Как это делается, тебя, конечно, интересует. Это уж наше дело. В общем, мы будем перебрасывать тебя с этапа на этап.

— А что это за этапы?

— Дома. Квартиры. Жилища бельгийских и французских хороших людей. И смелых, конечно. Врачи, учителя, рабочие. Рискуют жизнью, ведь линия Кометы идет по оккупированным местам, так сказать, сквозь немцев. И случаются провалы. Линия прерывается, приходится штопать.

Вмешался Урс:

— Так оно и было незадолго до высадки союзников. Попади ты тогда к нам, тебе пришлось бы торчать здесь целый месяц.

Урс натянул баранью белую куртку, нахлобучил на голову ушанку. Лейзеров тоже поднялся.

— Уходишь?

— Да, есть дело.

— Может, и мне с вами?

Урс покачал головой:

— Ты скоро уйдешь от нас. Тебе нельзя рисковать.

— Так как же это было с Кометой? Вы же не договорили.

Лейзеров махнул рукой:

— А так, что мофы...

— Кто?

Все засмеялись.

— Это голландцы и бельгийцы так прозвали немцев. Ничего лестного в этой кличке нет. Так вот мофы зацапали целых три узла Кометы. Пока мы их заштопали! Ну, в общем, восстановилась Комета, и опять ребята покатились, как туристы, до самых Пиренеев.

Женщина сидела в углу на табурете. Сумеречная полумгла молодила ее. Она не сводила с Мура странно неподвижных глаз.

— До Пиренеев? А там?

— Что там? Чудак! Там тоже свои ребята, испанские

антифашисты. Но не думай, что там можно свободно разгуливать по улицам Мадрида и засматриваться на хорошеньких испанок. Франкисты, или, как их там именуют, фалангисты, — словом, фашистская сволочь вмиг зацапает и сунет в Миранда-даль-Эбро, а этот концлагерь почище немецких. Нет, наши ребята тихонько, шито-крыто доставят тебя в португальский порт на английскую подлодку. А то просунут в Гибралтар. Там видно будет.

— Ну, это в случае удачи, — вмешался Урс, стоя уже в дверях. — Конечно, кой-кому посчастливилось попасть даже на самолет — и через несколько часов дома. Но это чертовски трудно, там очередь таких, как ты.

Мур пробормотал:

— Только радости, что жив остался. А как же в конце концов люди выкарабкиваются из Португалии?

— А так, что пароходом в Голландскую Вест-Индию.

Мур присвистнул и безнадежно махнул рукой. Урс рассердился.

— Ну вот, имей с ними дело, а! — сказал он, обращаясь к Лейзерову.

Тот улыбнулся и сказал мягко:

— Ничего страшного. Путь проторенный. Из Вест-Индии люди попадают в Соединенные Штаты. Оттуда в Канаду. В Канаде ты пристраиваешься к каравану судов, который идет в Англию. Видишь, как просто.

И Лейзеров захохотал жизнерадостно, заразительно. Даже Урс, нетерпеливо топтавшийся у дверей, не удержался от улыбки. Мур пожал плечами:

— Два раза через океан...

Урс сказал с насмешливою рассудительностью:

— Тоже неплохо. Пока ты будешь болтаться по океанам, война кончится.

Лейзеров усмехнулся:

— Есть еще один шанс. В португальском порту устроиться матросом на торговое судно, которое идет в Швецию. Оттуда...

Урс перебил его:

— Швеция трясется над своим нейтралитетом, и парень может попасть за решетку.

— Консул его выручит, — успокоил Лейзеров.

Урс махнул рукой.

— Ну хорошо, — сказал Мур, — это был урок географии. А как же я все-таки попаду к своим?

Лейзеров опять засмеялся.

— Ты все смеешься! — рассердился Мур.

— Ты знаешь, Мур, у тебя такой досадливый и требовательный тон, будто ты пришел в туристское бюро, которое плохо работает.

— Нет, я... — пробормотал Мур смущенно.

Лейзеров посмотрел на Мура внимательно и сказал:

— Есть еще один путь. Не знаю, как ты к нему отнесешься... — Он взглянул на Урса. — Говорить?

Урс мотнул головой.

— Через линию фронта, — сказал Лейзеров. — На севере Франции, возле Кана, стоят англичане. Южнее американцы...

— Вот это, кажется, мне подходит, — сказал Мур.

— Не выйдет, — сказал Урс. — Сейчас идут большие передвижения войск с обеих сторон, и можно здорово влипнуть. Нет, оставим уж наш старый, испытанный путь — по этапам. Пошли, Лейзеров.

Лейзеров покосился на женщину, потом на Мура, чуть улыбнулся и вышел вместе с Урсом.

Вернулся Урс один и поздно. За столом сидели Финик и Мур. Между ними бутылка самогона, наполовину пустая. Женщина сидела рядом с Муром. Одной рукой он обнимал ее, другую, со стаканом, вздымал высоко и говорил:

— Черчилль? Э грейт мэн! ¹

Финик благодушно кивал головой. Женщина смотрела на Мура по-прежнему неотрывно. А он продолжал:

— Рузвельт? Э грейт мэн.

Урс подсел к столу и налил себе самогона. Мур снова поднял стакан и возгласил:

— Сталин? Э грейт мэн.

— А Гитлер? — вдруг спросил Финик.

— Гитлер? — переспросил Мур. — Гитлер — о!

Он похлопал себя между ногами. Урс захохотал. Англичанин радостно присоединился к нему. Финик остался мрачен.

Урс вдруг сделался серьезен, точно с него соскочил весь его хмель. Он сказал задумчиво, вертя в руке стакан:

— Хотел бы я знать, просыпается иногда в Гитлере

¹ Большой человек! (англ.)

нечто вроде совести? И вообще есть ли какое-нибудь нутро у этого диктатора, сокрушается ли он о горе, которое принес миллионам людей? А? Как ты думаешь, Мур?

И так как летчик не отвечал, Урс ответил сам себе:

— Нет, конечно. Не сокрушается. Во всяком случае, при дневном свете. Но, как все люди, он должен спать. Верно? И вот во сне, над которым он не властен. . .

— Не властен? — повторил Мур, заинтересовавшись разговором.

— Да! — грохнул кулаком по столу Урс.

Бутылка покачнулась. Женщина подхватила ее и сердито посмотрела на Урса.

— Ну, поехали! Пью за гибель Гитлера! А ты что ж, Финик? Или тебе тост не по вкусу?

— Не, тост правильный. Дельный тост. Только ты скажи мне, кто нам заплатит за наши прошлые муки, когда Гитлер залез до Волги и Кавказа?

— А ты не вороши это. Сейчас не момент об этом тревожиться. Сейчас у нас народный фронт. Объединение! Понял, дурья твоя голова?

— Это ты набрался занятных словечек у иностранцев, — хмуро пробормотал Финик.

— Да ты что! — рассердился Урс. — Какие иностранные словечки? Кто эту Комету тянет? Не я ли, русский? Я из северных, из архангельских. Чистая кровь!

— Слушай, Урс, — сказал Финик удивленно. — Чистая кровь? Это ты про что? А? Ты надрался. Мыслимое ли дело, такое понес? Это из тебя сивуха рычит. — Он вдруг добавил на довольно чистом английском: — He is drunk, isn't he? ¹

Мур не отвечал. Положив голову на плечо женщины, он спал. Она смотрела на него с какой-то строгой нежностью.

Она лежала наверху, на чердаке. Мур разостлал на соломе свою бэтл-дресс ². Они молча разделись. Она ежилась под щекочущими уколами соломы и тихонько посмеивалась. Он ткнул себя в обнаженную грудь и несколько раз повторил:

¹ Он пьян, не правда ли?

² Походную форму.

— Реджи! Реджи!

Она поняла и, положив его руку к себе на грудь, сказала:

— Вильгельмина...

Он вздрогнул от прикосновения к ее горячему телу и сказал прерывающимся голосом:

— Какое длинное имя...

Желание снова накатилось на него с непреодолимой силой. Тусклый свет лился сквозь маленькое чердачное окно. Он оторвал свои губы от ее губ, и стоявшие внизу, в комнате, снова услышали их голоса.

— А я думала, англичане рыжие, а ты смуглый.

Мур что-то пробормотал. Финик шепнул:

— Как же они разговаривают? Она же ни в зуб ногой по-английски, а он по-фламандски.

— Язык любви, — коротко ответил Урс. — Втюрилась баба.

— Так она ему в матери годится. Фу!

— Что делать! Истосковался...

— Неладно, — сказал Финик огорченно. — Ему что — баловство в дороге, а она по-серьезному.

— Ну уж по-серьезному.

— Думаешь, прикидывается? А в общем, наплевать. — Финик пожал плечами.

Урс откинул тяжелую голову и заговорил, глядя в потолок, как всегда, когда он размышлял вслух:

— Нет, это не притворство, это искренне. Но, конечно, и притворство тоже. Постой, не спеши осуждать ее за лицемерие. Это притворяется не она. Это в ней притворяется то, что хотело приманить Мура. Это военная хитрость великого Инстинкта. А она сама тут ни при чем. А когда Мур вырвется из ее плена, любовь повернется к нему своей черной стороной. И он увидит, что эта женщина совсем другая, некрасивая, старая, глупая, то есть такая, какая она и есть на самом деле.

Мур не попадал рукой в рукав, в бешенстве он натянул куртку с такой силой, что она затрещала. И ботинок сопротивлялся ноге, пуговица ни за что не хотела влезть в петлю воротника. Мур со злостью оторвал ее. Он сердился на вещи. В глубине души он понимал, что, в сущности, сердится на самого себя, но не признавался себе в этом.

Неприязненно покосился он на Вильгельмину. Она безмятежно спала, положив под голову голую руку. Даже в чердачном полусумраке было видно, что у нее счастливое выражение лица.

Урс и Финик хмуро смотрели на Мура, пока он спускался по шаткой лестнице. Ему припомнилась фраза, которая полюбилась ему в какой-то книжке, и он крикнул с наигранным молодечеством:

— Простые развлечения — последнее прибежище сложных натур!

— А пошлячок ты все-таки, Мур, — проговорил по-русски Урс.

— Poshliatchok, — повторил Мур. — What is poshlyatchok? ¹

— Ну, обыватель, мещанин.

— What is meschjanin? ²

Он с трудом втиснул это слово в свой английский рот. Труднее всего ему удалось это невозможное русское «щ».

— Филистайн, — перевел Урс.

— Думаешь? Это ужасно. Я не хотел бы стать мещанином.

— Ты еще молодой парень, — сказал Урс мягко. — Больше всего бойся омещанивания. Из чего оно складывается? Из предпочтения материального духовному, из пренебрежения к людям. Именно отсюда и вырастает хамство деспотизма. Именно так родился и возмужал фашизм.

— Ты уверен в этом? — спросил Мур с сомнением.

— Уверен. Фашисты все-таки обыватели, мещане, бюргеры. Из мещан формируются убийцы. Говорю тебе, Мур, еще раз: самая страшная опасность, которая грозит юноше, это с годами омещаниться. Такая опасность может грозить и целому обществу.

— Но вам... — Мур обвел широким жестом Урса и Финика, — вам, русским, мне кажется, это не грозит. Вы преданы духовным идеалам.

— Да... Это, в общем, так, пожалуй, — сказал Урс задумчиво. — Русские и немцы уж очень непохожи друг на друга. Все у них разное, нередко даже противоположное.

¹ Что такое пошлячок? (англ.)

² Что такое мещанин? (англ.)

- Ваша великая революция...
- Революция — это великий катализатор душ. Хороших она делает еще лучше, плохих — еще хуже.
- А кого больше? По статистике?
- Да это и без статистики видно. Это...
- Это все мысли, — прервал его Мур нетерпеливо. — Меня не интересуют мысли. Меня интересуют факты.
- Урс пожал плечами:
- Некоторые факты — производное от мыслей.
- Но Мур упрямо повторял:
- С мыслями подождем до победы над фашистами.
- Урс вздохнул и сказал Финику, который напряженно слушал их, не понимая, переводя свои косоватые глазки с одного на другого:
- Тяжело нам будет с этим парнем...
- Так ведь завтра мы дадим ему документ, немного разной валюты и пустим его по Комете, — сказал Финик.
- Но так не случилось.

ОПЕРАЦИЯ

Вечером пришли Лейзеров и какой-то широкоплечий малый, по виду крестьянин, с торбой за плечами. Лицо его было затемнено опущенными полями порыжелой шляпы. Они долго о чем-то шептались с Урсом. Потом Лейзеров ушел, а тот, другой, остался. Когда он снял шляпу, стало ясно, что он не крестьянин и не малый, а человек средних лет. Черная борода красиво оттеняла его матово-бледное лицо. Смущенно откашлявшись, Урс объявил Муру, что переход по линии Кометы временно откладывается.

— Почему? — вскричал Мур возмущенно.

Пришедший посмотрел на него с холодным удивлением. Урс неохотно сказал:

— В Америке немцы зацапали мельника, нашего человека, наш первый этап. Пока мы не разберемся во всем этом, не наметим новые лазы, тебе придется посидеть у нас.

Мур разъярился. Он говорил, что не хочет ждать, пускай его проведут через лесное бездорожье ночью, и вообще что это за организация, которая так легко развали-

вается, и что надо быть полными крестинами, чтобы не сохранить потайные тропы, и он не намерен торчать в этих проклятых горах бесконечно.

Пришедший наблюдал его, потом сказал с непередаваемым презрением:

— Британское высокомерие.

Урс терпеливо объяснил Муру, что в условиях подпольной работы под носом у немцев опасно соваться в непроверенные места и что сегодня же ночью они предпримут операцию по освобождению арестованного мельника. А ему, Муру, подберут другой этап.

— Вообще немцы зашевелились, и мне это не нравится, — озабоченно добавил он по-русски, обращаясь к пришедшему.

Тот кивнул и сказал тоже по-русски с каким-то четким и певучим акцентом:

— Да, есть сведения, что их активность возросла. Надо бы сообщить...

Мур поутих. Он все ждал, что его познакомят с пришедшим. Но, поняв, что здесь не действуют правила хорошего тона, сам протянул руку и назвал себя. Тот ответил:

— Брандис.

Предки Брандиса, талмудисты, синагогальные служки, наградили его рассудительными интонациями. Он черен, с презрительной и страдальческой линией рта, с тугой, натянутой, как опаленной, кожей лица, словно за века скитаний по Европе из него еще не выветрилась жгучесть ханаанского солища.

Даже годы мучений в фашистском лагере смерти не вытравили из Лейзерова его розоватости, добродушия, округлости. Брандис сух и жилист. Кровавый фашистский антисемитизм не ввергнул Лейзерова в еврейство. Он верен России, как растение верно своей почве.

Библейская цветистость и певучесть слышались в каждом слове Брандиса. Он пылок и расчетлив. По утрам он молился по ритуалу иудейской веры. Он не верил ни в бога, ни в черта. Но считал, что надо соблюдать религиозные обряды из соображений политических. Он питал уважение к религии.

Один из немногих уцелевших участников восстания варшавского гетто в 1943 году, он сражался за польское дело на баррикадах варшавского восстания 1944 года.

После капитуляции повстанцев он бежал из немецкого плена и вот сейчас здесь, в Арденнских горах, был одним из самых отчаянных макизаров, как называли себя арденнские партизаны. Математик по образованию, он хорошо знал артиллерийское дело. Но какая артиллерия у маки! Два паршивеньких миномета, отбитых у немцев. Впрочем, он знал и саперное дело — наводить мосты, а в случае надобности и взрывать их, минировать горные проходы, рыть подземные ходы, — в этом не было мастера, равного Брандису, на всем расстоянии от Сен-Вита до Бастони. Он был одинок, семья погибла в гетто, его уважали многие, а дружил он, пожалуй, только с Урсом.

На Мура он поглядывал неодобрительно. Он не доверял англичанам. Он знал об их притязаниях на Ближнем Востоке.

— Я слышал, что есть еврейский легион, он сражается в рядах британской армии где-то на Востоке, — сказал Мур тоном любезного собеседника, желая быть приятным Брандису. — В Англии нет антисемитизма. Расовая неприязнь противна самой натуре англичанина.

Брандис сказал жестко:

— У нас в гетто был палач. Когда умерла его канарейка, он сделал ей гробик и похоронил со слезами на глазах.

— Ну, это садист, это выродок, — сказал Мур, махнув рукой.

Брандис сказал глухо:

— Сколько же их, этих выродков, если им удалось засыпать Европу пеплом.

В комнату вошли Финик и Лейзеров.

— Ну что? — спросил Урс.

— Вышли из Америкона. Отделение автоматчиков... — сказал Финик.

— Ну а мельник? — нетерпеливо перебил его Урс.

— Гонят с собой.

— Фу, уже легче! Я боялся, что они забьют его до смерти.

— Может быть, это было бы лучше, — мрачно проговорил Брандис. — Из мертвого ничего не выудишь.

Урс поднял одну из половиц и извлек оттуда несколько гранат. Финик и Лейзеров рассовали их по карманам.

— Давид, получай свой паек, — сказал Лейзеров, протягивая ему гранату, — хватит агитировать англичанина,

Брандис сунул гранату в карман. Кивнув в сторону Лейзерова, он сказал с горечью:

— Вот видите, перед вами горе еврейского народа. Он потерял национальность. Он забыл о том, что он еврей.

Лейзеров рассмеялся:

— Не потерял, а нашел. Нет, нет, ты меня не заманишь в Палестину. Хочешь создать там новое гетто?

Урс озабоченно посмотрел на часы:

— Сейчас двинем. Мы перехватим мельника, когда они будут переводить его через ручей.

Мур легонько коснулся плеча Урса:

— А мне гранаты?

Урс удивился:

— Ты-то здесь при чем?

— Я с вами.

Урс решительно замотал головой.

— Не могу же я сидеть без дела. Я солдат!

— Да. Но другого рода войск. Не нашего.

— Что за разница! Я пойду с вами.

Урс сказал мягко:

— Да пойми ты, чудака, я не могу рисковать твоей жизнью. Обойдемся без тебя.

Мур рявкнул зло:

— Не доверяешь?

— Слушай, Мур, возможно, не все из нас вернутся, понял?

— Я не боюсь.

— Не в этом дело. Мы обязаны возвращать английских летчиков на родину. Таков приказ.

Но Мур не отставал, просил, кланчил, даже угрожал. В конце концов Урс махнул рукой:

— Ладно, черт с тобой. Только от меня ни на шаг, понял?

Повеселевший Мур набил карманы гранатами, потом перезарядил пистолет. Он радовался, как мальчик, которого ребята приняли наконец в игру.

Из дому вышла Вильгельмина. В руках у нее был старенький фотоаппарат. Она наставила его на Мура. Он замахал руками:

— Нет, нет!

И нырнул за широкую спину Урса.

— Не обижайся, — сказал Урс, — ты уедешь, у нее останется память о тебе.

— Не в том дело, — сказал Мур досадливо, — у нас, летчиков, это считается плохой приметой. Если снялся перед вылетом, обязательно грохнешься.

— Видно, это международная примета, — сказал Урс. — Наши летчики тоже не любят сниматься. Но ведь это перед вылетом.

— Но, может быть, я когда-нибудь все-таки буду летать.

— До этого так далеко, что дурная примета успеет выдохнуться, — засмеялся Урс и вытолкнул вперед Мура.

Вильгельмина щелкнула затвором.

Небольшой отряд тронулся. Уходя, Мур оглянулся. Вильгельмина послала ему воздушный поцелуй. Но Мур смотрел не на нее, а на жестяного петушка, который вертелся на трубе. Он, такой изящный, легкий, очень нравился Муру.

— Не передумал? — спросил Урс. — Еще не поздно вернуться.

— Нет.

— Мальчишка ты, и больше никто, — пробурчал Урс. — Мы идем, потому что это наш долг. А ты лезешь в пекло, как на бабу.

Мур молчал. Не мог же он признаться, что идет с ними потому, что считает, что операция как-то омоет его в его собственных глазах. Он рассматривал предстоящую стычку как нравственную ванну или как отпущение грехов. «Кровь смывает все», — думал он. Вражеская кровь, конечно.

От этих мыслей ему стало легче. Он шел словно на веселую прогулку. Дубы и буки протягивали ему навстречу могучие лапы. Сквозь сплетение веток вдруг прорвался луч солнца, и сразу забронзовели чешуйчатые стволы сосен. Открылся кусок неба, немыслимо синий. «Странно, — подумал Мур, глядя на него не отрываясь, — когда я летал, я не замечал неба. Я замечал только землю. Когда я опять начну летать, я обязательно... — Он прервал свои мысли: — Почему, собственно, когда? Не правильнее ли сказать «если»? Если я опять начну летать, я обязательно посмотрю на небо...»

Привал сделали на небольшой полянке. Когда стемнело, к ним присоединились еще несколько человек. Мур с интересом взгляделся в них, он надеялся найти сооте-

чественника. Но двое из них были местные крестьяне — фламандцы, двое — французы. Пятый партизан оказался русским, совсем молодой парнишка, его звали Ловычин. Мур никак не мог выговорить это русское «ы», вбитое, как гвоздь, в самую середину фамилии. Фламандцы, Ян и Питер, развели костер. Один из французов, Амедей, вынул губную гармонику и приложил к губам. Урс погрозил ему пальцем, Амедей вздохнул и сунул гармонику в карман. Другой француз, Жан, высокий, худой, нервный, шагал по поляне. Дойдя до края, он резко поворачивался и шагал обратно. Урс неодобрительно смотрел на него. Видимо, это беспокойство перед операцией неприятно действовало на Урса. Но он ничего не сказал Жану.

Наконец они пошли. Снова погрузились в хвойное безмолвие леса. С ветвей падали снежные хлопья, сгоняемые щелчками ветра. Погода переменилась. С неба валилось нечто, уже переставшее быть снегом, но еще не ставшее дождем. Брандис тихо чертыхнулся. Урс сказал:

— Ничего, это лучше. Суматоха в природе нам на руку.

Он приказал держаться поближе друг к другу, чтобы не разбрестись в темноте. Снег, который обычно виден даже ночью, потемнел от влаги и перестал отсвечивать.

Шли, шли, хлюпали по рыхлому снегу. Мур вдруг наткнулся на Брандиса. Тот шепнул:

— Стоп.

Урс пересчитал всех, тыча каждого в плечо, шепча при этом:

— Здесь будем ждать их.

— Долго? — спросил Мур.

— Они пойдут на рассвете.

Ветер и дождь смыли снег с ручья, и в рассветной полутьме он смутно синел между деревьями. Было тихо, и только слышались осторожные хлюпающие шаги немцев по некрепкому льду. Мур напрасно напрягал зрение, он видел неясное движение теней, не более того. Большим пальцем он нащупывал предохранитель пистолета. Урс запретил открывать огонь, боялись угодить в мельника.

Мур ощутил легкий зуд в чувствительном кусочке кожи между бровями. Ему было знакомо это нервное напряжение, оно собралось в переносице и в полутьме пыталось заменить зрение. Это было зрение слепых, радар,

орган летучих мышей, реликт, остаток древнего чувства...

Внезапный грохот смял эти обрывки мыслей. Партизаны взорвали лед позади немцев, чтобы отрезать им путь к отступлению. Пошла трескотня из автоматов.

И вдруг заговорили птицы — свист, щебетанье. Мур не успел удивиться этому птичьему концерту посреди боя — чья-то мощная рука пригнула его к земле. Внезапно он понял: этот птичий посвист издавали пролетающие пули. Он ведь никогда не был в наземных стычках. А там, в небе, трассирующие пули были безголосыми, все заглушал рев мотора.

Наконец Брандис отпустил его.

— Где Урс? — спросил Мур, растирая замлевшую шею. — Он сказал: «Ни на шаг от меня», а сам исчез.

— Он пошел выручать мельника, боится, что немцы пристрелят его, — сказал Брандис в своей обычной спокойной манере, словно они безмятежно беседовали, сидя в уютных креслах где-нибудь в гостиной у камина. Потом прибавил: — А мне поручил быть возле тебя.

Мур вскочил и, прежде чем Брандис успел остановить его, побежал вперед, к ручью. Брандис побежал за ним, пригибаясь под пулями, шмыгавшими меж деревьев.

Мур прыгал с льдины на льдину. Он уже различал мощную фигуру Урса. А рядом с ним маленького бородатого крестьянина.

Он подбежал к Урсу. Два убитых немца валялись на льду, один вниз лицом, другой на правом боку. Урс сказал:

— Цел? Ну слава богу. Сегодня же пустим тебя по Комете.

— А где ребята? — спросил Брандис.

Урс махнул рукой в сторону леса:

— Побежали догонять мофов. А ты оставайся. Работы много. Надо его спрятать. — Он кивнул в сторону мельника. — Потом отведем Мура на этап, больше ему задерживаться нечего.

Радостное чувство нахлынуло на Мура. Он не думал о трудностях пути. Он видел конец его — Англию! И с нежностью посмотрел на Урса.

— Пойдем! — сказал он в счастливом нетерпении своим.

— Погоди, — сказал Урс, — нам надо прежде раздеть их.

Мур не понял. Урс указал кивком головы на трупы двух немцев, разметавшихся на льду.

— Противная работа, — продолжал Урс, — да что поделаешь — нам нужны немецкие мундиры и документы.

— Я готов! Я могу! — с радостной охотой сказал Мур.

Он был преисполнен радости и любви к партизанам. Ему не удалось принять участия в этой стычке, его берегли, так он хоть чем-нибудь будет полезен этим замечательным людям.

Он нагнулся над одним из трупов и стал переворачивать его с бока на спину. Когда у немца выпросталась правая рука, он поднял ее и выстрелил в лицо Муру. Брандис молниеносно разрядил в немца его же автомат. Потом он и Урс кинулись к Муру.

Англичанин был мертв.

Стук в дверь не прекращался. В конце концов первый лейтенант Конвей, не вставая с кровати, с досадой отложил книгу и крикнул:

— Какого черта?

Из-за двери что-то неясно пробурчали.

Конвей пожал плечами, поудобнее расположил на кровати свое небольшое тело и снова взялся за книгу. В дверь продолжали стучать, но Конвей не обращал на это внимания.

Это был самый сладкий час посреди дня: отдых после ванны. «Джип» доставлял его из Спа домой за двадцать минут. Продолжая ощущать приятное изнеможение в теле, он тотчас бросался на кровать. А сегодня еще добавочное удовольствие: в Спа он раздобыл небольшую монографию о Кранахе и сейчас наслаждался изяществом издания и совершенством лейпцигской цветной печати.

Однако дверь под напором извне тряслась с такой силой, что Конвею пришлось встать. Он опустил босые ноги в шлепанцы и, чертыхаясь, поплелся к двери.

На пороге стоял высокий плечистый священник в длинной сутане. Когда он снял широкополую шляпу, Конвей рассмеялся.

— Входите, Урс, — сказал он. — Великолепный маска-

рад. Раз вы пришли, значит, что-то важное. И вообще я вам рад. Но вы же знаете, у меня строгий режим. Должен вам сказать, что боли в коленных суставах у меня усилились. И это хороший признак — здоровая реакция организма на лечебное действие гидропатии.

— Немцы зашевелились, Конвей. Потому я и пришел. Ребята доносят, что прибыла Пятая танковая армия и передвигают вперед артиллерию. А кроме того, есть данные, что прибыла и Шестая танковая армия СС.

Конвей махнул рукой.

— Вам, партизанам, вечно что-то мерещится, — сказал он устало. — Откуда им взять пополнение? С Восточного фронта? Ерунда! Гитлер влип на Востоке. Русские под Варшавой.

— А все-таки здесь что-то делается. Надо бы сообщить в штаб корпуса.

— Я удивляюсь вам, Урс. Вы старый опытный макизар и поддаетесь каким-то паническим слухам. До весны я вам гарантирую полное спокойствие. — Он засмеялся и добавил: — А для моих суставов мне больше и не нужно. — Потом сказал серьезно: — А весной мы и сами рванем.

Урс настаивал:

— Нет, они что-то затевают. Ребята видели самого командующего — как его? Фон Рундштедт! А он зря не приедет.

— Ах, старый пес уже здесь? Ну, это лучший признак того, что все будет спокойно. Он сторонник стоячей обороны. Вообще неплохой мужик.

Урс нахмурился:

— Конвей, они все виноваты. Тот, кто не говорил «нет», тем самым говорил «да».

После ухода Урса Конвей зевнул и потянулся рукой к лежавшей на столе тетради. Дневники велись ночами, иногда шифром, иногда симпатическими чернилами. Их запаивали в железные банки, закапывали в землю, замуровывали в стены. Так во многом уцелела история войны. Так выжила правда.

Вот и Конвей считал, что грешно участнику столь грандиозной войны не отразить ее в своих повседневных записях. Но по лени своей он покуда так и не взялся за перо. А впечатления свои изливал в разговорах с кем попало. Неоценимое удобство представлял для этого

лейтенант Вулворт по своей молчаливости и охоте слушать. Но он удрал на передний край.

Конвей вздохнул, полистал тетрадь, она была девственно чиста.

Все-таки — правда, не в тот же день и не на следующий, а послезавтра, в день приема ванны, — разумеется, перед процедурой, — Конвей завернул в штаб 1-й армии. Там, между прочим, показывая, что и сам не придает этому значения, он рассказал о разговоре с Урсом.

Полковник Бенджамен Диксон (или, как все его звали, Монк, то есть монах, и отнюдь не за монастырский образ жизни), начальник разведки 1-й армии, пожал плечами:

— Неужели вы думаете, что я полезу с этой чепухой к старику Трою Миддлу? Он меня высмеет, Том.

— Нет, спасибо, — сказал Конвей, отодвигая стакан, — я перед ванной никогда не пью. Я просто рассказывал вам, чтобы вы видели, как мне трудно иметь дело с этой оравой неорганизованных неврастеников — маки. Представьте себе, они уверяют, что немцы пригнали в Арденны Шестую танковую армию СС, знаете, ту самую, которой командует оберстгруппенфюрер Зепп Дитрих.

— Пригнали, да, — сказал спокойно Диксон. — Из оперативного резерва.

Конвей поднял брови.

— Они сосредоточили ее, — продолжал Диксон, — в районе Кёльна. И понятно почему: для отпора нашим войскам, когда мы прорвемся в Кёльнскую равнину. Но вы же знаете, мы рванем только весной.

Прощаясь с Конвеем, полковник сказал:

— Вы выглядите, Том, гораздо лучше. Видно, ваши ванны пошли вам впрок. — И он повторил слова, которые обычно повторяли по всей тоненькой цепочке американских войск в Арденнах и которые звучали как заклинание: — А весной мы сами рванем. . .

ТЕХНИКА

Стоял густой туман. «Опель-адмирал» фельдмаршала Моделя с трудом пробирался по заснеженным горным дорогам. Некогда элегантная машина была как лишаями сейчас покрыта маскировочными пятнами. К задку при-

торочен безобразный железный баллон — газогенератор, наполненный деревянными чурками: мотор переведен на твердое топливо. Заботливый шофер навалил на крышу автомобиля еловых веток для камуфляжа, хотя день был явно нелетный. Чем больше густел туман, тем больше ощущал фельдмаршал его студенистую плотность, тем больше он радовался. «Небо за нас!» — вспоминал он слова Гитлера и повторил их, когда прибыл на командный пункт 5-й танковой армии. Генерал Мантейфель, предупрежденный по телефону, уже ждал его. «Если только туман не рассеется», — мысленно ответил Мантейфель на бодрое восклицание Моделя, а вслух подтвердил:

— Фюрер взял небо в союзники.

— Молодой метеоролог, фюрер назвал его метеоропроком, — сказал Модель, — предсказал длинную серию нелетных дней. Фюрер наградил его.

Мантейфель понимающе склонил скуластое, обветренное, тонкогубое лицо. Они следили не только друг за другом, но и за собой — не дай бог, вырвется лишнее слово.

Потом пошли в танковые роты. Скользили по наледи, кутались в плащи, перепоясанные широкими ремнями. Ветер налетал дикими порывами, сметал снег с деревьев — армия упряталась в лесах. Генералы окунали носы в меховые шалевые воротники. Адъютанты, шедшие позади, прикрывали лица тяжелыми портфелями, набитыми картами и схемами боевых участков.

По дороге Модель сказал:

— Повторяю, генерал: никаких перемен. Обращаю на это ваше особое внимание. Фюрер собственноручно начертал на операционном плане: «Изменению не подлежит». Ваш сосед справа, Шестая танковая армия Дитриха, обойдет Первую и Девятую американские армии, обрушится на Четвертую и отшвырнет ее за Маас.

— Стало быть, мне...

— Вы — на Намюр. Будете обеспечивать левый фланг Дитриха.

Как ни был осторожен Мантейфель, но тут не выдержал:

— Вспомогательное направление?

— Таков приказ, — холодно ответил фельдмаршал.

Мантейфель хотел сказать, что 6-я танковая армия — эсэсовская, а эсэсовцы прославились победами главным

образом над мирным населением. Но сдержался. Но даже в молчании генерала Модель, очевидно, почуял протест и, быстро повернувшись к нему, сказал:

— Обе задачи равно существенны.

Невысокие, как боксеры в весе мухи, набычившись, стояли они друг против друга под мелким мокроватым снегом, который сеял непрерывно. Мантейфель проговорил, не разжимая зубов, выдавливая каждое слово:

— Вы хорошо помните, господин фельдмаршал, состав моей армии? Три танковых дивизии и четыре пехотных?

— Вы забыли о мотобригаде.

— Да, бригада «Фюрербегляйт» из охраны фюрера. Но ведь она...

— Что она? — надменно осведомился Модель.

— О нет, я ничего плохого не хочу о ней сказать. Но ведь по функциям своим она преимущественно полицейская.

— Так что из этого следует?

— Да нет, ничего. Но вспомните, господин фельдмаршал, еще год назад танковые армии имели по семнадцать и даже по двадцать дивизий.

Модель вздохнул.

— Может быть, еще не поздно, — сказал он задумчиво, — перебросить с Восточного фронта...

— С Восточного? И вы это предлагаете, зная, что русские насаждают на южном участке, а на севере они уже в пределах Восточной Пруссии!

— Я ничего не предлагаю, — несколько вызывающе сказал Модель. Потом примирительным тоном: — Здесь два решающих фактора за нас: внезапность удара и летняя погода.

Они достигли расположения 47-го танкового корпуса. В тумане мелькали призрачные силуэты, неясно темнели громады танков и автомашин, полуврытые в землю. Все было похоже на гигантский театр теней. Группа танкистов хлопотала над кучей хвороста. Туман каплями оседал на их кожаных комбинезонах.

Мантейфель позвал:

— Капитан!

Штольберг подошел и откозырял со щегольством старого военного.

— Ваша часть укомплектована полностью? — спросил генерал.

— Так точно, господин генерал.

Штольберг хотел прибавить, что сегодня в его автоколонну пригнали семнадцатилетних курсантов и даже есть в пополнении несколько гимназистов из гитлерюгенда, ребятам по пятнадцать лет, но воздержался. Тем более что рядом с генералом стоял незнакомый офицер, видно шишка из главного командования — ведь, выезжая на передовую, они надевают одежду без знаков различия.

— Фаустпатронов достаточно? — отрывисто спросил незнакомый офицер.

— На вооружении батальонов по восемьдесят фаустпатронов, — отчеканил Штольберг.

Незнакомый офицер удовлетворенно мотнул головой. Внезапно налетел ветер, взметнул кучу мокрого снега, залепил глаза. Модель поплотнее запахнул плащ, при этом блеснуло на воротнике кителя серебро маршальских нашивок. Штольберг мгновенно смекнул, кто перед ним. Только он собрался почтительно осведомиться: «Разрешите быть свободным?» (в его положении лучше подальше от начальства) — как Модель спросил:

— Кострами обогреваетесь?

Штольберг не знал, что ответить — хорошо ли, что кострами, или плохо, — как Модель сам сказал:

— Разумно. Фюрер строжайше запретил расходовать горючее на обогрев моторов и людей.

Мантейфель счел момент подходящим для того, чтобы с одобрением отозваться о всеобъемлющей гениальности фюрера, который наряду с решением мировых проблем не забывает и о мелочах.

— Вы только подумайте, — сказал он, — фюрер подал идею немецким домашним хозяйкам ввиду временной нехватки съестных продуктов перейти на систему Eintopf-küche¹.

«Серьезно он это или издевательски?» — подумал Штольберг, все еще стоявший навытяжку.

— Однако с кострами надо поосторожнее, чтобы не демаскироваться, — заметил Модель.

Мантейфель улыбнулся.

¹ Всю пищу в один горшок (нем.).

— Капитан, доложите о технике ваших костров, — сказал он.

— Мы жжем древесный уголь, он развивает жар, но не дает дыма.

— Превосходно! — воскликнул Модель, окончательно придя в хорошее настроение. — Надо этот опыт распространить на весь фронт.

Они пошли в расположение танкового полка. Адъютанты следовали за ними. Штольберг, посомневавшись, пошел следом за ними.

— Толковый офицер, — сказал фельдмаршал. — Кто таков?

— Капитан Штольберг. Мне подали на него рапорт.

— А что такое?

— Дело на него заведено. Еще по Восточному фронту. Ввиду предстоящего наступления решено отложить разбор до конца операции.

Модель равнодушно кивнул.

Подбежал и рапортовал командир танкового полка, рыжий детина, каска с трудом держалась на его массивной голове.

— Танки у вас, я вижу, марки «Т-четыре», — сказал Модель.

Мантейфель развел руками.

— Есть некоторое количество «пантер» и «тигров», — рявкнул полковник.

— Ах так? — удовлетворенно сказал Модель.

Увидев подошедшего Штольберга, он посмотрел на него благосклонно и сказал:

— Добрая это машина, «тигр», не правда ли, капитан?

— Да... — неопределенно протянул Штольберг. В ответ на вопросительный взгляд фельдмаршала он прибавил: — Маневренности не хватает. — И после паузы: — И вооружения.

Модель нахмурился:

— Объясните.

Штольберг отчеканил уставным тоном:

— «Тигров» выпускают две фирмы — «Хеншель» и «Порше». «Тигр» фирмы «Порше» не имеет пулемета и поэтому не может вести ближнего боя. У нас на вооружении «тигры» марки «Порше».

Модель покосился на Мантейфеля. Тот молчал с не-

проницаемым видом. Наступила неловкая пауза. Дело в том, что год назад в битве на Курской дуге в армии Моделя было девяносто «тигров». И это были именно «тигры» марки «Порше»...

— Есть у нас и «королевские тигры», — поспешно вставил полковник. И с гордостью добавил: — Толщина лобовой брони — сто пятьдесят миллиметров.

— А скорость? — спросил Штольберг.

Полковник оглянулся и, увидев, что перед ним не больше чем армейский капитан, не счел нужным ответить.

— Вы слышали вопрос? — строго спросил фельдмаршал.

Полковник неохотно сказал:

— Скорость тридцать четыре километра. — Но тут же с воодушевлением добавил: — Зато у «пантеры» — пятьдесят четыре! Скоростная самоходка! Не утонишься!

Штольберг кашлянул. Модель покосился на него.

— Говорите! — приказал он.

— Разрешите доложить, — сказал Штольберг, — что из-за недостаточной защищенности системы смазки «пантера» быстро портится. Питание горючим неудовлетворительное. «Пантера» быстро воспламеняется. На Курской дуге во время операции «Цитадель» «пантеры» горели, как факелы.

Мантейфель торопливо вмешался:

— Капитан Штольберг, можете быть свободны.

И с опасением покосился на Моделя. Тот помрачнел и резко отвернулся. Он не выносил напоминаний об операции «Цитадель», где он со своими армиями 9-й и 2-й танковой потерпел такой постыдный крах.

АНГЕЛЫ НЕ ЛГУТ

— О чем задумался, старик? — крикнул совсем молодой солдат.

Они грелись у бездымного костра. Рядом сидел его брат-близнец, совершенно неотличимый от него, такой же розовощекий, с такими же белыми ресницами. Их различали только по тому, что у одного был небольшой шрам над левой бровью.

Тот, кого называли стариком, молчал. Это был новобранец из фольксштурмистов. Он поднял лицо, иссечен-

ное морщинами настолько глубокими, что туда с трудом проникала бритва и они заросли седоватой щетиной. Его мобилизовали совсем недавно, и из его слезящихся глаз еще не выпарилось удивление. Он дышал на пальцы, стараясь их согреть. Под каской он повязал шарф на манер подшлемника. Это не полагалось, но в густом морозном тумане обер-фельдфебель не заметит. Фольксштурмист посмотрел на близнецов и сказал:

— О чем я думаю? Да все о том же... Никак не могу понять: грешники мы или праведники, черт бы нас побрал!

Близнец со шрамом предостерегающе приложил палец ко рту, но было поздно. Лейтенант из роты пропаганды, развешивавший на дереве плакат «Каждый немецкий солдат делает внешнюю политику!», тронул фольксштурмиста за плечо. Тот вскочил. Нижняя губа его отвисла. К ней приклеилась потухшая сигарета.

— Так ты не знаешь, кто ты такой? — спросил лейтенант. — Я тоже не знаю, кто ты такой. От тебя дурной запах. Не немецкий.

У лейтенанта подергивалась щека. Видимо, он страдал тиком. Близнец — тот, что со шрамом, — тотчас начал бессознательно подражать ему. Другой близнец подвинулся и собой прикрыл брата от лейтенанта.

— Господин лейтенант, у меня есть расовый паспорт.

Старик дрожащей рукой вытащил из кармана изрядно потрепанный паспорт. На его обложке значилось: «Только для людей немецкой крови. Обладание паспортом не разрешено людям смешанной крови. Издание НСДАП. Мюнхен».

Лейтенант полистал паспорт, вернул его фольксштурмисту, что-то проворчал и принялся прибивать под первым плакатом второй, с надписью: «Верить! Сражаться! Повиноваться!» Солдаты молча наблюдали. Когда лейтенант отдалился, старый фольксштурмист сказал:

— Я продрог. Сыро... Пойду за кипятком.

— Сиди, — сказал близнец со шрамом. И обратившись к брату: — Гельмут, принеси кипятку.

Гельмут послушно поднялся.

— Хорошо, Хорст, — сказал он и скрылся в гущине леса.

Рослый солдат, дремавший, прислонившись к дереву, вдруг очнулся и спросил, подмигнув:

— Он младший?

— Не в том дело, — сказал Хорст. Он коснулся пальцем шрама над бровью: — Это его работа.

— Ну? — заинтересовался рослый. Он толкнул своего соседа, тоже дремавшего рядом: — Слышишь, Иоганн? Библейская история: Авель и Каин.

И он захохотал во все горло. Когда он смолк, из лесного мрака донеслось эхо его хохота. Иоганн потянулся, встал — ладный паренек небольшого танкистского росточка, в танковые части подбирали невысоких. Сказал, зевнув:

— Кастетом двинул?

— Футбол, — сказал Хорст, оглядывая всех невинными голубыми глазами. — Еще в детстве. Заехал бутсом. Мог глаз вышибить. Вот и казнится всю жизнь.

— Никак не могу проснуться, — сказал рослый солдат, зевая. Он стал стаскивать с себя шинель, потом китель, потом рубаху.

— Вилли, ты совсем одурел! — сказал Иоганн.

— Это не так глупо, воспаление легких ему обеспечено, — сказал фольксштурмист, понимающе улыбаясь.

— Что за радость? — не понял Хорст.

— Ловчится в госпиталь, — пояснил фольксштурмист.

— Ты там помалкивай, старое чучело! — отозвался Вилли. Он принялся растирать снегом свой безволосый торс. — Я этому научился в России, — говорил он, — от одного старичка, крестьянина, славный такой, просто жалко было его кончать.

— А зачем? — удивился Хорст.

— Ну а что поделаешь, — сказал Вилли, хлопывая ладошками свое покрасневшее тело. — Мы угоняли русских в Германию. Старик захромал, задерживал колонну. Пришлось истратить на него пулю. Он ничего, только перекрестился перед тем, как я сделал ему *genickschuss*¹. Смирный... Так вот он надоумил меня растираться снегом. Это очень здорово.

Он стал натягивать на себя рубаху.

— Ты что, бреешь тело? — спросил Иоганн.

— Пошел ты! Я от природы такой гладкий.

— Может, ты баба? — ехидно сказал Иоганн.

Вилли расстегнул ширинку:

¹ Выстрел в затылок (нем.).

— А это у бабы есть?

Все помирали со смеху. Только на тоскливом лице фольксштурмиста появилась гримаса отвращения.

— А ты, старик, чего морду воротишь! Да сними шарф с каски, он тебе не к лицу.

— Ах, что мне теперь к лицу... — пробормотал фольксштурмист.

— Как что? Сазан! — крикнул Вилли.

Хохоча, он ушел с Иоганном, пообещав принести колбасу для всех.

Старик вздохнул:

— Когда-то наша армия была что надо... Никто не мог противостоять ей. Францию смяли в несколько дней. В общем, вся Европа наклала в штаны. Да, так это было...

— Почему «было»? — искренне удивился Хорст.

— Потому, мой дорогой сосунок, что германская армия выродилась. — Он приподнял край шарфа и тронул седой висок: — Дошли до того, что стариков забривают. Ну, скажем, я еще смогу опереть ствол о бруствер и пухнуть в американцев. А что толку, я тебя спрашиваю?

Он выкатил на Хорста слезящиеся глаза.

Хорст не знал, что ответить. Он поискал взглядом брата. Но того не было. Старик ему нравился. Несмотря на его смешную и жалкую неприглядность, в нем было что-то умное и добродушное. Хорст сказал неуверенно:

— Фюреру нужны Арденны. Мы ему их доставим.

Старик махнул рукой:

— Он импровизатор, наш фюрер. Ты можешь это понять? Он тычется то в одну сторону, то в другую. Давит маленькие государства. Велика ли честь победить Данию или Норвегию?

— А Россию?

— Так ты же видишь, что его турнули из России. Вломился туда врасплох, как ночью к спящим. А когда русские очнулись, он вылетел, как пробка из бутылки шампанского. И с Францией та же история. И с Африкой. На кой черт она ему понадобилась! Теперь он опять прет на Францию. И опять получит по зубам. Только это будет для него конец... Но что с тобой? Ты плачешь, мальчик?

Хорст утер глаза.

— Нет, ничего... Я не имею против тебя зла, отец, ты говоришь от сердца. Но это немыслимо! Фюреру дано ви-

деть, чего не видим мы, простые люди. Не надо рассуждать. Надо идти за ним — и мы придем к цели.

Фольксштурмист посмотрел на Хорста с сожалением:

— Было время, и я так думал. Но с годами я убедился, что, когда человек приобретает власть, он становится другим. Да, да! Я, между прочим, давно подозревал, что Гитлер — это между нами, конечно, — носил в себе семена ненормальности и раньше. А захватив власть, он раздулся в деспота. Но я тебе говорю, малыш, я убежден: деспотическое в нем жило с детства. И не возвысья он, а останься рядовым человеком, как мы с тобой, он угнетал бы членов своей семьи, или солдат своего взвода, или подручных в своей лавчонке. Такой человек всегда находит наслаждение в унижении подвластных ему. Ты хочешь знать мое мнение? Я уверен, что во всяком честолюбии есть зародыш безумия. Приглядишься к нашим золотым фазанам — и ты увидишь. . .

Внезапно он замолчал и растерянно уставился во что-то за спиной Хорста. Хорст оглянулся. Под деревом стоял лейтенант из Propaganda Abteilung¹. Он сказал:

— Ну что ж ты замолчал? Говори! «Приглядишься к нашим золотым фазанам — и ты увидишь. . .» Что увидишь?

— Нет. . . Я вовсе не думал. . . Вы меня не поняли. . . я. . .

— Марш со мной!

Фольксштурмист шагнул, но лейтенант остановил его:

— Нет, не ты. — Он кивнул Хорсту: — Ты!

Когда Гельмут вернулся с бидоном кипятка, он застал у костра одного фольксштурмиста.

— Где брат?

— Его увел этот, из пропаганды.

— Что-нибудь случилось?

— Не с ним. Со мной.

— Не понимаю.

— Черт меня дернул за язык. . . В общем, понимаешь, я разоткровенничался в разговоре с твоим братом. Ничего особенного. В тылу все чешут языки. В своей компании, конечно. Эта паскуда из отряда пропаганды неслыш-

¹ Отряд пропаганды (нем.).

но подкрался. Но, очевидно, под самый конец нашего разговора... Но я уверен, твой братишка не подведет меня? Он такой славный, такой чистый...

— Мой брат ангел! Понимаешь?

— Ну да, я же говорю.

— Ты ничего не понимаешь: ангелы не лгут...

Через несколько часов 5-я армия перебазировалась. На извилистых арденских дорогах трудно было определить направление. Но солдаты догадывались, что их передвигают поближе к исходным рубежам предстоящего наступления. Уже было светло, когда передовые части достигли опушки леса. Здесь танки остановились, чтобы пропустить конную артиллерию. Копыта коней были окутаны соломой. Запрещено было разговаривать. Американские дозоры стояли недалеко, за грядой ближайших гор. Их иззубренные вершины четко вырисовывались на бледнеющем небе. Все же солдаты шепотком оживленно переговаривались и глазели на какое-то сооружение на самой опушке у выхода в узкое пологое дефиле. К этому месту медленно, на малых оборотах мотора приближался танк, на броне которого сидели близнецы. Гельмут схватил Хорста за руку и крикнул, пересиливая грохот танка:

— Не смотри туда! Отвернись!

Он обнял Хорста за плечи и с силой повернул его. Хорст повиновался. Почувствовав, что объятия Гельмута ослабели, он чуть повернулся и посмотрел...

Это была виселица. Даже шарфа не сняли с головы старого фольксштурмиста — видно, спешили. К груди его был прикреплен плакат с надписью «Он обманывал фюрера». Старик тихо покачивался под утренним ветерком. Гельмут со страхом смотрел на брата. Шрам над его бровью набух и покраснел, словно налился кровью.

ЧИСТОКРОВНЫЕ

Фельдмаршал Вальтер фон Модель был человек долга. Поэтому из 5-й танковой армии он отправился для инспекторского смотра в 6-ю танковую армию СС, сколь ни неприятно ему это было. Дело не только в том, что он

терпеть не мог командующего армией оберстгруппенфюрера (а в переводе с эсэсовского на обычный немецкий — генерал-полковника) Иозефа Дитриха, да, именно Иозефа, а не Зеппа, как его звали в те времена, когда он был коридорным в мебелирашках последнего разряда и мечтал о карьере мясника. «Ну так что? — уговаривал себя фельдмаршал. — Это еще не причина презирать его. Мюрат, прославленный наполеоновский маршал и даже впоследствии король неаполитанский, тоже был, кажется, чем-то вроде сына кабатчика. . .»

Но дело еще и в том — и, может быть, это главное, — что Модель в глубине души считал ошибкой сведение всех танковых частей СС в одну армию. Она ему казалась непрофессиональной в военном отношении, просто довольно беспорядочное скопище разудалых парней, нечто вроде партизанщины навыворот. Разумеется, он не говорил этого вслух и лгал даже самому себе, уверяя, что идея Гитлера великолепна. Он знал, что фюрер жаждет увидеть превосходство эсэсовских частей над регулярными войсками. Отчасти поэтому он и расположил рядом с армией Мантейфеля армию Дитриха, да еще поручил ей главную роль в предстоящем наступлении.

Это и беспокоило Моделя. Штаб 6-й армии СС производил любительское впечатление. Притом он держался подчеркнуто самостоятельно, даже заносчиво. И это могло неблагоприятно повлиять на взаимодействие с соседней 5-й армией.

Фельдмаршал подавил в себе все личное и настроился исключительно на деловой лад, когда к нему стал приближаться, бодро переваливаясь на кривоватых ногах, помахивая короткими ручками, бочковатый, с фюрерскими усиками на смуглом широконосом лице оберстгруппенфюрер Зепп Дитрих. Ни рыцарский крест с дубовыми листьями, ни блеск всевозможных эмблем, значков и нашивок на ладно скроенном кителе не могли скрыть, на взгляд Моделя, поразительного сходства Дитриха с полупьяным барменом в захолустном трактире.

Он не рапортовал фельдмаршалу, такие мелочи считались излишними в частях СС. Он просто протянул руку и, приветствуя, засмеялся хрипловатым скачущим смехом.

Накануне Модель распорядился, чтобы разведуправление вверенной ему группы армий «Б» представило биографические данные о Дитрихе, и теперь он знал, что во время первой мировой войны Дитрих дослужился до чина фельдфебеля, с приходом Гитлера к власти был командиром лейб-штандарт дивизии СС (ах, как тешило фюрера это «лейб-штандарт»!), участвовал в присоединении Австрии — это считалось его боевой заслугой, хотя ни единого выстрела там не было сделано. Выстрелы звучали в другом случае: когда Зепп Дитрих во время «ночи длинных ножей» 30 июня тридцать четвертого года расстреливал по воле Гитлера своих партийных товарищей. Дитрих подавал команду «огонь!», прибавляя скороговоркой: «Так требует фюрер!» Характеристика, представленная управлением разведки, добавляла, что оберстгруппенфюрер Зепп Дитрих по личным качествам храбрый генерал, но в танковой стратегии невежда, тщеславен и неумеренно болтлив, недалек и склонен к особой форме любви.

Фельдмаршал осведомился, какова предполагаемая диспозиция частей в день наступления.

— Мы опрокинем эту дерьмовую Четвертую американскую армию и ее потроха выметем за Маас! — воскликнул Дитрих.

Модель поморщился. Дитрих грубо копировал фюрера, его манеру выражаться. Если бы захотеть составить словарь языка Гитлера, то, вероятно, выяснилось бы, что самые излюбленные изречения его, с одной стороны, «судьба», «величие», «раса», а с другой — «слинявый», «сопливый», «заблеванный», «вонючий» и тому подобные словечки, удержавшиеся с того времени, когда он в чине ефрейтора был вестовым при штабе Баварского полка. Сейчас он применял их не только к людям, но и к целым странам.

Модель не смел даже в душе осуждать Гитлера. Сам фельдмаршал был склонен к возвышенному слогу, в какой он облакал свои приказы и обращения к солдатам. Его идеалом были знаменитые слова Наполеона, сказанные им в Египте у подножия пирамид: «Солдаты! На вас смотрят сорок веков!» Подсознательно он находил в себе что-то общее с императором французов, даже свой малый рост.

В сущности, Модель был не столько полководцем,

сколько организатором, быстрым, толковым, распорядительным. И так как военное искусство есть по преимуществу искусство организации, то Модель преуспевал там, где, как, например, под Арнемом, ему удалось быстро и умело собрать из разных мелких резервных частей боеспособную силу и противопоставить ее неточным, разрозненным, попросту неумным действиям Монтгомери.

Но есть высшее, подлинное военное искусство, включающее в себя и искусство организации, но неизмеримо поднимающееся над ним, гениальная способность распоряжения большими войсковыми массами и крупными средствами боя — искусство большой стратегии. Им Модель не обладал. И, встречаясь с такой стратегией противника, неизменно терпел поражения.

Сейчас Модель предложил более точно определить участок предстоящего наступления. Дитрих, явно сучая, буркнул:

— Это не мое дело. Это по части Крамера.

Начальник штаба армии Крамер, долговязый мрачный генерал СС, сказал неохотно:

— Наша боевая задача простая: Маас. На фланги нам наплевать. В сороковом году, когда мы брали Францию и перли через эти самые Арденны, мы тоже плевали на фланги и победили. — И прежде чем Модель успел что-нибудь сказать, он поспешно добавил: — У нас личное распоряжение фюрера.

На это трудно было что-нибудь возразить. Модель знал, что Гитлер действительно настаивал на непрерывном движении вперед, пренебрегая флангами. Новостью для фельдмаршала было другое: оказывается, Гитлер непосредственно руководит эсэсовской армией, минуя командование группы армий «Б», то есть не считаясь и не интересуясь его, фельдмаршала Моделя, распоряжениями.

Дитрих поблескивал хитрыми веселыми глазами, явно наслаждаясь унижением фельдмаршала. Он прохрипел, как бы желая выручить Моделя из неловкого положения, но этим презрительным великодушием еще больше его унижая:

— Нам нужен лозунг, Модель. Дайте нам лозунг!

— На Антверпен! — бросил Модель.

— Можете считать, что Антверпен у меня в кармане, — ответил Дитрих со своим обычным хохотком.

Фельдмаршала продолжала мучить мысль: а что, если личные распоряжения Гитлера эсэсовской армии расходятся с общим планом наступления? Ведь это грозит таким крахом... Мысль эта ужаснула Модель. Он сделал усилие, чтобы не выдать волнения и сохранить на лице бесстрашие. Как узнать? На прямой вопрос нечего ждать откровенного ответа. Надо схитрить, предпринять глубокий обход. Преодолевая брезгливость, Модель взял Дитриха под руку и сказал дружеским тоном:

— Лишь бы только удержалась нелетная погода, а тогда...

— Плевали мы на погоду!

— Ну, — сдерживая себя, сказал Модель, — вы же знаете, что американские истребители-бомбардировщики бронестойкими сорокамиллиметровыми снарядами подбивают наши танки.

— Вранье! — заорал Дитрих. — Бабы сплетни! Эти вшивые американцы умеют делать только лезвия для бритв да холодильники! Шестнадцатого мы выступаем, семнадцатого мы будем в Сен-Вите. — Он повернулся к подошедшему молодому офицеру: — Не так ли, Вайнерт? Вот он пойдет в авангарде. Я тебе дам, Теодор, тысячу отборных парней.

Модель облегченно вздохнул. Если только Дитрих не врет, это направление удара не расходится с общим оперативным планом.

Вайнерт, красивый, рослый обер-лейтенант, перетянутый поясом по узкой талии, стоял спиной к Моделю, не обращая на него никакого внимания. Формально он имел на это право, поскольку на плаще фельдмаршала не было знаков различия. Однако трудно было предположить, что он не знает в лицо командующего группой армий.

Дитрих крикнул притворно строгим голосом:

— Оберштурмфюрер Вайнерт, вы что, не видите, кто стоит сзади?

Вайнерт огрызнулся с видом всемогущего фаворита:

— У меня сзади нет глаз.

— Зато у тебя есть сзади кое-что получше, — захохотал Дитрих и хлопнул оберштурмфюрера пониже спины.

Модель уже слышал, что в тесном кружке Зеппа Дитриха шлепок по заду был обычным приветствием, он также понял, что этот красивый оберштурмфюрер, очевидно, очередной «молодой друг» Дитриха. Модель только не предполагал, что этими протiwоестественными связями так открыто похваляются, как если бы статья сто семьдесят пятая, карающая за половые извращения, значилась в фашистском уголовном кодексе просто для приличия.

Вайнерт повернулся и откозырял.

— Бравый офицер, а? — сказал Дитрих. И прибавил: — У офицеров моей армии чистая немецкая кровь документирована с тысяча семисотого года.

Фельдмаршал понимающе кивнул и спросил:

— Как у вас обстоит дело с горячим?

Дитрих разразился ругательствами в стиле ефрейторского словаря фюрера:

— Эти занюханные собачьи свиньи в ставке пересекретничали! Из-за хреновой военной тайны горячее заброшено к чертям восточнее Рейна!

Генерал Крамер добавил:

— Мы получили только тридцать процентов от требуемой нормы.

Дитрих вдруг хитро улыбнулся:

— Но я подкатился к этому старому чучелу Кейтелю. Недаром его называют начальником имперской бензоколонки. И я у него выклянчил еще немножко. В общем, до американских складов хватит.

Модель отогнул рукав и, приставив к глазу монокль, посмотрел на часы.

— Уезжаете? — спросил Дитрих, неприязненно покосившись на монокль, который почему-то раздражал его. Но, вспомнив, что он, как хозяин этой армии, приневолен к гостеприимству, сказал с деланным радушием: — Может, хотите послушать наш зингерферейн? У нас тут такие певцы!

Модель вежливо отказался, сославшись на необходимость побывать на южном участке фронта, в 7-й полевой армии.

— Передайте мой привет старику Бранденбергеру. Они там запаршивели от бездействия. Ничего, скоро мы расшевелим всех вас!

Модель проглотил и это «вас».

ТЕОРЕМА ГЕДЕЛЯ

Воскресенье всякий, кто мог вырваться из Арденн, проводил обычно денек, а уж ночь-то во всяком случае, в Париже. Изобретали разные предлоги, кланчили увольнительные записки, а то и просто сматывались в самовольную отлучку, надеясь проскользнуть незаметно мимо всевидящих очей ребят с буквами Эм-Пи на белом шлеме. А! Что там! В конце концов, за самоволку в Париж стоит. . . Если Париж стоит обедни, так уж наверняка он стоит суток на губе.

Разумеется, для генерала Омара Н. Брэдли эта проблема не существовала. Иногда он прихватывал и субботу. В Париже всегда найдется дело: в Версальском дворце, этом, как его прозвали, последнем бомбоубежище Европы, — верховный штаб экспедиционных сил союзников.

Длинный, тощий, неразговорчивый, целыми днями шагал Омар Брэдли по апартаментам люкс в «Альфе», лучшем отеле в Люксембурге. Иногда ему хотелось, чтобы немцы ринулись в контрнаступление. «Пусть они наконец вылезут из своей арденнской норы!» Он уподоблял себя дорогостоящей машине, которая простаивает. Порой он прибавлял: «И ржавеет».

Вызвав к себе полковника О'Хейра, помощника начальника штаба по личному составу, генерал сказал своим тихим монотонным голосом, поправляя очки в простой стальной оправе:

— Джозеф, я думаю, вам надо смотаться к Айку в Шеллбёрст по вопросу о пополнениях. Внушите ему наконец, черт возьми, что у нас здесь просто скандальная нехватка в живой силе.

Даже в разговоре со своими сотрудниками генерал Брэдли называл Версаль, просто чтобы не растренироваться, кодовой кличкой Шеллбёрст (что означает «разрыв снаряда»).

О'Хейр, массивный рыжий ирландец, в прошлом тренер футбольной команды, понимающе кивнул. Повинуясь приглашению генерала, он бережно опустил в хрупкое креслице грузное тело, словно литое. . . да нет, какое-то шишковатое, не литое, а скорее сколоченное из неровных стальных чурок, но так, что не разомкнешь. Он придал своему лицу озабоченное выражение, думая в

то же время, что неплохо будет в Париже хоть немного отмякнуть от арденнской зимней оцепенелости. Тем более с его отличным знанием французского языка вплоть до жаргонных словечек. Не говоря о других развлечениях, которые нетрудно доставить себе даже в военном Париже, там, на площади Этуаль, под Триумфальной аркой, у самой могилы Неизвестного солдата первой мировой войны, а то рядом, под деревьями Елисейских полей, у спекулянтов, среди которых, к сожалению, попадаются и американские солдаты, можно раздобыть сигареты «Честерфильд» и «Кэмел», притом не пачку, а целый ящик, а также джин и виски и даже канистру розового «нелегального» бензина.

Но, помимо всего, этой поездки действительно требуется дело.

Наморщив по-деловому лоб, О'Хейр сказал:

— Собственно, Эйзенхауэр не хуже нас с вами знает, что роты не укомплектованы почти наполовину. Страшно подумать, что будет весной, когда начнутся бои, если мы не используем зимнее затишье. Но вы же знаете, генерал, в Вашингтоне гонят пополнения Макартуру на Тихий океан, хотя даже последнему дебилу ясно, что судьба войны должна решиться в Берлине, а не в Токио.

— Вот все это вы еще раз и вывалите Айку. Надо долбить в это место. Возможно, он пошлет вас с докладом в Вашингтон. — Заметив, что О'Хейр мнетя, генерал спросил: — Что-нибудь еще?

— Прошу прощения, генерал, но я думаю, что, если бы вы лично согласились вместе со мной смотаться в Верс... простите, в Шеллбёрст, шансы на успех значительно возросли бы.

Генерал Омар Н. Брэдли задумчиво потер свое продолговатое большеносое лицо и согласился.

На следующее утро генеральский «кадиллак» был подан к подъезду «Альфы». Брэдли сел сзади, с удовольствием ощущая тепло, исходящее от четырехугольных грелок, поставленных за сиденьем. Две вещи, как всегда, были при нем, ибо постоянство было его религией. Под мышкой небольшой томик вальтер-скоттовского «Айвенго», который он не уставал перечитывать. На бедре в солдатской кобуре колыт одиннадцатимиллиметрового калибра, старомодная громадная пушка, которую генерал нацепил на себя впервые тридцать лет назад,

когда был произведен в лейтенанты. Он питал нежную привязанность к этому кургузому пистолету, хотя вряд ли стрелял из него где-нибудь, кроме тира. Эти два признака свидетельствуют, что этот суровый и даже мрачный человек не был лишен некоторой душевной чувствительности.

О'Хейр втиснулся рядом с Брэдли, а генеральский адъютант капитан Честер Хенсон сел впереди. Из бокового кармана его шинели торчала свернутая в трубку довольно толстая тетрадка — это был дневник, с которым Хенсон не расставался ни на минуту.

Второй адъютант капитан Брегдон тоскливо смотрел вслед уезжающей машине.

Генерал безмятежно поглядывал по сторонам, ворочая седоватой, коротко, по-солдатски, остриженной головой, пока «кадиллак», мягко урча, катил по бульвару Свободы (еще недавно он назывался Адольф Гитлер бульвар), потом по длинному мосту, вознесшемуся над городом на высоких арках, наконец вырвался на обледенелое шоссе и, сбросив скорость, иногда буксуя, почти полз меж буковых лесов, амфитеатром всходивших на горы. А туман все густел, и Брэдли пожалел, что в этом молоке, разлитом в воздухе, плохо различим маленький старинный Динан, стоявший под горой над Маасом и всегда восхищавший генерала. Вздохнув, он раскрыл наугад толстенный томик «Айвенго». Это оказалась двадцать третья страница, конечно потому, что ее часто раскрывали, и генерал с удовольствием — в который раз! — прочел характеристику славного Седрика-Саксонца, который был его идеалом и которому он, возможно, бессознательно подражал: «Казалось по выражению его, что он человек прямой, но резкий, темпераментный и вспыльчивый».

Туман слегка рассеялся, и стало видно, что они едут по узкой улице, прилепившейся к серой отвесной скале. Дома смутно отражались на льду Мааса. Мелькнула красная кирпичная ратуша, потом памятник жертвам первой мировой войны, запорошенный снегом, потом какая-то башня, похожая на шахматную ладью.

Хлопотун О'Хейр что-то бубнил насчет внеочередных пополнений, которые должны будут возместить предполагаемые потери во время предстоящего весеннего наступления американских войск. Но Брэдли почти не слу-

шал, он не хотел терять ровного доброго настроения и отгородился от ужасающих мыслей о потерях, которые когда-то еще будут.

В этот самый день, 16 декабря, но на несколько часов раньше, а именно в пять часов пятнадцать минут утра, стало быть еще до рассвета, немцы ринулись в наступление на всех участках Арденнского фронта.

Гром артподготовки, конечно, не достигал «кадиллака» генерала Брэдли, уже миновавшего Намюр. Но, многократно повторенный горным эхо, он докатился до местечка Бар и разбудил первого лейтенанта Томаса А. Конвея. Вскоре гром затих, артподготовка была короткой, но первый лейтенант уже не мог уснуть, а гром приписал обвалу в горах. Повертевшись в постели, он в конце концов встал, умылся и вышел из дому.

Он с удовольствием вдохнул воздух, хоть и увлажненный туманом, а все же свежий и бодрящий. Подойдя к опушке леса, он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов по системе йогов. Потом протоптанной тропинкой пошел в лес. Улетучивалась досада на раннее пробуждение, лес, как всегда, успокаивал. «Почему лес, такой разрозненный, многообразный, — думалось Конвею, по мере того как он углублялся в чащу, — кажется единым существом? Как и море, кстати говоря. Ведь мы знаем, что в нем идет борьба, что он населен враждующими друг с другом жизнями. И все же мы воспринимаем лес как нечто единое, цельное. Не происходит ли это от врожденной потребности человека объединять, интегрировать? Искусству расчленять, анализировать, дифференцировать мы научаемся. А способность синтеза в нас заложена. Поэтому дети такие талантливые художники...»

Мысли эти понравились Конвею, он счел их значительными и решил записать в дневник. Туман несколько рассеялся. Стало светлее. Лес переменился. Конвею показалось, что больше всего оживились сосны. Они задвигались, зашумели, просияли, как девушки под взглядами мужчин. А темные, угрюмые ели остались верны своей мрачности.

И эти наблюдения Конвей не без некоторого самодовольства решил занести в дневник. В умиротворенном,

каком-то благостном настроении он вернулся домой. По лени своей за дневник он не взялся. Тем более что на столе лежала начатая листовка, заказанная Конвейем управлением информации и просвещения 8-го корпуса 1-й армии еще две недели назад. Ему уже трижды напоминали о ней. Написана была покуда только одна начальная фраза: «Солдат! Государство израсходовало на тебя 30 тысяч долларов».

Вздыхнув, Конвей сел за стол и принялся писать: «Солдат! Ты должен возместить этот расход, а возместить можно уничтожением тех, на кого тебя направят...»

В это же примерно время по ту сторону фронта оберштурмбанфюрер Отто Скорцени, взгромоздившись на крышу «джипа» и пригибая туго натянутый тент своими слоновьими ногами в коротких сапогах, рывкал в ружье столпившимся вокруг него диверсантам, переодетым в английскую, а главным образом в американскую форму:

— Солдаты! Сейчас мы ворвемся в расположения противника! Они не подозревают об этом, они спят. Помните, что каждый из вас должен стать постоянно действующей машиной разрушения!

Действительно, спали все. Спал генерал Кортни Ходжес, командующий 1-й армией, накрывшись одеялом поверх головы. Спал, зарывшись в подушки, командующий 8-м корпусом генерал-майор Трой Миддлтон. Спали командиры дивизий, полков, рот, взводов и отделений. Спали семьдесят пять тысяч американских солдат от Эстернаха до Моншау. Спал набитый штабами городок Спа под журчанье подземных источников и отдаленный гул канонады, доходившей сюда нежащим мурлыканьем.

А почему бы, собственно, не спать в такой ранний предрассветный час? Плохо другое: спали редкие дозоры, рассеянные по неровной линии переднего края.

Один из дозоров был выставлен 4-й пехотной дивизией. Именно в нее был определен первый лейтенант Лайонел Осборн. Офицеров во всем 8-м корпусе не хватало, и его сразу же послали в дозор. Настроение у него было препаршивое. Во-первых, ломило голову. Накануне он малость перебрал в компании ребят из штаба полка. Во-вторых, ему дали в дозор смехотворно мало

солдат — семь человек, тогда как полагался полувзвод, то есть двадцать человек. Другой вопрос: а где их было взять в этой чертовски неукomплектованной и вообще разболтанной дивизии?

Осборн хмуро оглядел свою команду. Хорошо хоть сержант из ветеранов, да какой-то кислый, сразу же начал жаловаться на боль в ногах.

— Всегда мокрые носки, — говорил он Осборну доверительным тоном. — Я, наверно, схватил ревматизм. В Двадцать восьмой дивизии хороший хозяин, он завел специальные сушилки для носков. А в нашей Четвертой... — Сержант безнадежно махнул рукой.

Высокий очкарик тащил на плече легкий пулемет «томми». Стекла его очков были очень толстые. Он старался держаться поближе к Осборну. «Бойтся, что ли?» — подумал тот с некоторой брезгливостью. Впереди два солдата быстро, почти бегом несли базуку, длинное противотанковое реактивное ружье, — один за нос, другой за хвост. Тот, кто был у хвоста, обернулся и крикнул:

— Сержант, скажи спасибо, что ты не сороконожка!

Другой, что был у носа базуки, молодой негр, оглушительно захохотал.

— Потише, сынок, — сказал Осборн, поморщившись. — Мофы где-то рядом.

Он еще не привык к этому спокойному фронту, и ему чудился притаившийся противник за каждым пригорком. Высокий очкарик, оказавшийся обладателем густого баса, прогудел над ухом Осборна:

— Взгляните на эти горы — первозданная природа! Только духи здесь могут пройти.

Осборн покосился на очкарика. «Интеллектуал», — подумал он с презрением, огладил свои стреловидные усики и ничего не ответил.

Второй лейтенант, сдававший пост, тоже был явно из резервистов.

— Сдаю вам горный хребет Шне-Эйфель и предстоящую морозную ночь, — сказал он, смеясь всем своим мясистым лицом.

Убежище было вырублено в горе — глубокая полутемная пещера. Дневной свет проникал через дверное отверстие. Однако там был электрический свет, провод был протянут из Эльзенбарна. Вдоль стен стояли койки.

Уголь лежал снаружи — большой холм, запорошенный снегом. Осборн проворчал, что это непорядок. Но сержант успокоил его:

— Угля это полезно, он лучше разгорается.

Действительно, пузатая железная печь вскоре раскалилась докрасна, и стало почти уютно. Свободные от нарядов солдаты сели вокруг печи. Один из них, тот самый шутник, который сострил насчет сороконожки, приблизил к Осборну лицо и каким-то интимным, почти заговорщицеским тоном сказал:

— Ребята говорили, что тут, в горах, есть незамерзающая речушка, к ней кабаны ходят на водопой.

Осборн искоса посмотрел на него и спросил:

— Тебя как звать, сынок?

— Ричард Тибсон. Так вот, нет нежнее мяса, чем кабанчик, запеченный на костре в собственном жиру.

Осборн сказал довольно добродушно:

— А еще лучше камбала, фаршированная артишоками, под соусом из шампиньонов. — И прибавил устало: — Вот что, Дик, ты эти бредни насчет кабанов оставь. Я запрещаю отлучаться хотя бы на минуту.

Дик посмотрел на первого лейтенанта с горьким сожалением. Видимо, он искал в своем запасе остроумия что-нибудь такое, что могло бы сразить Осборна наповал. Но, так и не найдя, вздохнул и завалился спать. Осборн позавидовал ему. Головная боль по-прежнему торчала в черепе. Он кликнул сержанта и вышел наружу.

Морозный колючий туман. Солнце, чуть завернутое в тучи, упало где-то за спиной. Скучный свет лежал на безжизненных скалах. Осборн снял каску и вязаный подшлемник. Холод охватил голову. Ему показалось, что мучительный молоток в голове стал стучать реже. Какие странные горы! Вот эта, например, похожа на гигантского коленопреклоненного ангела, даже крылья мерещатся за его спиной. А вот та, с шарообразной вершиной, — ну вылитая старая баба в халате. А вот эта нависла над дорогой — не дорога, скорей тропка, она вьется далеко вниз, пропадает между гор и снова взвигается вверх. В сущности, дозор охраняет выход из этого дефиле. От него идет арочный мост. Пожалуй, по нему — Осборн на глазок прикинул — танки могли бы двигаться даже по двое в ряду. Конечно, средние.

— Сержант!

— Слушаю, первый лейтенант.

— Мост заминирован?

Сержант удивился:

— А зачем? Наступать-то будем мы. И то весной. — Помолчав, он прибавил: — Посты расставлены. С вашего разрешения, я прилягу.

Щелкнув каблуками, он удалился.

Осборн подумал, что здесь и вправду можно отдохнуть. Как бывают на шумных столичных перекрестках «островки спасения», где пешеход может спокойно постоять, дожидаясь зеленого света, так этот арденнский участок фронта — тоже какой-то «островок спасения» посреди горящего мира.

Он почувствовал, что кто-то стал рядом. Ах, это все тот же очкарик!

— Тебя зовут, кажется, Коллинз?

— Зовите меня просто Майкл.

— Славно здесь, правда, Майкл?

— Как сказать...

— Ну и придира ты! Чего тебе тут недостает?

— Звезд.

— Звезд? Так ведь звезды — это бомбежки. Благословляй это низкое небо, этот туман. Ты студент?

— Да... А вы?

— Я музыкант.

Майкл посмотрел на Осборна с некоторым недоверием.

— Я первый раз в горах, — сказал Майкл. — И не предполагал, что здесь так спокойно и даже торжественно. Какой красивый мост! Он как будто летит над пропастью, правда? А эти горы похожи на хорал. Беззвучный хорал.

Сравнение понравилось Осборну. И даже польстило ему. Без сомнения, сказано во внимание к тому, что он музыкант. И совсем этому парню незачем знать, что он пикирует на контрабасе в кафешке на окраине Нью-Орлеана.

Вдруг Майкл схватил его за руку.

— Смотрите! Что это? Землетрясение?

Осборн засмеялся:

— Какой ты нервный! Это туман зашатался. Ветер! Ты давно в армии?

— Три месяца.

Осборн сочувственно посмотрел на Майкла — тощий, сутулый, с ненормально расширенными глазами, с узкими женственными запястьями рук.

— И как только тебя подмели в армию! Да еще в Европу, на фронт!

— Я настоял. Меня освобождали из-за глаз. Но я добился.

— Ну? Разинул рот на красивенькие плакаты, которые выпускают для дурачков? Или нарвался на патристическую бабу из Дамского комитета жен ветеранов? Среди них есть такие мастерицы охмурять, могут уговорить пастора пойти в мусорщики.

— Никто меня не уговаривал. Я ненавижу насилие. Фашизм — это религия насилия. Я хочу собственноручно свернуть шею фашизму! — И добавил смущенно, словно устыдившись своего возбужденного тона: — Или принять в этом участие.

— Филолог?

— Нет, математик.

— Так тебе прямая дорога в артиллерию. Подавай рапорт о перечислении. Все-таки у них там легче, чище, чем в нашей мусорной пехоте.

— Но артиллеристы дальше от противника. Можно провоевать в артиллерии всю войну и не увидеть ни одного живого немца. А я хочу сшибиться с ними грудь с грудью.

— Странный ты парень, Майкл. Ну иди выспись, через два часа тебе заступать на пост.

Сумерки в горах короткие. Сразу стало темно, словно кто-то повернул вселенский выключатель.

Майкл побрел в убежище, откинул полог. Оттуда на секунду вырвался свет, шмыгнул по краю обрыва, и снова стало темно. Осборн решил пойти проверить посты. Он пошарил на груди, ища подвесной фонарик. Фонарика не было, — видно, остался в мешке на койке. Он пошел к убежищу. Оттуда доносился тихий разговор. Осборн остановился послушать. Два голоса перебивали друг друга.

— Нет, ты толком скажи, зачем ты сунулся в это дерьмо?

Осборн узнал голос Дика.

Другой:

— Я тебе говорил: моя религия — антифашизм.

Это, конечно, Майкл.

— Нет, ты брось завирать, не крути, давай по-честному: какого черта ты припер на войну?

— Есть такая теорема Гёделя. В математической логике. Я попробую популярно изложить тебе ее.

— Иди ты со своей логикой знаешь куда! Я не такой олух, как ты думаешь!

— Значит, так. Есть такие неполные системы, аксиоматические, ну, бесспорные, что ли, их нельзя ни доказать, ни опровергнуть. И все же они истинные.

— Слушай, Майкл, а ты, знаешь, малость косолапый. У тебя носки внутри.

— Приходится прибегать к элементам, взятым извне, за пределами данной системы.

— А знаешь, почему ты так ходишь?

— Или просто верить в данную систему аксиоматически, не подпирая ее конструкцией аргументов. То, что я пошел на войну, одним может показаться глупым, а другим — святым делом. Ни обосновать, ни разбить этого нельзя. И все же не подлежит сомнению, что я прав, что пошел на войну.

— Объясню тебе, парень: у тебя задница не на месте, она у тебя подвешена слишком низко, будь я проклят!

Осборн не удержался от смеха. Он вошел в убежище. Дик разлегся на койке, а Майкл сидел рядом на корточках, долговязый ангел, и вместо крыльев помахивал длинными руками в слишком коротких рукавах. Осборн принялся шарить в своем мешке.

— Ищете что-нибудь, первый лейтенант? — спросил Дик.

— Да вот не найду своего фонарика.

— Черти утащили.

— Не валяй дурака, Дик.

— Нет, честное слово! Конечно, это делают бесенята. Взрослый, уважающий себя черт никогда не опустится до кражи мелких вещей.

Майкл смотрел на Дика с восхищением. Осборн улыбнулся. Хорошо, что в их команде есть такой разбитной малый. Это несколько скрасит дозорную тягомотину.

Так и не найдя фонарика, Осборн прилег на минутку, как он сказал себе, но незаметно для себя заснул крепчайшим сном.

Незадолго до рассвета Осборн вскочил: грохотали пушки. Он напялил каску и выбежал из убежища. Вслед за ним выбежал Майкл. Дул сильный пронзительный ветер. Спросонья Осборн забыл, что на дворе зима. Небо посветлело, мутно-серый свет стоял над горами. То, что Осборн увидел, так потрясло его, что он не перестал чувствовать холод. Внизу по дороге к мосту ползли танки. Они были покрашены белой краской. Но в свете прожектора, который сержант засветил на крыше убежища, проглядывали белые кресты на их броне. В ту же минуту выстрел разбил прожектор.

Осборн нырнул в убежище, накинул шинель и схватил гаранд, самозарядную винтовку, с которой он не расставался.

— Надо подорвать мост! — крикнул он.

Но тут же понял, что уже не успеть.

— Наши идут! — радостно вскричал сержант.

Обгоняя танки, по мосту двигался «джип», набитый ребятами в американской форме. Сержант побежал вниз, к ним навстречу.

Из «джипа» высочили двое и подошли к часовому. Это был негр. И тут Осборн с ужасом увидел, как один из прибывших американцев выстрелил негру в голову. Сержант остановился, не добежав до моста. Тотчас раздалась пулеметная очередь из «джипа». Сержант, вертясь, упал в пропасть.

— Что это? Измена? — крикнул Майкл.

— Скорей к телефону, надо предупредить.

Они вбежали в убежище. Осборн схватил телефонную трубку. Она была безжизненна. По-видимому, провод был перебит.

— Ну-ка давай отсюда быстро! — сказал Осборн. — Через несколько минут они будут здесь.

— Куда?

— В лес. А там посмотрим.

Они побежали в сторону от дороги. Танки грохотали уже совсем близко. Проваливаясь в снег, Осборн и Майкл забежали в глубокую лесистую расщелину.

— А, черт! — простонал Осборн.

— Вы ранены?

— У меня, видимо, открылась рана на ноге. И я остался там, в убежище, свой дневник.

— Я пойду за ним.

— Не смей! Черт с ним!

— Я перевяжу вам рану.

Майкл достал из нагрудного кармана индивидуальный пакет и прислушался.

— Вы слышите? Английская речь!

— Тише! Это диверсанты.

Осборн обнажил ногу. Его тряс озноб. А нога горела. Майкл забинтовал рану.

Вскоре голоса утихли, звуки моторов стали удаляться.

— Я выгляну, — сказал Майкл.

— Подожди.

Но Майкл, полусогнувшись, вышел из расщелины. Оставшись один, Осборн подумал: «Мальчишку подобьют». Он с трудом поднялся, чтобы пойти за Майклом, и скверно выругался, проклиная его. В это время тот вернулся.

— Они убрались, — сказал он.

— В какую сторону?

Майкл махнул рукой на запад.

— Боюсь спрашивать: как наши?

— Я никого не видел. Или убежали, или...

Он не закончил. Потом:

— Снизу идут танки. Много танков с пехотой на броне.

— Так... Все прокакали наши мудрецы...

— Я пойду.

— Куда?

— За вашим дневником.

— Сумасшедший!

— И за своей винтовкой. Не бойтесь. Я успею до их прихода.

И снова исчез.

Боль в ноге с такой силой пронзила Осборна, что он лишился сознания. Не совсем, наверно, потому что почувствовал, что ему суют в рот что-то холодное, зубы лязгнули о стекло, потом обжигающая жидкость пролилась в горло и глубже. Он открыл глаза.

— Улизнул из-под самого их носа, — сказал Майкл. — Они там все перевернули, почему-то пожгли, забрали наши винтовки... — Он опустил голову и прошептал: — Я видел труп Дика...

Грохот танков не прекращался.

— Очевидно, только мы двое уцелели, — сказал Осборн.

— Надо бы его похоронить...

Осборн пожал плечами и тут же застонал от боли в ноге.

— Вот ваш дневник, — сказал Майкл. Он протянул полуобожженную тетрадь. — Она тлела, я потушил ее снегом.

— Да ну его! Стоило из-за него рисковать.

— Стоило, — сказал Майкл. — Дневник — это самое драгоценное. Это летопись души.

— Слушай, ты не мог бы говорить не так красиво?

Майкл подумал. Потом сказал со вздохом:

— Нет, наверно, не мог бы.

Несмотря на тяжесть их положения, может быть даже безнадежность, Осборн усмехнулся — с такой наивной серьезностью это было сказано.

— Подождем, пока они уберутся, — сказал он.

— А потом?

— Попробуем пробраться к своим.

Они притаились в глубокой ложбинке, лежали на животках в снегу щека к щеке. Лежали долго. Танки шли и шли, и бронетранспортеры, набитые солдатами, и грузовики с понтонами, и бензовозы, и санитарные машины.

Осборн процедил сквозь зубы:

— Прямо просятся под бомбежку. Пара-другая «бонингов» разнесла бы все это вдребезг...

Но мрачное небо висит почти над головами. Сильно сказано? Ну, над вершинами гор, во всяком случае. Да что там! Краями бурых лохматых туч оно цепляется за верхушки деревьев, особенно на горизонте, когда он вдруг на мгновение становится виден в каком-нибудь просвете между горами, — внезапный порыв морозного ветра раздирает туман, и блеснет, как обещанье счастья, ослепительная, недостижимо далекая полоска голубого неба.

Только к середине дня стало тихо. Полузамерзшие Осборн и Майкл выкарабкались из своей ямы. Их шатало. Они принялись махать руками и хлопывать друг друга.

— Сильнее! — кричал Осборн. — Ты слишком нежно меня колошматишь!

— Я боюсь, вам будет больно.

— Ничего, моя рана задубела на морозе. Бей!

Поначалу они не решились идти по дороге, а пробивались по крутым лесистым склонам, держась за деревья и с трудом выдирая ноги из снега. Это было мучительно трудно, особенно для Осборна, и в конце концов, плюнув на опасность, они вышли на дорогу. Они тащились, то и дело оглядываясь. Но дорога была пуста: видно, вся немецкая сила укатила на запад.

Белизна ослепляла Майкла. Он пожаловался, что плохо видит. Осборн повел его за руку. А Майкл нес его гаранд.

— Значит, мы сейчас в немецком тылу? Да? — спросил Майкл.

— Выходит, так, — проворчал Осборн. Он посмотрел на Майкла. — Как ты несешь винтовку? В нее набьется снег. Неси ее дулом вниз.

Майкл послушно перевернул гаранд.

— Да, кстати, — сказал Осборн с насмешливым презрением, — что ж ты не сцепился с немцами? Ты же мечтал об этом.

Майкл молчал.

— Ты изменил своей религии — бороться с насилием. Ты вероотступник.

Он наслаждался растерянностью Майкла.

— А я тебе скажу: ты просто трус.

Майкл пробормотал:

— Знаете, я почему-то не почувствовал к ним ненависти. . .

Осборн посмотрел на него с возмущением.

К полудню они дошли до скрещения дорог. Снег был грязно изжеван гусеницами танков. Тучи по-прежнему шатались тяжело и низко. Но лес выглядел сказочно. Голые буки, низкорослые кривобокие березы превратились в красавиц: каждая ветка, каждый сучок оторочен хрустально белым кружевом. Майкл смотрел с восхищением на эту ювелирную работу морозного тумана. Осборн ее не замечал. У него ныла нога, он страшно устал, его мушкетерские усики намокли и повисли, на лице проступила жесткая щетина, кое-где с сединой. Кроме того, он очень хотел есть и от этого ослабел, но не признавался и старался не отставать от длинноногого Майкла.

Вдруг тот нагнулся и что-то поднял. Широкая деревянная стрела. Он стряхнул с нее снег. Оказалось, это дорожный указатель. На нем надпись: Бастонь.

— Мы, должно быть, совсем близко от наших, — сказал Майкл.

— Да, если их не выперли боши.

— Так, значит, нам надо пройти сквозь линию фронта?

— Да, но не это самое опасное.

— А что?

— Когда мы будем приближаться к своим, они с перепугу могут принять нас за бошей и подстрелить.

— То есть за переодетых диверсантов?

— Да.

Майкл пробормотал задумчиво:

— Я допускал, что меня убьют. . . Но чтоб это сделали свои же. . . Боже, как это глупо!

— А ты что, приехал ума набираться на войне? . .

Некоторое время части 6-й и 5-й танковых армий шли бок о бок, сметая слабые американские дозоры. Потом они веером разошлись: Зепп Дитрих — на северо-запад, он разинул пасть на Льеж и Антверпен; Мантейфель — на запад, стремясь заглотать Брюссель; 7-я полевая армия Бранденбергера перла на юго-запад, на Люксембург.

В авангарде 6-й армии шел отборный отряд эсэсовцев во главе с фаворитом Дитриха оберштурмфюрером Вайнертом. Одержимые мыслью продвинуться вперед как можно дальше и как можно скорее, они, овладев американскими оборонительными пунктами, не брали никого в плен, а, сберегая время, расстреливали американцев тут же на месте. Продвигались они по узким обрывистым дорогам с поразительной быстротой и в первые же несколько часов углубились в расположения противника не менее чем на двадцать километров. Но вдруг остановились. Перед ними бесновался незамерзающий горный поток, довольно широкий и весь в водоворотах. Странное и даже немного жуткое впечатление производило это холодное кипение воды среди оцепенелых снегов и льдов. Пришлось ждать, пока подойдут переправочные средства. Какая потеря времени!

Вайнерт в нетерпении шагал по берегу своей молодежавшей пружинистой походкой, колебля тело на длинных стеблевидных ногах, слегка поскальзывая на обледенелых камнях и нервно хлопая себя по сапогу резиновым хлыстом — шлагом.

Наконец порученцы, которых он непрерывно посылал в тыл, доложили ему, что приближается колонна с инженерным имуществом, но саперы эти не свои, а соседа, то есть 5-й армии.

— Наплевать! — вскричал Вайнерт и приказал людям подготовиться к переправе.

Это была автоколонна капитана Франца Штольберга, груженная понтонно-мостовыми средствами. Капитан сидел в кабине головной машины. Иногда он сменял за рулем шофера, давая ему отдохнуть. Он и сам изнемог от усталости. Такой дьявольски трудной работы, как тут, в Арденнах, еще не было у Штольберга. Эти скользкие, как каток, дороги с проклятым наклоном в сторону обрыва! Эти неожиданные повороты почти под прямым углом, где приходилось отцеплять орудия и прицепы и лебедками перетаскивать через эти чертовы ловушки! А сзади в спину тычут наступающие части! А обгон на этих дорогах невозможен... «Нет, уж лучше польская слякоть», — угрюмо думал Штольберг. И вдруг всю его мрачность сдуло воспоминание о польской девчонке, об этой Ядзе, Ядзе-с-косичками, как ее на допросе упорно называл эта гнида гауптштурмфюрер Биттнер. И именно после этого допроса она неотступно стучится ему в голову — золотоволосая девчонка с гримасой загнанного зверька. А ведь он ее почти не видел, только какой-то миг, когда она пряталась в углу сарая, а там, в здании гестапо, поник, уронив лысую голову на стол, застреленный ею палач...

— Потрудитесь навести переправу как можно быстрее, — услышал он голос Вайнерта.

Вайнерт говорил отрывисто, повелительно. Штольберг слушал вежливо и, как показалось Вайнерту, почтительно наклонив голову. Они были примерно одного роста, Штольберг, пожалуй, пошире в плечах.

— Мне приказано, — сказал он мягко, — в первую голову обеспечивать переправу артиллерии.

— Ваша фамилия, должность? — так же отрывисто спросил Вайнерт, устремив на Штольберга красивые дерзкие глаза.

— Капитан Штольберг, начальник отдельной автоколонны Пятой танковой армии.

— Капитан Штольберг, в силу данных мне особых инструкций я приказываю вам немедленно навести переправу для моего отряда.

— Переправа будет наведена незамедлительно, — сказал Штольберг все так же учтиво, — но... по ней прежде всего пройдет артиллерия.

Собственно говоря, Штольберг мог, конечно, пропустить отряд Вайнерта первым. Но когда он увидел изнеженную и наглую морду Вайнерта, он пришел в ярость. И, как всегда в этом состоянии, заключил свою ярость в оболочку мягкости и даже как бы смиренности. Поначалу Вайнерт был обманут этой почтительностью. Но вскоре сообразил, что Штольберг не только противоречит ему, но еще, пожалуй, и издевается над ним.

Поток глухо ревел. Понтонеры подтягивали свои огромные калошеобразные лодки к берегу. Вокруг Вайнерта стояли эсэсовцы, все как на подбор рослые ребята. Некоторые с недоброй усмешкой расстегивали кобуры и стаскивали с груди автоматы.

— Капитан, вы отдаете себе отчет в том, с кем разговариваете? — процедил Вайнерт.

Штольберг обернулся и что-то шепнул стоявшему позади него артиллерийскому лейтенанту. Тот послушно кивнул и побежал к своим машинам. А через несколько минут артиллеристы установили у берега два полевых орудия. Быстро расчехлив стволы, они направили их на подобранный к берегу отряд Вайнерта. Все это они проделали проворно и, по-видимому, не без удовольствия. Прорвалась затаенная рознь между армейцами и привилегированной гитлеровской гвардией.

— У меня личный приказ фюрера! — уже не сдерживая голоса, кричал Вайнерт.

— Покажите, — по-прежнему мягко сказал Штольберг.

Артиллерийский лейтенант подошел к Штольбергу и, вытянувшись, доложил:

— Орудия заряжены картечью.

Вайнерт покосился на пушки, круто повернулся и бросил через плечо:

— Поторапливайтесь, капитан. Следом за артиллерией пойдем мы. Но на вас я подам рапорт.

Штольберг пожал плечами и сказал довольно равнодушно:

— Не советую. У вашего доноса нет будущности.

Услышав слово «донос», Вайнерт свирепо стеганул себя шлагом по сапогу и пошел прочь. Эсэсовцы терпеть не могли этого слова. Они придумывали для него столько вполне благопристойных псевдонимов: «заявление», «сообщение», «рапорт», «информация», «докладная записка».

А Штольберга угроза Вайнерта несколько не испугала. Ну еще один донос. Что это изменит в его судьбе? И пока мимо по понтонному мосту с грохотом проносились орудия, влекомые лошадьми, которых ездовые нещадно стегали, потому что лошади были реквизированы у голландских крестьян и не понимали немецких команд, Штольберг вспоминал, как он тогда остановил машину и выпустил из ящика от македонских сигарет эту золотоволосую крошку и она, серьезно глянув на него, со всех ног побежала в сторону леса графа Поттоцкого, где, как известно, притаились хлопские батальоны.

ИГРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Наконец лейтенант Вулворт добрался до места. Он пожал руку Маньковскому и тому рыжему парню и выпрыгнул из грузовика. Попал в сугроб, отряхнулся, засмеялся. Он был в прекрасном настроении. Все ему нравилось. И забористые словечки солдат, и дымно-сладковатая горечь дешевого табака, и крутые снежные тропинки, по которым он добирался до этого городка, и самое его название: Бастонь. В этом звуке есть что-то звонкое и воинственное. В радостно-возбужденном состоянии Вулворт не замечал некоторых странностей на улице. Она была забита грузовиками, крестьянскими водами, легковушками, даже танками. Один из них, видимо чрезвычайно спеша, попер на тротуар, и Вулворт вжался в стену. То есть, конечно, он замечал всю эту суету. Но не видел в ней ничего странного. Война! Он со вкусом вдыхал запах войны, запах этой сумятицы, эти крики, скрежеты, весь этот грозный и живописный хаос, каким ему представлялась война.

Немного удивило его, что у входа в штаб 8-го корпуса не было часового. Оттуда выбежал сержант с огромной кипой папок в руках. Он наткнулся на Вулворта, не извинился, а еще и чертыхнулся. Вулворт хотел было призвать его к порядку, но потом подумал, что сержант мог в спешке из-за этой горы папок и не заметить, что перед ним офицер. В полутемном коридоре Вулворт тщательно вглядывался в лица встречающих офицеров. Он знал, что его дядя работает в штабе корпуса, но не знал, в каком отделе. Он заглядывал то в одну, то в другую комнату и не решался ни к кому обратиться. У всех такой озабоченный вид. Никто не сидел на месте. Хлопали двери, шкафы раскрыты настежь, ящики столов выдвинуты. Было похоже, что штаб выворачивает свое канцелярское нутро. Никто не обращал внимания на Вулворта.

В крайней комнате было поспокойнее. Два офицера молча выкладывали на столы кипы папок с документами. Потом нагибались, что-то брали из-под стола и засовывали в эти груды бумаг. Вглядевшись, Вулворт увидел, что это «что-то» — термитные гранаты. Офицеры были так заняты своим странным делом, что не заметили Вулворта. Он деликатно кашлянул. Один из офицеров, плечистый увалень, подняв голову и отбросив с глаз длинные белокурые волосы, спросил довольно сурово:

— Откуда вы взялись?

— Я ищу полковника Вулворта. И кроме того, не можете ли вы сказать мне, где базируется Шестая бронетанковая дивизия?

Офицер переглянулся с товарищем. Потом буркнул:
— Предъявите документы.

Вулворта поразили контраст между его вульгарной физиономией и этими золотистыми, почти дамскими кудрями, ниспадавшими до плеч и обрамлявшими его испытанные черты.

С какой-то радостной услужливостью Вулворт показал свой офицерский билет и направление в часть.

— Однофамилец? — спросил офицер более мягко. — Или родственник полковника?

— Племянник, — несколько смущенно сказал Вулворт.

— Полковник три часа назад эвакуировался со штабным имуществом. Его перевели в верховный штаб. А что

касается вашего направления, то вряд ли кто-нибудь сможет указать, куда занесло Шестую бронетанковую...

— Позвольте... как же это? Ведь есть дислокация...

Офицер внимательно оглядел Вулворта, его новенькую шинельку с начищенными пуговицами, сверкавшую лаком скрипучую кобуру и сказал:

— На войне, лейтенант, не все точно. На войне несколько иначе, чем на уроке каллиграфии в школе, из которой вы, по-видимому, недавно вылупились.

Другой офицер, постарше, с отвислыми усами, занимавшийся тем же, чем и сосед, то есть осторожным зарыванием термитных гранат в груды документов, сказал:

— Не разыгрывай паренька, Чарли. И не строй из себя старого окопного волка. Послушайте, Вулворт, ваш дядя действительно смазал пятки салом. И если вы жаждете его обнять и передать ему посылку от мамочки с теплыми носками и майсовой лепешкой, тогда валяйте в Нешато. Только побыстрее. Немцы уже в Троттоне. Это рукой подать. А что касается Шестой бронетанковой, то сам Дуайт Эйзенхауэр не скажет, где она сейчас мотается, все так перепуталось, что не разберешь, где фронт, где тыл.

Вмешался белокурый увалень. Он сказал довольно вежливо, видимо хотел загладить прежний хамоватый тон:

— По последним сведениям, не ручаюсь за их точность, ваша дивизия, возможно, находится где-то между Бастонью и Сен-Витом и пытается отразить натиск Пятой армии Мантейфеля.

Сказав это, он полез рукой под стол, достал из ящика очередную термитную гранату и принялся устраивать ее в кипе бумаг. Заметив удивленный взгляд Вулворта, он сказал:

— Как только на гребне этих гор, которыми вы можете любоваться через окно, покажутся немцы, мы подожжем термитные гранаты, и вся секретная документация превратится в пепел.

— Что же это? Наступление?

— Смотри, мальчик попался из смысленных, — проворчал длинноволосый.

— Вот что, лейтенант, — сказал другой серьезно, — у ворот штаба стоит «студебеккер». Валяйте туда. Только побыстрее.

— А вы?

— А мы остаемся. Мы попробуем все-таки не отдавать Бастонь.

Вулворт ничего не ответил. Только как-то неуклюже потоптался на месте. Этот капитан с отвислыми усами и заостренным, несколько свернутым в сторону носом казался ему необыкновенно симпатичным и даже красивым.

А вот тот, второй, белокурый увалень, совсем ему не понравился. Что-то было в нем заносчивое, наплевательское. Но Вулворт старался расположиться по-доброму к нему, пребывая в том блаженно-восхищенном состоянии духа, из которого не выпадал с той самой минуты, когда кога его ступила на землю пылающей Европы. Тем более что на груди у белокурого, особенно когда он поворачивался, играл бликами и испускал маленькие вспышки орден «Пурпурное сердце», на который Вулворт то и дело искоса поглядывал.

— Побыстрее! — крикнул капитан. — Больше транспорта не будет.

— А м... можно, — робко, заикаясь, сказал Вулворт, — а можно мне тоже остаться?

Он снова покосился на «Пурпурное сердце», которое ослепительно подмигнуло ему своим сверкающим оком.

16 декабря первому лейтенанту Конвею не пришлось принять очередную ванну в Спа. Паника, охватившая этот город, была еще сильнее, чем в Бастони, вероятно потому, что в Спа много тыловых военных учреждений, а тыловики, как известно, обладают несравненно более чуткой нервной организацией, чем задубевшие в боях фронтовики. Прислуга разбежалась, подача воды в ванное заведение «Петр Великий» прекратилась. Раздосадованный, некупанный Конвей, ладонью прикрывая рот и нос, чтобы не застудить горло, поплелся в штаб 1-й армии узнавать новости. Он не застал его. Только вихрь бумаг — приказов, запросов, директив — летал по пустым комнатам. Впрочем, сержант-буфетчик еще копошился в шкафах бара, запихивая в контейнер навалом вина, тушенку, сигареты, сардины, яичный порошок, что попало. Он-то и сообщил Конвею, что штаб во главе с генералом Ходжесом укатил по направлению к Верве.

Но уж если Ходжес, спокойный, уравновешенный, методичный...

Сержант-буфетчик добавил, что до Вервье отличное шоссе, не то что эти проклятые горные спирали, узкие как ловушка. Ведь в случае нападения с воздуха укрыться некуда. Что из того, что по обе стороны горных дорог густой лес, — там такая крутизна, что не вскарабкаешься. А превосходная магистраль на Вервье широка, и, кроме того, оттуда прямой путь на Льеж. Наш «студебеккер» идет туда не позже чем через час, потому что боши уже в Мальмеди, а ведь это рядом.

— Я видел у входа два «студебеккера», — заметил Конвей.

Сержант-буфетчик объяснил, что второй «студебеккер» идет с грузом боеприпасов совсем в другую сторону, в Бастонь...

Не дослушав, Конвей вышел на улицу. Он понимал, что надо спешить. Он горько пожалел в этот момент, что не выхлопотал себе увольнения из армии. С его ревматизмом и связями в штабе это не проблема. Но сейчас, когда завязывается сражение, это как-то не совсем удобно.

Поначалу он сел в «студебеккер», который направлялся в Вервье. Но краем уха он услышал, что немцы выбросили парашютный десант где-то в районе Шофонтана. А это недалеко от шоссе на Вервье. Поэтому он пересел на тот грузовик, который вез боеприпасы в Бастонь. Однако оказалось, что место в кабине уже было занято двумя старшими офицерами. Ну что ж... Сняв заиндеветшие на морозе очки, Конвей вскарабкался в кузов и принялся устраиваться в неудобном соседстве со взрывчатыми материалами. Все же это лучше, чем встреча с диверсантами! «Однако чертовски холодно! Бедные мои суставы! Нет, так воевать я не согласен...»

Конвей решил утеплиться. И пока шофер налаживал на колеса цепи, Конвей, дрожа как в ознобе, раскрыл свой чемодан. Наверху лежал незаконченный проект листовки, призывавшей покончить с чудовищем нацизма, цветная копия Рафаэлевой «Сикстинской мадонны», толстый дневник, в который, впрочем, Конвей не занес еще ни строки, и несколько брошюр: Томас Конвей, «Ранние византийские иконы». Он запустил руку в глубину чемодана и выгреб оттуда длинные солдатские подштанники. «Да, этот русский партизан Урс предупреждал, что немцы зашевелились... Ну что ж, я сообщил об этом в штаб.

Но Диксон не придавал этому значения, даже высмеял меня...» Сидя на ящике со снарядами, натягивая безобразные кальсоны на тощие ноги, Конвей был уверен, что предупреждал штаб о предстоящем ударе Рундштедта, но к его сигналам не прислушались. Да, это не случайная вылазка, а мощное контрнаступление! Только дурак этого не понимает!

Но хотя ни Дуайт Эйзенхауэр, ни Омар Брэдли, ни «монах» Диксон не были дураками — о нет! — они этого не поняли.

В тот вечер они играли в бридж. Игра втроем требует особого сосредоточения. Ветер шумел в деревьях, окружавших виллу в Сен-Жермен-Ан-Ле, штаб Эйзенхауэра. Стекла в морозных узорах. Вино подогрето. В огромном камине уютно потрескивают поленья. В углу сверкает украшенная елка. Над дверью — белой, с бронзовыми инкрустациями — свисают листья омелы. В соседней комнате сержант-буфетчик с двумя подручными солдатами накрывает длинный рождественский стол.

В тот момент, когда Эйзенхауэр задумался, собрав вокруг глаз крупные ласковые морщины, как бы ему отразить сложную каверзу этого хитреца Брэдли, в комнату, неслышно ступая, вошел дежурный офицер. Сегодня им был молодой Дуглас Макартур-второй, лощеный, щеголеватый, похожий скорее на дипломата, чем на офицера-фронтовика. Быть может, это и не удивительно, если вспомнить, что всего два года назад он был третьим секретарем посольства в Лондоне. На левом плече его горел золотой меч и радуга на черном поле — эмблема сотрудников верховного штаба. С тех пор как этот молодой человек был пристроен при Эйзенхауэре, отцовское сердце главнокомандующего юго-западным районом Тихого океана генерала Макартира было спокойно за сына.

Макартур подошел к Диксону и что-то шепнул ему на ухо. Полковник, извинившись, тотчас вышел. Вернувшись, он сказал:

— Простите, генерал, но я полагаю, что должен вам это сказать. Трой Миддлтон звонил, что Рундштедт зашевелился.

Эйзенхауэр с минуту подумал и решительно метнул на стол карту. Потом спросил:

— Он сам звонил?

— Нет, из оперативного отдела. Передавали, что есть

данные о прибытии на фронт Шестой танковой армии СС.

Эйзенхауэр сказал с ироническим недоумением:

— Воображение — хорошая вещь, но не в такой степени. Я надеюсь, Монк, вы объяснили им, что Шестая танковая армия СС находится в районе Кёльна.

— Немцы все мечтают вернуть Ахен, — сказал Диксон. — Говорят, Гитлер поклялся...

— Шевелятся, вы говорите... — задумчиво проговорил Эйзенхауэр. — Очевидно, это то, что они называют «активная оборона».

— Я думаю, — сказал Диксон, — что немцы хотят захватить какую-нибудь высоту, чтобы преподнести рождественский подарок фюреру. В этом тоталитарном государстве есть такая рабская манера — делать подношения обожаемому фюреру за счет солдатской крови.

Омар Брэдли потер массивную челюсть, покачал головой и сказал негромким, словно застенчивым голосом:

— Take heed to yourself for the Devil is unchained¹.

Все вскинули на него глаза.

— Простите за цитату из «Айвенго», — продолжал он, — но я думаю, что это не так просто. По-видимому, Рундштедт хочет остановить наступление Паттона в Сааре. Это отвлекающий удар.

Эйзенхауэр кивнул Макатуру:

— Дуг, позвоните от моего имени Монти: как у них там, на севере? — Потом к Диксону: — Дайте нам вашу карту, Монк, знаете, ту, на которой нанесены расположения Рундштедта.

Когда карта была принесена, ее положили на стол осторожно, чтобы не смешать игральные карты, и склонились над нею.

— Ну да, — сказал Эйзенхауэр, — у них на все Арденны четыре пехотных и две танковых дивизии...

— ...которые движутся на север, — добавил Диксон.

Карту сняли, они опять уселись за стол.

— Вряд ли с этим можно сделать что-нибудь серьезное, — сказал Эйзенхауэр.

— Вы говорите о дивизиях Рундштедта или о своих картах? — спросил Брэдли.

Эйзенхауэр рассмеялся:

¹ Берегитесь, дьявол спущен с цепи (англ.).

— Вы же знаете, Брэд, вооруженные силы Соединенных Штатов могут высечь весь мир.

Вошел Макартур:

— Разрешите доложить? Фельдмаршал виконт Монтомери шлет привет генералу Эйзенхауэру и информирует, что немцы перешли к обороне на всем участке.

— Очевидно, к активной обороне, — вставил Диксон. Макартур продолжал:

— Фельдмаршал добавил, что Рундштедт не в состоянии наступать — у него нет для этого ни транспорта, ни горючего.

— Ни людей, — добавил Эйзенхауэр. Он задумался на мгновение и сказал: — А все же, Брэд, на всякий случай примем некоторые меры предосторожности. Уж очень у Миддлтона жидковатый фронт, весь в прорехах. Отправьте-ка ему Седьмую бронетанковую из Девятой армии, ну и, скажем, Десятую бронетанковую из Третьей армии.

— Из Третьей? Вы представляете себе, какой скандал мне учинит Готспер!

Эйзенхауэр удивился:

— Это еще кто? — Потом, поняв, рассмеялся: — Вы так называете Паттона?

Готспер — значит «горячая шпора». Так Шекспир в своей хронике «Генрих IV» называет за необузданность характера вождя феодалов Генри Перси. Конечно, Брэд, ли извлек это прозвище не из шекспировской хроники, а из своего излюбленного «Айвенго».

Эйзенхауэр поморщился:

— Мне надоела эта вечная возня с Джорджем Паттоном. Честное слово, я больше воюю с Паттоном, чем с Гитлером.

Все рассмеялись. Монк Диксон придал лицу небрежное выражение. Все насторожились: это предвещало острую реплику. У Диксона была репутация хорошего рассказчика, и он дорожил ею.

— Вы знаете, — сказал он, — как Гитлер отозвался о Паттоне? Мне передавал один пленный офицер: «Ах, Паттон, этот генерал-ковбой!» Но вот забавно: оказывается, Гитлер признался, что во всем мире он боится только двух людей: Сталина и Черчилля. Правда, к Черчиллю у него двойственное отношение. Дело в том, что Гитлер узнал, что Черчилль назвал его кровожадным

подонком. Он взбесился и дал себе слово повесить Черчилля... — Диксон сделал паузу и закончил с тонкой улыбкой: — Конечно, в том случае, если он доберется до него.

Все захохотали пуще, но, взяв в руки карты, снова стали благоговейно-серьезны.

Игра продолжалась.

ХЛЕБ

Осборн старался сохранить воинский вид и не бросал каску, хотя с каждым шагом ему казалось, что она становится тяжелее. Он подвесил ее к поясу. И ногу не волочил, хотя она болела все сильнее. А главное, он старался не отставать от Майкла, это был для него вопрос самолюбия. Майкл шел легко, каким-то летучим шагом. Осборн поглядывал на него с хмурой завистью. Он даже иногда зажмуривал глаза, чтобы не так отчетливо видеть его. И тогда ему казалось, что Майкл парит над землей, длинный переросток со светлым детским лицом. Наконец Осборн не выдержал и предложил сделать привал.

Они сошли с дороги и принялись карабкаться в лес по обледенелому склону, иногда такому крутому и скользкому, что приходилось опускаться на четвереньки. Майкл обхватил Осборна и тащил за собой. Казалось, это для него не составляет труда.

Они остановились на маленькой поляне, окруженной мощными мрачными елями. Место это казалось им надежно защищенным от взглядов с дороги. Осборн бросил плащ на снег и рухнул. Майкл сел на пенек. Он положил на колени подобранную им деревянную стрелу с надписью «Бастонь». Достав из кармана огрызок карандаша и вырвав из записной книжки листок бумаги, он положил его на стрелу, аккуратно разгладил и принялся писать, склонив голову набок, как прилежный школьник.

— Что ты царапаешь там?

— Письмо маме.

— Какой добродетельный сыночек! Ты что думаешь, здесь, в лесу, развешаны почтовые ящики?

Майкл удивленно посмотрел на Осборна: что это он так злобно? Ответил не сразу:

— Главное — писать. Это труднее, чем отправить.

Майкл всегда брал некоторое время словно на обдумывание ответа. Он вертел его в голове, прежде чем выпустить на волю. Нетерпеливого Осборна это раздражало. Да и вообще он чувствовал, как в нем накапливается неприязнь к Майклу. Но он не признавался себе в этом. И был неприятно удивлен, когда Майкл поднял на него глаза и сказал:

— За что вы меня ненавидите?

— Ты с ума сошел!

Но в эту минуту он почувствовал, что действительно невзлюбил Майкла.

Он ненавидел Майкла за его «невыносимое благородство», за его «зловонную скромность», за тощую стеблевидную фигуру, и девичьи тонкие запястья, и изумленно-вопрошающий взгляд. Он ненавидел его, потому что смертельно устал, потому что мучительно ныла рана в ноге, потому что не знал, как пробраться к своим и от этого пал духом, потому что боялся наткнуться на диверсантов и потому что был страшно голоден, а за пазухой у него лежал кирпичик хлеба, и его мысли были направлены на это, и он злился на Майкла за то, что тот своим присутствием мешает ему съесть этот хлеб, и злился на себя за то, что не делится этим хлебом с Майклом.

Глядя на него, склонившегося над письмом, Осборн и сам почувствовал желание писать. Он вытащил из мешка свою заветную тетрадь, спасенную Майклом из огня. Желание писать навалилось на него вдруг и с непреодолимой силой. Он стеснялся этого. От полуобгоревшего дневника дурно пахло. По мнению Осборна, от него разлило немцами. Он уверил себя, что есть специфический немецкий запах. Он чуял его, когда они входили в освобожденные от немцев города, — смесь шнапса, кнастера и пота. Он полистал дневник в раздумье, и вдруг внезапное подозрение охватило его.

— Ты своими грязными лапами лазил в мой дневник! Ты читал его!

— Под пулями? — сказал Майкл с мягкой укоризной.

Осборну расхотелось писать. Майкл сложил письмо, сунул в конверт, провел языком по его краю и положил в карман.

— Меня что-то сон сморил. Вы не возражаете? — сказал он.

Осборн промолчал. Майкл нарвал еловых веток, улегся на них и мгновенно заснул.

Проснувшись, он увидел, что Осборн жует. Он подумал, что это чуингам¹, и собрался спросить, нет ли у него еще. Все-таки это как-то помогает заглушить ужасающее чувство голода. Но в этот момент он заметил, что Осборн вынимает из-за пазухи кусочки хлеба и запихивает их в рот. Майкл смежил веки, но не совсем, он мог наблюдать за Осборном. Сколько у него там было хлеба, непонятно, потому что он отламывал там, за пазухой, а наружу вынимал маленькими кусочками и быстро нес их в рот. Майкл закрыл глаза, чтобы Осборн не заметил, что он за ним наблюдает. Иногда он на секунду приоткрывал глаза — Осборн таскал и таскал из-за пазухи.

Майкл боялся пошевелинуться. Он не хотел этого видеть. Он не хотел дурно думать об Осборне. Он жалел его. Он не мог решить, так ли это хорошо, что в нем столь сильно развито чувство жалости. Как это странно! Там, в Штатах, у него была теоретическая ненависть к немцам. То есть к насилию. Ну и к немцам как носителям этого насилия. И вот он на войне, и другое, еще более мощное чувство постепенно пропитало все его существо: жалость. Он жалеет... Притом всех. Почему? И жертвы и насильников. И убитых и убийц. Почему, черт возьми? Это какое-то искривление души. «Осборн прав: я вероотступник. Может быть, я просто трус? Не знаю. Не понимаю. Я не понимаю, что такое трусость, потому что точно так же я не понимаю, что такое храбрость. Но Осборн все-таки прав: я изменник. Я предал себя. Я должен пересилить свою жалость к немцам. Выжечь ее из себя. Я приехал, чтобы бороться с насилием. И я буду бороться».

ПЕТАЛЯ

5-я танковая армия обошлась без артиллерийской подготовки. Генерал Мантейфель против этого. «Зачем? Мы только спугнем противника. Пусть этим занимается 6-я. Эсэсовцы любят треск, барабанный бой. Мы будем действовать втихомолку. Операция «Ночные убийцы»...»

¹ Жевательная резина (англ.).

В полной темноте (только снег неясно отсвечивал) и полном безмолвии (все, что могло звенеть и бряцать, от фляг на поясах до передков орудий, наглухо приторочено и задраено) по понтонному мосту штурмовые роты и ударные группы 5-й армии перешли реку Ур у местечка Дасбург. Здесь генерал Мантейфель положил быть своему командному пункту.

Слабые американские заставы в горных проходах были частью уничтожены, частью же панически бежали в городок Шенберг. Но на следующий день был взят и Шенберг. Очень милый городок, почти не поврежденный. Солдаты ворчали: их гнали вперед без передышки. Вперед, только вперед! Вилли, сидевший на броне танка вместе с Иоганном и обоими близнецами, говорил с горечью, нисколько не хоронясь:

— Все слопают тыловики — и баб и трофеи.

Иоганн подхватил:

— И награды!

Близнецы молчали. Гельмут с беспокойством поглядывал на Хорста. Они тряслись на броне, стоя друг возле друга, похлопывали одинаковыми белыми ресницами, каждый был похож на другого, как на свое отражение в зеркале. Хорст что-то сказал, из-за шума моторов не расслышать, но Гельмут догадался. Он и Хорст так сроднились душевно, что угадывали мысли друг друга. Гельмут понял, что сказал Хорст.

— Я его предал, — сказал он.

На привале за обедом — а обед был славный, захватили совершенно нетронутый американский продовольственный склад, даже шоколад там был! — Гельмут сказал:

— Зачем ты наговариваешь на себя? Ты здесь ни при чем. Ведь этот... ведь он...

Хорст сказал угрюмо:

— Да, да, мы даже не знаем, как его звали.

— Это не важно. У него был такой длинный язык. Он сам себя предал.

— Нет. Это я. Надо было лгать. Это я его сунул в петлю...

На обед пятнадцать минут. Ни секунды больше. Вперед! Только вперед! К Маасу! Ибо хотя фронт прорван — в нем колоссальная прореха шириной в восемьдесят километров — и американцы драпают, ослепленные ужа-

сом, фюрер недоволен. Он ожидал, что сегодня, 17 декабря, обе армии, 5-я и 6-я СС, дорвутся до Мааса. Но до Мааса еще столько дела! Еще не взят этот проклятый Сен-Вит, этот городишко-паук, где сплелись пять шоссе и три железных дороги. Уже под его стенами сдались Мантейфелю семь тысяч окруженных американцев, а Сен-Вит всеми остриями своих церквей и башен торчит как заноза в горле наступления. Мантейфель жмет на него всей мощью своего правого фланга. «Но Дитрих! Дитрих! Где же левый фланг 6-й? Он ведь должен сомкнуться с правым флангом у Сен-Вита! Где же он? Ведь если Эйзенхауэр очнется — а это не может не произойти, и вся суть грандиозного немецкого блефа в том, чтобы перевалить через Маас, пока он не очнулся, — и поднапрет своим американо-англо-канадским множеством, страшно подумать, что станет с моим славным 57-м корпусом... Да и со всеми нами! Второй Сталинград! После Паулюса — Рундштедт!» Мантейфель даже вздрогнул при этой мысли. Связаться с Дитрихом не удавалось. Телефонная нить рвалась поминутно. Метели в горах сносили шесты с проводом. Вообще не было уверенности, что они существуют. Хаосу панического отступления соответствовал хаос победного наступления. Непогода разметывала и радиосвязь. К тому же Мантейфель подозревал, что Дитрих избегает разговора с ним. Очевидно, придется прибегнуть к классическому способу связи XIX века — через ординарцев, как во времена Наполеона.

Однако это не так просто. Человек, посланный к Дитриху, должен вести себя тонко, принимая во внимание самодурство оберстгруппенфюрера. Это должен быть образованный, самостоятельный, ловкий, тактичный офицер, который сможет составить точное представление о положении 6-й армии, не выдавая в то же время Дитриху истинной цели своего поручения.

Мантейфель вспомнил об офицере, которого фельдмаршал Модель назвал толковым. Как его? Штольберг, кажется? Генерал послал за ним. Этого офицера тем удобнее послать в 6-ю армию, что не жаль, если с ним что-нибудь случится по дороге в этом логове эсэсовцев: все равно он неблагонадежный, на него уже заведено какое-то дело.

Генерал лично объяснил Штольбергу, в чем состоит его поручение. Конечно, устное. Никаких бу-

маг. Словесное послание от генерала оберстгруппен-фюреру.

Штольберг слушал генерала с удовлетворением. Поручение было ему по душе. В его натуре отвращение к нацизму уживалось с преданностью своей 5-й армии.

Генерал повторил:

— Изложите мои претензии точно. Как у вас с памятью?

— Не жалуюсь.

— Главное, опишите положение с флангами, как оно есть. Не забудьте упомянуть о просчете с горючим. — Немного поколебавшись, он добавил: — Если в связи с этим зайдет речь о наших парашютистах, изложите не стесняясь нашу точку зрения: здесь они неприменимы. Есть вопросы?

— Никак нет, господин генерал, все ясно. Разрешите выполнять?

— С богом!.. Да, вот еще что... — Помявшись, генерал сказал: — Выражайтесь энергичнее, понятно. Не стесняйтесь в выражениях, там принят такой стиль, и это может подстегнуть их к действиям.

Он чуть улыбнулся, и Штольберг подумал, глядя на него: «Веселый аскет...»

Однако легко было наполеоновским офицерам на взмысленных конях, с прыгающей лядункой на боку, придерживая треуголку с развевающимся плюмажем, скакать по дымному полю сражения, пригнувшись к шее коня, чтоб не угодить под пушечное ядро, и единственное, что им грозило, это смерть. Подумаешь!

Другое дело пробираться на паршивеньком задыхающемся «опеле», буксующем, несмотря на цепи, на укатанном снегу. Рокадных дорог здесь нет. А есть путаный горный лабиринт со взорванными мостами, с нерасчищенными минными полями, с лесом, вдруг перебегающим дорогу, страшным в своем затаившемся безмолвии.

Тут Штольберг не выдерживал, сам брал баранку, чтобы занять себя делом, чтобы забыть, что он живая мишень, что он на мушке партизана, укрывшегося в лесу. Напряжением памяти Штольберг вызывал образ этой маленькой испуганной Ядзи-с-косичками, и тут же возникало бледное, с лиловыми подглазьями лицо Биттнера, которого он, возможно, встретит в 6-й армии СС, и тот может провалить его миссию, ибо дело об участии Штоль-

берга в бегстве Ядзи отнюдь не закрыто, а только временно прикрито. Эти мысли помогали Штольбергу заглушить подленькое чувство страха, пока он гнул свое длинное тело над баранкой, мчась мимо сумрачного, недобро молчавшего леса.

ПОЩЕЧИНА

Девятнадцатого декабря передовые части 5-й армии достигли Живэ в двадцати километрах от Мааса. 6-я армия СС продолжала вести тяжелые бои у Монжуа. Отряд партизан под начальством Урса продвигался лесами в направлении к Бастони. Ночами они высылали разведку во встречные люксембургские местечки, и, если немецкий гарнизон был невелик, они завязывали с ним бой. Потом снова исчезали в лесу на вершинах и склонах гор, невидимые для воюющих сторон, которые сражались на дорогах и в городах. Но и здесь, в лесу, партизаны соблюдали осторожность и шли рассыпанным строем, мелкими группами, скользили меж деревьев, как тени, на коротких охотничьих лыжах в своих белых бараньих тулупчиках.

Они и в лесу избегали открытых мест, и если Амедей, Лейзеров и Финик, вопреки запрету, вышли на большую круглую поляну, то это потому, что они заметили лежащие в снегу два тела. Полузасыпанные снегом, они тесно прижались друг к другу щека к щеке. Их тормошили, растирали снегом. Потом подтащили к костру и влили каждому в рот изрядную порцию горячего чая с ромом. Первым открыл глаза Майкл. Увидев наклонившееся над ним бородатое курносое лицо Финика, он прошептал:

— Сократ...

Он все еще был во власти сладкого забытья, в которое впадают замерзающие.

Финик поднялся и сказал:

— Ну, этот в порядке.

Осборн все слышал. Но он предпочитал оставаться якобы в обморочном состоянии. Из предосторожности. А вдруг это переодетые диверсанты? Кроме того, он надеялся, что в него, может быть, вольют еще порцию этого восхитительного пойла.

Но если Осборн заподозрил в своих спасителях переодетых диверсантов, то такая же мысль пришла в голову Финику: а не являются ли эти два американца замаскированными эсэсовцами?

Подоспевший к этому времени Урс энергично заматал своей тяжелой головой:

— Порете чепуху, ребята. Диверсанты не сунутся в лес.

В конце концов все устроилось. Партизаны обещали доставить Осборна и Майкла в какую-нибудь американскую часть.

— Фронт не сплошной, — сказал Урс, — мы всегда найдем лазейку, чтобы проскользнуть на ту сторону.

Он внимательно присматривался к американцам. Он нашел, что Осборн с его желчным выражением лица и повелительными интонациями довольно шаблонный тип офицера из резервистов, заполучившего кроху власти, и она вскружила ему голову. «Не моего романа человек», — решил Урс и перестал интересоваться Осборном.

Другое дело Майкл. Урса поразило смещение в его лице... Лице? Да нет... В повадках? И не в этом... Юноша держался смиренно... Может быть, в детскости его взгляда или в его бесстрашии, доходившем до нелепости, было то смещение силы и беспомощности, которое так поразило Урса. То необщее, что было в Майкле, привлекло внимание и другого партизана, Давида Брандиса, ставшего, кстати, его взводным командиром.

Осборн обособился от партизан. Он позволял разговаривать с собой и даже снисходил до односложных ответов, но сам ни к кому не обращался, за исключением Урса, который все же был начальником отряда и вообще подавлял Осборна громадностью своей плоти, размахистостью жестов и громоподобностью рыка.

Майкл, напротив, быстро сошелся со всеми. Амедееу он наиграл на губной гармонике несколько коротеньких американских зонгов. Другой француз, тощий, словно вымоченный в рассоле, нервный молчаливый Жан, преисполнился к Майклу доверием и рассказал на ломаном английском языке о своих тревогах за семью, оставшуюся в Париже. У мужичков Питера и Яна стал Майкл учиться фламандскому языку, а у Финика русскому. Но более всего он сошелся с сухим, жилистым Брандисом, который мог говорить часами настойчиво, иногда навяз-

чиво, но умел и слушать, поглаживая свою красивую черную бороду, не скрывавшую страдальческой и презрительной линии его рта. Кроме того, Майкла и Брандиса связало то, что они оба математики. Темы их разговоров были скачущие. Майкл мало терся в мире. В его жизни, еще такой короткой, не было резких граней, когда душа на изломе обнажается до дна. Не было и разительных встреч, не было еще даже любви. Были только комнатные бури духа. Большое и малое смешивалось в его мозгу хаотически. Одно он твердо знал: его ждут муки распятия, ибо он постановил своим жизненным правилом не брать, а отдавать.

У Брандиса же было что порассказать. Он поведал Майклу о судьбе русского журналиста Кольцова, которого он встречал в Испании, и другого журналиста, итальянца Курта Малапарте, с ним он тайно встречался в Кракове, где тот был принят в резиденции гауляйтера Франка, а он, Брандис, работал в подпольной группе Сопротивления. Он рассказывал Майклу о борьбе варшавского гетто и о трагическом восстании Варшавы против нацистов, он дрался на баррикадах обеих этих битв. Но больше всего страсти Брандис вкладывал в свои рассуждения о судьбах еврейского народа. Это было его болезненное место, и в такие минуты он казался Майклу почти безумным со всеми своими муками и надеждами.

По мере того как партизанский отряд продвигался на юг, к нему приставали американские солдаты, уцелевшие во время разгрома горных застав и поражения у Сен-Вита. Их всех сгоняли под начало первого лейтенанта Осборна, который, казалось, был рад, что ему нашлось занятие. Первым делом он проверял, не переодетые ли диверсанты они. Он устраивал им экзамен по американскому быту: как называется остров, на котором стоит статуя Свободы? Кто такой Тарзан? Как зовут вице-президента? Он предлагал произносить слово «wreath» (венок) — сочетание w, r, th не под силу даже хорошо знающим язык немцам. И т. п. Негров, конечно, он не проверял. Вот когда наконец пригодилась их кожа.

Постепенно в отряде Урса образовался американский взвод. Странно, что Майкл не вошел в него. Осборн словно забыл о нем. Но Майкл понимал, что дело не в этом. Осборн вообще избегал обращаться к нему. Между ними возникло силовое поле, отшвыривавшее их друг от друга,

но покуда незаметное для других. Было похоже, что между ними лежит что-то такое, чего они оба боятся коснуться, что-то вроде мины натяжного действия типа «прыгающей Бетти». Боже сохрани задеть хотя бы один из трех ее усиков, выступающих еле заметно из земли. Впрочем, Осборн не был уверен, догадывается ли Майкл, какая убийственная шрапнельная начинка кроется в их «прыгающей Бетти». А Майкл отгонял от себя саму мысль, будто Осборн догадывается, что ему, Майклу, известно нечто такое тягостное, унижительное, позорное, что... Словом, они избегали друг друга. Майкл числился во взводе Брандиса.

Получив под свое начало американских солдат, Осборн решил подтянуть их. Его не смущало, что тут были ребята из разных частей и различного рода оружия — помимо пехотинцев, связисты, саперы, артиллеристы и нестроевые — повара, санитары. Осборн наконец побрился. Казалось, вместе с грязной щетинкой он сбросил с себя мрачную апатию и снова приобрел свой мушкетерский бравый вид.

На одном из привалов он построил американцев в две шеренги и обратился к ним с небольшой речью. Начал он отнюдь не резко, скорее покровительственно, как хозяин с работниками:

— Я хотел сказать вам вот что, люди. Вы потеряли воинский вид. Мы находимся в чужой среде. Партизаны не солдаты. Вы с них пример не берите.

Майкл, проходивший мимо, остановился и с удивлением слушал. Этих замашек он не знал за Осборном. «Он честолюбив, оказывается, — подумал Майкл, прислушиваясь к начальническим ноткам в голосе первого лейтенанта. — И, как все честолюбцы, он беспринципен...»

— Я не хочу видеть расстегнутых воротничков! — кричал Осборн. — Что за разгильдяйство! Ношение галстуков обязательно! А гамаши! Посмотрите на них! Шнурки волочатся по земле! Как черви! Безобразие!

Теперь уже не только Майкл, но и другие партизаны остановились и наблюдали это зрелище. Подошел и Урс. Он слушал с явным интересом и чуть усмехался в свою саваофскую бороду. Осборна несколько не смущала эта аудитория. Он распалялся все больше:

— Отныне всякого солдата, которого я увижу без

каска, я буду штрафовать. Для первого раза на десять долларов.

Солдаты молчали. Одни были испуганы, другие подталкивали друг друга локтями и насмешливо улыбались. Правофланговый, красивый рослый малый, откровенно засмеялся.

Осборн вскипел.

— Фамилия? Армия? — крикнул он.

— Взводный сержант Нортон из Третьей армии.

Глаза его дерзко блестели. Он не скрывал улыбки.

— Здесь, в походных условиях, нет гауптвахты, — отрывисто проговорил Осборн. — Но при первой возможности трое суток тебе обеспечено. Не надейся, что забуду. — Он прибавил более мягко, впадая в отечески-назидательный тон: — Стыдно, Нортон. Если бы командующий твоей армией генерал Паттон знал о твоём поведении...

— Стоп! — сказал Нортон. — Нынче Джордж Паттон уже не тот. На днях по приказу главнокомандующего генерал Паттон перед строем просил извинения у солдата. Да, сэр, у простого солдата.

Тут Урс внезапно расстался со своим олимпийским спокойствием и пробасил:

— Расскажи, парень.

Нортон ухмыльнулся:

— А что ж рассказывать, дело простое. Прощтрафился — повинился. Мало что он генерал.

Ропот восхищения пробежал по строю солдат.

Урс настаивал:

— В чем прощтрафился? Говори, сержант, не бойся.

Нортон ответил пренебрежительно:

— Чего мне бояться.

Вмешался Осборн. Он уже немного жалел, что не удержался от угрозы. Видно, она пришлась не по вкусу Урсу.

— Генерал Джордж Паттон, — сказал Осборн рассудительно, — герой Сицилии. Армия гордится им. Ну, иногда вырвется у него крепкое словечко. На то мы солдаты, черт возьми, а не монашки! Что ж, люди, может, нам выдать вместо карабинов сборники псалмов, а вместо касок напялить чепчики?

И он прибавил крепкое словечко. Солдатам эта присоленная реплика понравилась. Раздался одобritelный

ный смех. Один Нортон оставался мрачным. Он сказал угрюмо:

— Да, большего сквернословия, чем генерал Джордж Паттон, в американской армии нет. Уж он такую похабщину откалывает! Недаром у нас говорят: ругается, как Паттон.

Осборн нахмурился:

— Генерал никогда не выражается зря. Всегда по делу... Недаром говорят, что он один из самых *hardbitten* генералов американской армии.

— Как вы говорите? — заинтересовался Урс.

— Да это словечко трудновато перевести, — сказал Осборн, — даже англичане его не совсем понимают.

— Почему? — возразил Урс. — Вот я понимаю. Загрубелый? Упорный? Крепкий в драке? Стойкий?

— Да, — неохотно согласился Осборн, — все это так, но и еще что-то неуловимо американское... — Вдруг он прервал себя и уставился на Нортон: — Смотрю я на тебя, сержант, и не пойму: ты как попал на север? Ведь Третья армия стоит далеко на юге, где-то в Эльзасе. Какого же черта ты болтаешься здесь? А? Можешь объяснить?

Нортон посмотрел на Осборна с явным сожалением:

— А вы что, не знаете, что из Третьей армии одна дивизия была брошена под Сен-Вит? Паттон был против этого, и он был прав, будь я проклят! Гунны нас там здорово помяли. Так вот я оттуда. А вот интересно, где были вы, сэр?

Осборн побагровел от негодования. Но не успел ничего сказать, потому что немедленно вмешался Урс:

— Бросьте препираться. Будете сводить счета, когда вернетесь к своим. Так, значит, генерал Паттон извинился перед солдатом за то, что обложил его?

— Совсем не за это, — сказал Нортон. — А то ему извиняться по десять раз на день.

— За что же?

— За то, что он смазал солдатику по роже. Да не один, а два раза. Справа и слева.

— Не верю! — закричал Осборн.

— Тсс, — утихомирил его Урс. И к Нортону: — А ну-ка расскажи подробнее, сержант, как было дело.

Нортон переступил с ноги на ногу.

— Не подумайте, я не против Джорджа Паттона, —

начал он. — Нам не так плохо с ним. Разве можно сравнить нашу жизнь с тем адом, который достался ребятам из Девятой армии Симпсона, попавшей в подчинение к Монтгомери. Да я лучше соглашусь чистить нужники в Третьей армии, чем быть вестовым в штабе самого Монти. Нигде нет таких потерь, как на этих дерьмовых дамбах на Роере. А почему? Потому что Монти прячет своих лайми за спинами наших ребят!

Нортон разгорячился. Он выступил из строя, кричал, размахивал руками. Все это явно не нравилось Осборну, но, глянув на одобрительно улыбавшегося Урса, он сдержал себя.

Нортон продолжал:

— Так что я ничего плохого не хочу сказать о нашем старике Паттоне. Он, может быть, самый блестящий офицер американской армии. Скажу больше, я горжусь Джорджем. Ведь именно он, а не кто другой выпер гуннов из Сицилии. Я там был, сэр, у меня за Сицилию «Серебряная звезда». Правда, за последнее время Паттон стал слишком фасонистый. На рукоятку своего пистолета насадил жемчужины. А посмотрите на его машину — он намалевал на ней две огромных генеральских звезды, чтобы уже издали было видно, едет сам Джордж Паттон. Но все это мы ему прощали. Но мордобой? Нет, извините, сэр! Мы свободные американцы, и из того, что сейчас мы в этой провонявшей Европе, не следует, что с нами можно обращаться, как с какими-нибудь протухшими французишками или полячишками!

Теперь ропот послышался в толпе партизан, обступивших американский взвод. Урс поднял руку, призывая к тишине.

— Полегче, сержант, — сказал он. — Тут нет «французишек» и «полячишек», а есть французы и поляки. И они твои братья по оружию. Поэтому...

Урсу не дали договорить. К строю американцев пробежал худой нервный Жан. Впрочем, сейчас он был непривычно спокоен. Он сказал на довольно правильном английском языке, изредка только вкрапливая французские слова, тут же, впрочем, поправляя себя:

— Слушай, янки, мы, французы, тоже против мордобоя, но мы за честную драку. Скидывай шинельку, и померяемся с тобой. Ни один порядочный француз не отойдет в сторонку, когда его оскорбляют.

— И ни один поляк, — раздался чей-то голос из толпы партизан.

И вслед за тем, раздвигая людей руками, вышел Брандис.

— Выбирай, — сказал он коротко.

Урс шагнул вперед. Громадная фигура его воздвиглась между ними как стена.

— Спокойно, ребята, — сказал он. — Не хватает только, чтобы мы передрались друг с другом. Но здесь затронут вопрос чести. Поэтому, Нортон, тебе придется выбирать: или драться, или извиниться и взять свои пошлые слова о французах и поляках обратно.

Нортон стоял молча. Тишина была такая, что слышно было шуршание ветра в верхушках елей. Наконец он сказал:

— Я никого не хотел обидеть... Сорвалось с языка... На войне язык грубеет... Если мой генерал не постеснялся извиниться, то не постесняюсь и я, его солдат. — И неожиданно добавил: — А теперь, если вам этого мало, стукнемся.

Он попытался обойти Урса, но всюду натыкался на его руки, которые отодвигали его мягко, но неодолимо.

— Хватит, хватит, — повторял Урс, — все в порядке.

Он поискал глазами Осборна, чтобы тот увел свой взвод: страсти накалились, дух драки носился над поляной. Но первого лейтенанта нигде не было видно.

Осборн ушел в лес. Он хотел побыть один. Все происшедшее взволновало его. Он остановился у толстого пня. Смел с него снег. Сел. Он уверил себя, что ему надо поразмышлять. Ибо решение уже было принято. Оно было принято в тот момент, когда он узнал, что генерал публично перед строем попросил прощения у солдата. Он, Осборн, закричал тогда: «Не верю!» Но он крикнул так оттого, что он не хотел в это верить, не хотел, чтобы так было, однако понимал, что это было именно так. Ему стало жаль Паттона. Он знал его. А солдата он не знал. Он всегда восхищался Паттоном. А солдат — это какая-то абстракция, что-то безликое. Поэтому он жалел именно Паттона — этот гордый человек, этот великолепный уникум, да! — единственный в своем роде, унился до извинения перед простым солдатом, которых миллионы. В этом тоже было что-то великолепное, что-то боль-

шое, может быть великое, недоступное заурядному человеку...

Да! Решение принято! Осборн вскочил и энергично зашагал обратно в лагерь.

Там он сразу наткнулся на Урса.

— Что это у вас такой праздничный вид, Осборн?

— Какой? — удивился Осборн.

— Ну, какой-то радостный, ликующий, я бы даже сказал, просветленный.

Черт! Никогда не знаешь, серьезно ли говорит этот могучий чужак или шутит. Но действительно, с того момента, когда Осборн принял свое решение, его охватил прилив радости.

— Великолепный поступок Паттона, правда, Урс?

Урс улыбнулся и сказал:

— Человеческая глупость так же многообразна, как и человеческий ум.

И зашагал дальше, оставив Осборна в полном недоумении.

Осборн вернулся к себе в палатку. Чувства его были смутны. От радостного возбуждения не осталось и следа. Снова чугунная плита надвинулась на сердце. Осборн сделал то, что он делал в безвыходном положении: он заснул. Почти произвольно.

И снова этот сон... Его сны были главным образом запоздалым сведением счетов. Он рассчитывался в них за обиды своей жизни. Он женился на женщине много старше его и с бурным прошлым. Он расправлялся с ее любовниками, и это было так ярко, как наяву.

Но последние ночи стала являться ему в снах другая картина, более современная, почти вчерашняя. Вставал перед ним Майкл, длинный, с детским суровым лицом, переросший ангел, и выхватывал у него из рук кусок хлеба, когда он собирался засунуть его себе в рот.

Осборн закричал и проснулся, он еще не понимал, во сне это или наяву.

Он вышел из палатки и пошел искать Майкла. Он нашел его на краю маленькой площадки. Рядом с ним Брандис. В руках у них хворостинки, они что-то чертили на снегу. Осборн прислушался к их разговору. Они спорили. Но понять ничего нельзя было. Брандис говорил с усмешкой:

— Одно из двух: если эта формула... — и он рисовал

на снегу какие-то странные значки, —...если она истина, то почему вы не можете вывести из формулы...

И он снова чертил на снегу значки, такие странные, что Осборн принял их за арабские буквы.

Но из ответа Майкла, который тот выкрикнул почти яростно, Осборн понял, что значки эти — математические символы.

— Так пойми же, Брандис, что это и есть гениальная суть теоремы Гёделя! Да, формула...

Снова значки на снегу.

— ...невыводима из аксиомы...

Значки!

— ...но истинность ее очевидна, и она сама является аксиомой, и это неопровержимо...

— Почему?

— В стандартной интерпретации...

— Которая есть детский бред!

— Нет, она есть естественный акт мышления!

Осборн позвал Майкла. Тот нехотя пошел за ним.

— Мне надо с тобой поговорить. Хватит математики. Майкл посмотрел на него и сказал строго:

— Математика — это язык, на котором бог разговаривает с людьми!

— Только редко кто его понимает, — буркнул Осборн.

Майкл плохо слушал его. Похоже, что мыслями он там, на снегу, среди своих странных значков.

Осборн оглянулся. Он хотел удостовериться, что их никто не слышит. У него был довольно смущенный вид. Он явно не знал, как изложить то, с чем он пришел к Майклу.

— Понимаешь... — начал он с трудом, пытаясь улыбкой скрыть смущение.

Майкл посмотрел на него более внимательно.

— Понимаешь, в человеке есть и то и се... Вот ты на меня сердишься...

— Я совсем не сержусь на вас, — сказал Майкл тоже почему-то смущенно.

Осборн как бы не слышал этого. Ему было бы легче сказать то, что он хотел, считая, что Майкл на него сердится.

— Вот ты на меня сердишься... И я знаю, за что... Ну... за хлеб... Ну, за хлеб, что я ел один...

Осборн боялся посмотреть на Майкла. Почему он мол-

чит? Ах, да... Нужно еще пробормотать какие-то слова извинения и раскаяния... Он ждет их... Но разве он и так не понимает? Это жестоко с его стороны...

Не глядя на Майкла, Осборн подумал: «Хорошо... я скажу... мне это тяжело... но я скажу...»

Он не успел.

Майкл обнял его и поцеловал.

КРУПНЫЕ РАЗГОВОРЫ

Уже темнело, когда капитан Штольберг добрался до перевала у Трау-Пон. Местность оправдывала свое название: один мост, арочный, выгнув спину как кошка, прыгал на север, другой почти под прямым углом косо сбегал на запад, обломки третьего валялись на дне оврага посреди горного ручья, где запруживая его, где делая бешено порожистым.

На развилке Штольберг приказал шоферу остановиться. Ветер, набитый морозными иглами, вырывался, свистя, из ущелья. Однако в его посвисте Штольбергу почуялось что-то недоброе. Он вслушался. Эге, дружище, да это гул недалекого боя! По-видимому, дралось немалое подразделение. Понаторевшее ухо Штольберга различило в этой дьявольской трескотне не только таканье крупнокалиберных пулеметов, но и мурлыканье ротных минометов и даже изредка гром дивизионных орудий. Горное эхо дробило и множило звуки, перекачивало с вершины на вершину, выворачивало наизнанку, превращало в подобие адского хохота, иногда — гигантского мяуканья.

Капитан Штольберг испытал глубокое удовлетворение оттого, что он не имел права ввязываться в бой, поскольку был посланцем со специальным поручением от генерала Мантейфеля к оберстгруппенфюреру Дитриху. Надо полагать, и шофер почувствовал облегчение, когда капитан приказал двигаться на север, в обход невидимого боя.

Честное слово, можно было подумать, что в штабе Дитриха ждали Штольберга! Конечно, это невозможно, ведь нормальной связи сейчас нет. А то, что никакого удивления при виде Штольберга на лице Битнера не выразилось, следует приписать исключительно профессиональной выдержке гауптштурмфюрера.

Зато Штольберг при виде Биттнера не удержался от шумного удивления даже с оттенком, представьте, некоей радости, словно он вдруг забыл все то злое, что ему причинил этот человек, — так приятно было капитану увидеть знакомое лицо в этом мрачном воинском соединении.

Удивил Штольберга и сам штаб армии. Не только никакого оживления, свойственного армейским штабам в любой час суток во время наступления. Здесь царило какое-то жуткое спокойствие, как в морге. Лежал какой-то офицер, растянувшись на скамье и накрывшись с головой шинелью, из-под которой доносился сочный храп. Дремал телефонист возле своего безмолвного аппарата. Только Биттнер бодрствовал: он был дежурным по штабу. Да и то сказать, подозрительное красное пятно на мятый щеке да растрепанные волосы наводили на мысль, что и он только что кемарил на ковровом диване, стоявшем у стены. Не спали только два рослых эсэсовца, сидевшие по обе стороны двери, видимо охранники.

— Обергруппенфюрер Дитрих? — спросил Штольберг, кивнув в их сторону. — Доложите, что к нему специальный порученец из Пятой танковой армии с личным посланием от генерала Мантейфеля.

Биттнер покачал головой:

— Здесь начальник штаба генерал Крамер. Партайгеноссе Дитрих у себя. И до утра вы его не увидите.

— Тогда хоть к генералу Крамеру.

— Это бесполезно. К тому же он спит.

Биттнер растолкал спавшего на скамье офицера. Тот вскочил, белокурый, розовощекий, похожий на девушку, и устремил на Биттнера вопрошающий взгляд.

— Останешься за меня, Курт, — сказал Биттнер. — Я пойду устрою капитана на ночевку.

В это время раздвинулись брезентовые полотнища, свисавшие над дверью на манер портьер, и между ними просунулось бугристое, с отвислыми щеками, бульдожье лицо генерал-полковника Зеппа Дитриха. Глаза его уставились на Штольберга.

— Откуда этот тип? — прохрипел он.

Биттнер и Курт с удивлением переглянулись. Это были первые слова, которые оберстгруппенфюрер произнес за последние два дня. После тяжелых неудачных боев за Мальмеди он замкнулся в мрачном молчании.

Штольберг щелкнул каблуками и отбарабанил:

— Капитан Штольберг из Пятой танковой. Прибыл из штаба генерала Мантейфеля для установления связи.

Дитрих молчал. Он не сводил со Штольберга глаз, красных, словно от бессонницы или после перепоя. Молчание это начинало беспокоить Штольберга. Чтобы забить его, он заговорил приподнятым тоном, рядясь под бодрого, молодцеватого офицера непобедимой гитлеровской армии:

— Следовал к вам через Мальмеди, видел там следы ваших мощных ударов. И далее через Ставло, захоластная деревушка, замерзший ручей, гигантские склады американского горячего...

И неожиданно, но не меняя бодрого тона:

— ...к которым вы, к сожалению, опоздали.

Резким движением Дитрих распахнул брезентовые портьеры и вышел наружу, коротконогий, брюхастый, с угрожающим боксерским наклоном широких плеч.

— Ты ему объяснил?— спросил он Биттнера.

Биттнер повернулся к Штольбергу:

— У вас неточная информация. Была выброшена в тылу противника штурмовая парашютная группа у Высокого Венна под командованием фон дер Хейдте. Парашютисты...

Дитрих его перебил. Слова с натугой продирались сквозь его жирное пропитое горло:

— Эти вонючие десантники!...

— Так точно! — все так же молодцевато отчеканил Штольберг. — Но и ваши танки не сумели прорвать передний край противника и поддержать парашютистов.

Дитрих с некоторым недоумением посмотрел на Штольберга. Этот капитан, в общем, понравился ему своим бравым видом. Простоват, но, видать, отличный строевик. Надо будет переманить его от Мантейфеля к нам в армию, будет ладный эсэсовец.

— Ты понимаешь, капитан, — сказал он доверительно, — это Мальмеди напичкано такой дрянью! Немцы! Но я бы их всех перевешал. Их же отхватили в Германии после первой мировой войны и присоединили к Бельгии, потому что эти сволочи забыли, что они немцы, и не захотели вернуться к Германии. Я бы их, сколько их там есть — двадцать или тридцать тысяч, — я бы их перевешал. Специально задержался бы ради этого на денек.

Штольберг никогда до этого не видел генерал-полковника Зеппа Дитриха. Сейчас он разглядывал его почти с научным интересом, как безупречное воплощение фашистского безумия. Капитан не чувствовал никакого страха перед ним. Он сказал, вспомнив наставления Мантейфеля и подделываясь под стиль генерал-полковника:

— И вы поперли на Сен-Вит и четыре дня там канючили и не могли выбить этих сопляков — Седьмую бронетанковую бригаду американцев?

— Да, — подтвердил Дитрих, — вот уж поистине мир не видел таких сопляков, как американцы. Лавочники! Им подтяжками торговать, а не воевать. Но Монтгомери еще больший сопляк, чем они!

«Зачем я сюда приехал... — устало подумал Штольберг. — Ведь это чудовище ничем не проймешь. Кроме того, его армия просто не профессиональная. Надо его вывести из себя, надо его взорвать».

— Ваше наступление, — сказал он, — захлебнулось еще восемнадцатого декабря. И вы своим левым флангом не обеспечили наш правый, из-за чего он отступил.

Дитрих хватил кулаком по столу:

— Какой дурак наплел это Мантейфелю?! Мне фюрер лично сказал: «Вперед, только вперед, не обращая внимания на фланги!»

Штольберг тоже невольно повысил голос:

— Вы сейчас прете без всякой подготовки и предварительной разработки. Вы уперлись лбом в американцев, которые подтянули с севера свежие дивизии. Фюрер делал ставку на вас. Но сейчас главная роль в наступлении перешла к нашей армии, к Пятой. Она уже достигла Мааса.

— Врешь! — крикнул Дитрих.

Штольберг снова испытывал двойственное чувство: с одной стороны, он был рад поражению Гитлера, с другой — он гордился успехами своей родной Пятой армии.

— Да, — упрямо повторил он, — к Пятой. Ведь по плану фюрера «Wacht am Rhein» именно вы, оберстгруппенфюрер, должны были на седьмой день наступления, то есть двадцать первого декабря, выйти к Антверпену. А вы все еще копошились в горах...

Неизвестно, что еще натворил бы он в своем раздражении, если бы голос его не был заглушен Дитрихом:

— Убрать это дерьмо!

Штольберг оглянулся, чтобы увидеть, к кому относятся эти слова. Охранники уже были возле него. Биттнер остановил их:

— Я сам его уберу.

И обратившись к еще не исчезнувшей спине Дитриха:

— С вашего разрешения, оберстгруппенфюрер, я сам займусь капитаном.

Дитрих откинул портьеру и скрылся в кабинете.

Штольберг думал, шагая в темноте за Биттнером: «Я ему для чего-то нужен, и он не хочет ни с кем делить меня...»

Биттнер кинул на койку серое солдатское одеяло и твердую диванную подушку.

— К сожалению, не могу вам предложить ничего лучшего, Штольберг.

Штольберг решил помалкивать. Зная за собой невоздержанность в речи, излишнюю откровенность, неумение хитрить, он решил не ввязываться в разговор. А завтра чуть свет пуститься в обратный путь, ибо он считал свою миссию выполненной. Положение ясное: 5-й армии нечего надеяться на помощь 6-й. Это эсэсовское сборище даже не заслуживает названия регулярной армии, хотя оно щедро снабжено техникой. Теперь Штольберг был озабочен только одним: как ему ускользнуть от подозрительной заботливости Биттнера.

Тот между тем поставил на стол две зажженных свечи, бутылку вина, стаканы и широким жестом радушного хозяина пригласил Штольберга за стол.

— Так еще можно жить, Штольберг, а? — сказал он, заговорщицки улыбаясь. И, сделавшись серьезным, вздохнув, сказал: — Что такое жизнь, мой дорогой? Задумывались ли вы над этим?

«Внимание! Он настроен философски. Жди неожиданного удара в пах», — подумал Штольберг и ничего не ответил, а только соорудил неопределенно-задумчивую мину.

Видимо, Биттнер счел это достаточным ответом и продолжал:

— В сущности, жизнь — это сумма поглощений и выделений. Нет, нет, Штольберг! (Хотя тот и не помышлял возражать.) Нет, я не материалист. Я — верующий.

Штольберг не выдержал и пробурчал:

— Верующий циник...

Биттнер посмотрел на Штольберга с мягким укором:

— У вас нет бога, Штольберг.

— А у вас? — спросил Штольберг.

— Я католик.

— А! Значит, у вас, — сказал Штольберг запальчиво (может быть, этому способствовало пахучее, чуть сладкое вино, которое они медлительно потягивали), — значит, у вас, Биттнер, н а р у ж н ы й б о г.

— Что это значит? — удивился Биттнер. — Это какое-то новое теологическое понятие.

Штольберг сказал с жаром, забыв о своем похвальном намерении не втягиваться в разговор:

— Тот, у кого нет бога внутри себя, создает себе бога вне себя. И на этого наружного бога все валит. Очень удобно!

Биттнер секунду молчал, пристально вглядываясь в Штольберга, словно видел его в первый раз, потом рассмеялся:

— Остроумно, черт возьми! — Он отхлебнул вина и сказал ласково: — Как это все-таки здорово, Штольберг, что два мыслящих человека могут обмениваться идеями даже посреди этой кровавой суматохи.

Штольберг и сам почувствовал, что ему доставляет удовольствие это интеллектуальное фехтование. Он даже несколько расположился к Биттнеру и сейчас взирал на него не без приязни: «Плут, но не глуп, подловат, но не бездарен...» И тут же ему стало противно и стыдно. «Как кошка, которую почесывают за ушами», — подумал он о себе и сказал резко:

— Пора спать.

Он задул свечу и разлегся на койке спиной к хозяину, сунув под голову диванную подушку, твердую, как ружейный приклад.

Биттнер со свечой в руке склонился над ним.

— Ну, ну, Штольберг, — сказал он. — Не дуйтесь на меня. Вы считаете меня представителем власти. А между тем я в первую голову представитель самого себя. Э, да вы уже спите...

Он пошел в соседнюю комнату, держа свечу перед собой. И бывший снизу свет резкостью теней и бликов делал его лицо как бы скульптурным — с лиловыми подглазьями, фюрерскими усиками и двумя глубокими склад-

ками жестокости, шедшими от углов рта к журавлиной шее.

Штольберг лежал в темноте с открытыми глазами. Он старался дышать глубоко и мерно, так, как, по его мнению, дышат спящие. Он ждал. Он заметил, что Биттнер оставил приоткрытой дверь в свою комнату. Вот наконец Биттнер затушил свою свечу. Потом послышалось его ровное похрапывание. Штольберг подождал еще немножко, потом вынул из кармана танкистский фонарик «даймон» и включил зеленый свет. Потом полез за пазуху и достал тоненькую тетрадь, девственно чистую, еще не начатую. Основной дневник хранился в чемодане, который остался в его автомашине. Бесшумно присел он за стол и принялся писать. Писал торопливо, короткими фразами, иногда сокращая слова или оставляя для скорости одни согласные буквы.

ИЗ ДНЕВНИКА КАПИТАНА ШТОЛЬБЕРГА

23 дек. В ставке ком-щего 6-й. Обстановочка! 2 эшлн: в I — 67-й арм. корп. и 1-й танк. корп., во II — 2-й танк. корп. По моим наблюд., эшлны перепутались. Бардак! Чтоб не забыть: по дороге сюда обогнул бой — группа обер-л-нта Вайнерта, я с ним недавно сцепился у моста — против партзн, — численность не выясн. Вайнерту придан 1-й баталь. из нашей 5-й. Не завидую нашим ребятам, влипшим в СС. В ставке круп. разг. с Дитр. Харктр правтля разлвается по стрне. При Вилг. 2-м были в моде закр. кверху усы. Теперь — кустики под носом. Коварство и угодливость. Чванство. Культ силы. Бездств. мысли. Грмния развр. дктурой и отсут. глснсти. Кмплкс неполноц. — могуч. двигатель крьеризма. Его два телохрнитля: беспринципность и жажда нжвы. Зепп Дтрх — удешевл. изд. Гит. . .»

Глаза слипались. Перо выпало из рук. Штольберг гримасничал, чтобы отогнать сон. Но веки тяжелели и сладкая истома все больше разливалась по телу. Незаметно для себя он заснул тут же за столом.

Вдруг он ощутил нечто вроде толчка в голову, точно кто-то щелкнул по лбу, но изнутри, из глубины его существа. Он открыл глаза. Над ним стоял Биттнер. Штольберг быстро захлопнул тетрадь. Биттнер улыбнулся и сказал:

— Так, значит, Дитрих — это удешевленное издание Гитлера? А вы знаете, фюреру может понравиться это выражение. И возможно, он обратит на вас свое благосклонное внимание.

Биттнер присел на край койки и, держа в руке свечку, продолжал:

— Конечно, фюрер — сверхчеловек, не правда ли, Штольберг? Но сверхчеловек иногда решает быть просто человеком. Он спускается с блистающих ледяных вершин власти, и вот он среди нас, и по жилам его побежало человеческое тепло, он такой же обыкновенный, такой же рядовой, как все мы. На время, конечно.

Капля с оплывающей свечи упала на руку Штольберга. Он не шевельнулся, притворяясь спящим. Тихий голос Биттнера и вправду действовал на него убаюкивающе.

Когда Биттнер наконец ушел, Штольберг заказал себе проснуться в пять утра. Физиологические часы его действовали безотказно: он проснулся затемно. Прислушался. Из комнаты Биттнера деликатное мерное похрапывание. Сквозь обледенелые окна стал пробиваться рассвет, заполняя комнату сумеречным мерцанием. Штольберг встал, на цыпочках пошел к дверям. Они оказались закрыты, ключа нет...

Штольберг подошел к окну. Как удачно, что первый этаж! Стараясь не делать шума, он принялся отворять окно.

— Воздушка захотелось, Штольберг? — раздался голос позади.

«Как он, однако, тихо ступает», — подумал с досадой Штольберг.

— Мне пора, Биттнер.

— Так ведь часовой снаружи все равно не выпустит вас.

— Почему?

— Разве вы не понимаете, что вы находитесь под арестом? Покуда домашним.

STRASTOTERPIETS

Бой, гул которого Штольберг накануне слышал, пробираясь в эсэсовскую армию, к вечеру стал стихать, а ночью и вовсе прекратился.

Оберштурмфюрер Теодор Вайнерт объявил это своей победой. Он хотел уверить в этом не только своих солдат, но и самого себя.

Его группа вместе с батальоном, приданным из 5-й армии, насчитывала около тысячи человек.

Неудачи преследовали оберштурмфюрера. Начать с того, что он не умел определиться на местности и, в общем, не знал, где находится. После того как его группу изрядно пощипали в районе Вьельсальма, он подумал, не взорвать ли ему свои танки и самоходки и пешком пробираться обратно в Монжуа. Сейчас он кружил среди каких-то неопознанных гор. Он был растерян и озлоблен. В этом состоянии озлобления он приказал расстрелять группу пленных американцев, которых он таскал в своем обозе как живые трофеи. Он распорядился, чтобы эту экзекуцию произвел взвод из батальона 5-й армии. Робкие возражения лейтенанта Гефтена, заменившего убитого командира батальона, он встретил истерической руганью, столь принятой и эсэсовской среде:

— Бойтесь, чтоб ваши чистюли не замарались? Кто вы такие, в конце концов, черт побери? Солдаты великой Германии или портовые девки из притонов на улице Репербан?! Еще одно слово возражения, лейтенант, и я вас арестую за неповиновение в боевой обстановке!

Гефтен смирился. Он помог Вайнерту сориентироваться по карте, удивляясь в душе его невежеству:

— Мы находимся на территории великого герцогства Люксембург. Юго-восточнее пункта Труа-Пон. Река, которая под нами, это Сальм.

— Я так и думал, — важно проговорил Вайнерт. — Стало быть, Бастонь...

Он сделал вид, что ищет пункт на карте, в которой он ничего не понимал, — какие-то цветные загогулины, от которых рябит в глазах.

— Бастонь? — позволил себе удивиться лейтенант.

— Да, нам надо в Бастонь.

И, наклонившись к Гефтену, шепотом, словно сообщая ему важную тайну, сказал:

— Там сосредоточиваются наши обе армии...

Ребята из 5-й армии держались особняком, не якшались с эсэсовцами. Не все, впрочем. Например, Вилли то

и дело сматывался в расположение 6-й. Приносил оттуда новости:

— Ну, ребята, теперь уже недолго ждать, когда появится «вува». Там в Шестой толкуют, что это может быть со дня на день.

«Вувой» называли вундерваффе, то есть «чудесное оружие», обещанное Гитлером и долженствовавшее принести Германии мгновенную победу.

Солдаты молча слушали, иные с мрачным недоверием, другие, как, например, ближайший друг Вилли, маленький танкист Иоганн, — да, в общем, и не только он, а большинство, — с радостной надеждой. Чем больше Германия терпела поражений на фронтах, тем более они цеплялись за сладостную легенду о «вуве».

— Ну, а как у них там насчет жратвы? — осведомился Иоганн.

— У них паек будь здоров! — говорил Вилли.

Однако скоро все сравнялось. К пронзительной морозной сырости, к волчьему вою слепящих метелей со снежными обвалами прибавилось недоедание.

Давно уже не было горячей пищи. Да и консервы кончились. Последние дни только и было что печенье да шнапс.

Приуныл и этот жуткий весельчак Вилли. Он ворчал и все приставал к близнецам, которых считал наиболее образованными во взводе:

— Ну и загнали же нас в эти чертовы горы! Где мы, ты понимаешь? В какой стране, я вас спрашиваю? Что это — Бельгия? Голландия? А может, Люксембург? Государства, с позволения сказать, как заплаты на заднице, плюнуть некуда, крохотные, как вши. То ли дело Россия! Помните, ребята? Прешь, прешь, и краю не видно! А какие куры, какие поросята! А девки какие, а?

Расстрел американцев был назначен на раннее утро. Выдалось оно безветренным. Солдаты с беспокойством поглядывали на небо: не развиднелось бы! Налетят — от нас один кровавый паштет останется. Но все было хмуро. А главное, партизаны не проявляли признаков жизни. Разведка не обнаружила их поблизости. Во всяком случае, было тихо. «Подозрительно тихо, — как сказал Иоганн. — Ой, не нравится мне это, ребята, партизаны здесь как дома, им известна каждая тропа». Но, в общем, оберштурмфюрер решил, что партизаны ушли. Он

самолично обозрел местность в полевой бинокль. Безлюдно, бело, безмолвно. Он снял сторожевое охранение, он хотел, чтобы все присутствовали на зрелище расстрела. Он считал, что соучастие в кровавом деле закаляет людей.

Вскоре вся группа выстроилась вокруг площадки над обрывом. Привели пленных и выстроили в одну шеренгу спиной к обрыву. Против них тоже шеренгой стал взвод из 5-й армии, вооруженный автоматами. Почему-то с раздражавшей людей педантичностью лейтенант Гефтен принялся выстраивать их по ранжиру. А впрочем, может быть, просто для того, чтобы оттянуть время. Близнецы, как самые высокие, оказались на правом фланге. Хорст шепнул Гельмуту:

— Мы не будем стрелять...

Гельмут ничего не ответил. Но когда лейтенант поравнялся с ними, он сказал шепотом, почти не шевеля губами:

— Пожалуйста, освободите Хорста от этого.

Лейтенант ответил так же тихо:

— Не дури. Это нас скомпрометирует в глазах оберштурмфюрера. А может быть, даже погубит.

Вайнерт, который стоял в некотором отдалении, крикнул:

— Разговоры в строю!

Потом он скомандовал:

— Положить автоматы к ногам!

Хорст вздохнул с облегчением. Значит, все это игра! Инсценировка! Все сняли с груди автоматы и положили их к ногам.

В это время эсэсовский унтер, или как там его — шарфюрер, подкатил на салазках новенькие автоматы и принялся раздавать их. «Зачем?» — недоумевал Хорст, принимая оружие, еще жирное от смазки.

Вайнерт прошелся вдоль шеренги своей пружинистой походкой, похлопывая шлагом по сапогу.

— Будете стрелять из новых автоматов, — сказал он. — Предупреждаю: каналы стволов чисты. После экзекуции будет проверка. Проверю собственноручно.

Отошел. Вилли подмигнул и прошептал:

— Собственнносно.

Хорст понял: если кто-нибудь уклонится от стрельбы, чистый канал ствола его выдаст.

Он шепнул брату:

— А все-таки я не буду стрелять.

— Если ты не будешь стрелять, — шепнул в ответ Гельмут, — так и я не буду. И тогда мы оба пропали...

Хорст старался не смотреть на американцев. И все-таки против воли с мучительной напряженностью вглядывался в них. Вот довольно пожилой, с серебристой щетиной на лице. Он удивительно спокоен, этот американец. Он, наверно, не верит, что мы будем стрелять, он считает все это комедией, блефом, поугаают и отпустят.

Рядом юноша с повязкой на голове, с широко раскрытыми глазами — невозможно поверить в свою смерть. Взгляд юноши столкнулся со взглядом Хорста. «Не буду стрелять...» — еще раз подумал он. В это время раздалась команда, и палец Хорста непроизвольно нажал на спусковой крючок.

Он увидел, как юноша схватился за живот и упал.

Они все упали. Один из них скатился в обрыв и побежал, оставляя кровавые следы. Тотчас за ним ринулся Вайнерт и на бегу стрелял по нему, как если бы этот американец был просто живностью, чем-то движущимся, трепещущим, что надо сделать неподвижным.

Вернувшись, Вайнерт сделал, как предупреждал: перенюхал все автоматы и удовлетворенно кивнул головой.

Гельмут тревожно поглядывал на брата. Хорст делал все, что другие, — грыз галеты, чистил оружие, строил укрепление из льда и бревен. Но появилась странная машинальность в его движениях. Он молчал. Спрашивали — он отвечал односложно. Не обращались к нему, он сам ни с кем не заговаривал. И Гельмут обрадовался, когда Хорст вдруг заговорил. То, что он сказал, ужаснуло брата.

— Убежим, — сказал Хорст.

Гельмут испуганно оглянулся:

— Ты с ума сошел! Куда?

— К партизанам. Они тут, в лесах. Доберемся до них.

Он умоляюще посмотрел на брата.

— Но ведь если ты будешь у партизан, — сказал Гельмут, — тебе тоже придется убивать. На этот раз — немцев, своих братьев по крови!

Хорст посмотрел на Гельмута с сожалением:

— Братьев? Разве эти убийцы мне братья?

— Но я твой брат!

— Ты уйдешь со мной.

Гельмут покачал головой:

— Нет, я не хочу стать дезертиром. Это бесчестно. Я присягал на верность фюреру.

— Ты все еще веришь ему?

— А если и не верю? Все равно я присягал. Присяга есть присяга.

Хорст помолчал. Потом сказал:

— Рухнула моя вера, рухнула моя присяга...

Он потер шрамик над бровью, там начинало зудить, когда Хорст волновался.

Первые выстрелы раздались около полудня. Вайнерт метался по всей площадке, не понимая, откуда стреляют. Вскоре показались цепи партизан, редкие, но всюду. Кроме юго-западной стороны. Слишком уж крут был здесь склон горы.

Лейтенант Гефтен принялся устанавливать круговую оборону. Вайнерт бегал за ним и повторял его распоряжения. Ему казалось, что командует именно он. Короткоствольные противотанковые пушки, курносо торчавшие из снеговых укрытий, стали прямой наводкой бить по наступающим цепям. Партизаны отвечали из минометов. Снежная пыль носилась в воздухе как туман, застилая видимость.

Вилли ругался:

— На кой черт мы таскали все эти пушки и базуки, если у партизан нет танков!

Он схватил пригоршню снега и обтер покрытое копотью лицо.

Иоганн лежал рядом и строчил из пулемета. Гильзы валились на снег. Ему вспомнилось, как в тылу на учениях надо было отчитываться за каждый отстрелянный патрон и как люди дрожали от страха, что вдруг затеряется какая-нибудь гильза. Он подумал, как мало давали солдатам эти полевые учения для настоящих боев вроде этого.

Хорст подносил снаряды. Все-таки он не стрелял. Но он понимал, что лжет самому себе. «Да, я не убиваю, но я помогаю убивать...»

Вайнерт решил покинуть поле боя. Отличный предлог: затребовать подкреплений из Сен-Вита. Известно, как скупы на это наши военачальники. «Но если кто-ни-

будь и может вырвать у Дитриха подкрепления, так это я».

Он распорядился подвести бронетранспортер к юго-западной оконечности. С этой стороны обрывалось полукружье наступающих. Крутизна казалась непреодолимой. Конечно, это отчаянное решение, но Вайнерт уверил себя, что он действительно отправляется за подкреплением, что это главная и единственная цель, ради которой он покидает поле боя. Он считал, что бронетранспортер сумеет на большой скорости проскочить по крутому склону, что сама скорость придаст ему равновесие и не позволит опрокинуться.

Чтобы отвлечь внимание партизан от юго-западного прохода, Вайнерт приказал провести вылазку на северной стороне. На это ложное нападение он направил два взвода из батальона 5-й армии, зная, что жертвует ими, ибо передние шеренги нападающих будут наверняка скошены шквальным огнем партизан. Повезло Вилли и Иоганну: их как танкистов Вайнерт забрал с собой в бронетранспортер на случай, если забарахлят гусеницы.

Первый взвод весь полег. Но второй, наступавший следом, сумел ворваться в расположения партизан. Завязался рукопашный бой со взводом Брандиса. Стороны так перемешались, что ни немецкая артиллерия, ни минометы партизан не могли вмешаться в схватку. Стреляли почти в упор из автоматов, дрались прикладами, кинжалами.

Майкл не стрелял. Когда он увидел, что рядом с ним упал Жан с развороченным черепом, он содрогнулся. Он не хотел участвовать в этом. В то же время он не хотел оставаться позади, чтобы не подумали, что он трус. Всю силу своей натуры он сосредоточил на том, чтобы воздержаться от того, что он называл насилием.

Он пробрался вперед и лег за снежным бруствером, который сам нарыл. Он закрыл глаза, чтобы не видеть, как люди убивают друг друга. Но тут же открыл их, чтобы не подумали, что он притворяется мертвым. Рядом с ним оказался Амедей. Он навел автомат на немца, убившего Жана. Автомат чихнул и отказал. Амедей ругнулся и бросил его на землю.

— Возьми мой, — сказал Майкл.

— А ты?

Майклу не хотелось признаваться, что он все равно

решил не стрелять. Он вынул из кармана маленький трофейный «вальтер»:

— С меня хватит и этого.

Амедей взял автомат и побежал за немцем. Ужас объял Майкла, когда он увидел, как Амедей окатил немца длинной очередью, которая почти перерезала его пополам. Майкл закрыл глаза и стиснул зубы. Он машинально сжимал в руке свой игрушечный «вальтер». Он до сих пор не выпустил из него ни одной пули. Он не ощущал страха. Только — отвращение и желание, чтобы все скорее кончилось. Кто-то потряс его за плечо. Он оглянулся. Это был Брандис. Он прокричал Майклу на ухо:

— Убивай — или тебя убьют!

В это время перед Майклом внезапно вырос немец. Может быть, потому что Майкл лежал, он показался ему огромным, грузно нависающим, широкоплечим малым с большим бледным лицом, со шрамом над бровью. Майкл вскочил и, не помня себя от страха, выпустил в немца обойму из своего «вальтера». Немец рухнул.

Между тем бронетранспортер с Вайнертом благополучно ускользнул. Увидев это, лейтенант Гефтен приказал выкинуть белый флаг.

Немцы сдавались. Эсэсовцы поспешно сдирали с петлиц эмблемы — две маленькие молнии.

Урс приказал никого не трогать и отрядил часть своей группы, чтобы отвести пленных в партизанский район высоко в горах, недоступный для противника.

Партизаны с трудом оторвали Гельмута от тела его брата.

— Вы не знаете, кого вы убили! — кричал он. — Он святой! Он шел в бой без оружия! Вы убили ангела!

Осборн взял Майкла за руку и сказал снисходительно:

— Ты ловко уложил твоего боша. Для такого растяпы, как ты, это прогресс.

— Сожалею об этом, — сказал Майкл, вырывая руку.

— Брось дуться на меня. И не кривляйся. Ложь тебе не к лицу.

Майкл вспыхнул. Он с трудом подавил в себе желание ударить Осборна. Слезы подступили к его глазам.

— Я не лгу. Я считаю, что ложь и насилие — сестры. Ибо что такое ложь, если не насилие над правдой.

Он резко повернулся и зашагал вдаль.

Осборн, раздосадованный, сказал Урсу, который стоял невдалеке и покуривал трубку, с интересом наблюдая эту сцену между американцами:

— Отправь парня с пленными. Ему нечего делать тут с нами. Он не боец.

— Он боец, — сказал Урс. — Но не в этом суть. Он страстотерпец.

Это слово Урс сказал по-русски.

— *Strastoterpiets?* — повторил с трудом Осборн. — Что это значит?

— Боюсь, что в английском языке нет равнозначущего понятия. Мученик, что ли. . . Да нет, не то. Мученик может быть и жертвой насильников. А страстотерпец — это добровольный мученик. Ради идеи. Это человек, принявший на себя страдания для блага близких.

— Добровольный мученик? Что же, значит, мучения доставляют ему своеобразное наслаждение? Я слышал о таких. Мы их называем мазохисты. Попросту психи.

— О нет! Страстотерпец не испытывает наслаждения. Ему так же больно и тяжело, как любому другому страдающему человеку. Но он идет на эти страдания ради спасения других. Он преодолевает страх перед физическими муками своей духовной силой. Понимаешь?

— Откровенно говоря, нет.

— Так. . . Что ж, может быть, это наше, чисто русское понятие. . .

— Да при чем тут русское! Майкл — американец.

Урс огладил бороду и сказал задумчиво:

— Это только подтверждает мое старое убеждение, что русские и американцы похожи друг на друга.

СУМАТОХА СРЕДИ ПОВАРОВ

Каждое утро, только проснувшись, приподняв над подушкой отекавшее лицо с набухшими подглазьями, Гитлер прежде всего осведомлялся:

— Бастонь взята?

Всей силой своего существа он жаждал услышать: «Да! Взята!» Сам того не сознавая, он посылал Йодлю мысленный приказ: «Да! Взята!»

Йодль отвечал, виновато разводя руками — хотя вся его вина в том, что он вынужден сказать фюреру: «Еще

нет...» — и уже вследствие этого одного принять на себя часть его гнева.

С помощью хлопотавших вокруг него камердинера Линге и врача Морелля, впрыснувшего ему утреннюю порцию допингового настоя, Гитлер одевался, умывался, брился, не переставая обсуждать положения с Бастонью. Этот люксембургский городок сделался его пунктиком, как два года назад — Сталинград.

— Окружение закончено?

— Почти, мой фюрер.

— «Почти» на войне не бывает, Йодль. Бастонь должна быть блокирована немедленно. Надо захлестнуть американцев этой петлей. Они народ малахольный, быстро выдохнутся и капитулируют. Достаточно ли у Мантейфеля сил для полной осады?

Пока в Йодле боролись царедворец и генштабист и он раздумывал, что в данной ситуации выгоднее ответить, Гитлер сказал:

— Надо поменять местами Пятую и Шестую армии. Зепп Дитрих со своими парнями давно бы вырвался в Бастонь.

Йодля ужаснула эта мысль. Он воскликнул:

— Я узнаю в этом полководческий гений фюрера! Мой долг при этом предупредить, что в данный момент передислоцирование армий не лишено риска.

— Пожалуй, — неохотно согласился Гитлер. — Но кое-что мы можем сделать: например, дадим Мантейфелю две танковые дивизии из Шестой армии. Подготовьте приказ.

Принесли кофе. Кофейник, сахарница и все прочее оставались на подносе. Но чашка с дымящимся кофе была поставлена прямо на сверкавший лаком стол, и притом, как любил Гитлер, точно на круглый след от тех чашек кофе, который вкушал еще Наполеон. Гитлер распорядился этот исторический след не затирать лаком.

Информацию о 5-й армии Йодль приберег на сладкое.

— После взятия Уффализа, — доложил он, — части Пятой армии быстро продвигаются к переправам на Массе, и сейчас передовой отряд Второй танковой дивизии находится в пяти километрах от Динана.

— Ну а как на это реагирует старый копун Монтгомери? — спросил Гитлер улыбаясь.

— Фельдмаршал Монтгомери... — сказал Йодль.

Йодль не подхватил эпитета, которым Гитлер сопровождал имя Монтгомери, вовсе не из корректности, а потому, что неприличные словечки являлись здесь, в ставке, привилегией одного фюрера. Он считал их проявлением сильной личности. Он вычитал где-то у Сегюра или Стендаля, что и Наполеон не чуждался крепких выражений. Во всяком случае, необузданная натура Гитлера испытывала от этого удовлетворение.

— ...фельдмаршал Монтгомери, — сказал Йодль, — как показывают пленные, так напуган нашим наступлением, что решил отходить к Дюнкерку, заслонившись Тридцатым армейским корпусом по реке Маас.

Гитлер засмеялся и в добром настроении распорядился начать прием.

— Кто там сегодня?

— Фельдмаршал Рундштедт и генерал-полковник Гудериан, — ответил адъютант генерал Бургдорф.

— Гудериана.

Бургдорф подавил удивление, вызванное этим нарушением субординации, скользнул к дверям мягкими, кошачьими адъютантскими шажками и через минуту ввел генерала Гудериана.

Все еще под влиянием утешительных известий об успехах 5-й армии, Гитлер приветствовал Гудериана с удивившей того теплотой. Фюрер не очень жаловал этого ершистого генерала. Карьера его была полна резких скачков. Командующий 2-й танковой армией Гудериан был смещен после поражения в России. Фюрер заткнул его в резерв чинов, оттуда выудил на должность генерал-инспектора танковых войск, где он мог пригодиться как опытный специалист. А в 1944 году, после покушения на Гитлера 20 июля, когда выяснилось, что в заговоре замешаны высшие чины армии, такие, как генерал-фельдмаршал Роммель, генерал-фельдмаршал фон Витцлебен, генерал-полковник Бек и ряд других, Гудериан, как непричастный к заговору, после кровавой расправы с заговорщиками был назначен начальником генерального штаба.

— Ну, Гудериан, вы уже знаете, что наши кони пьют воду в Маасе?

— Да, мой фюрер, это замечательно... Мы будем молиться о том, чтобы тактический успех оказался стратегическим.

Гитлер нахмурился. Эта скользкая формулировка ему

не понравилась. Он потерял желание разговаривать с Гудерианом. Но он знал, что не так-то легко от него отделаться: Гудериан славится своим поистине выдающимся упрямством.

— На Восточном фронте по-прежнему спокойно, — проговорил Гитлер отрывисто.

Это был не вопрос, это было утверждение. Оспаривать утверждение Гитлера считалось бестактностью, притом небезопасной.

— Да, спокойно, — сказал Гудериан. И после небольшой паузы: — Пока.

Гитлер поднял брови.

— Я хочу сказать, мой фюрер, что инициатива находится в руках русских.

— То есть?

— На Восточном фронте будет спокойно, пока этого хотят русские.

Гудериан сознавал, что он занес ногу над пропастью. Однако для этого он прибыл в ставку. У него было предчувствие катастрофы на Восточном фронте. Он знал, что здесь, в ставке, огрубляют факты и прилаживают действительность к своим желаниям. Он хотел добиться переброски войск на восток. Черт с ними, с американцами и англичанами! В конце концов, с ними можно договориться.

Гитлер встал из-за стола, прошелся по комнате, резко остановился против Гудериана. Это были признаки приближающейся бури.

— Неужели вы не понимаете, Гудериан, что раньше весны русские не тронутся!

— Мой фюрер, у меня, — сказал Гудериан, вынимая из портфеля бумаги, — есть неопровержимые доказательства, добытые разведкой, что русские готовят новое наступление. Я считаю неизбежным переброску танковых дивизий Пятой и Шестой армий в кратчайший...

Гитлер не дал ему закончить.

— Кто вам наплел этот вздор? — закричал он. — Русские блефуют! Это величайшая афера со времен Чингисхана! Жуков — мастер дезинформации. Вы попались, как карась, на его наживку. Я не дам отсюда ни одного танка!

Он вернулся за стол и сказал, внезапно, как всегда, переходя от возбуждения к ледяному спокойствию:

— Я вас не задерживаю.

Когда Гудериан был возле дверей, Гитлер сказал:

— Разрешаю взять в Венгрию один танковый корпус из-под Варшавы.

Гудериан звякнул шпорами и вышел, не посмев возразить, что перебрасывать войска из Польши в Венгрию все равно что переносить заплату с одной дыры на другую.

Вошел Йодль и положил перед Гитлером бумагу:

— Мой фюрер, это приказ о переброске двух танковых дивизий из Шестой армии СС под Бастонь.

Гитлер, не читая, размашисто подписал.

— Что у вас еще? — спросил он, указывая на вторую бумагу в руках Йодля.

— Приказ о велосипедистах, мой фюрер.

Гитлер оживился и пробежал глазами приказ:

«Я продолжаю встречать солдат на велосипедах, которые, когда приветствуют господ офицеров, не держат ног сомкнутыми...»

(Одновременно с принятием крупных решений Гитлер вмешивался и в мелкие дела масштаба полка или даже роты или просто семейной жизни граждан. Он и здесь старался подражать Наполеону, о котором он вычитал у Сегюра, что Наполеон в пылающей Москве просматривал присланный ему с курьером из Парижа на его утверждение репертуар театра «Комеди франсез» и вносил свои поправки, которые немедленно отправлял с курьером через всю Европу обратно в Париж. Эту повадку совать свой нос куда попало Гитлер называл: «Всеобъемлющий ум!»)

«...Это явное нарушение приказа о чинопочитании, — продолжал он читать, — во всех тех случаях, когда велосипедист едет свободным ходом и не в гору. На нарушителей приказываю налагать строжайшее дисциплинарное взыскание».

Снова жирно и с удовольствием подписал.

Вошел Рундштедт. Семидесятилетний фельдмаршал держался прямо и был легок в движении, как юный курсант.

Гитлер пошел к нему навстречу с протянутой рукой. Сведения об успехах 5-й армии все еще держали его в радостно-приподнятом настроении.

— Извините, что задержал вас. Когда на плечах вся

империя, маленькие отклонения от аккуратности прости-
тельны, не правда ли?

Рундштедт склонил голову.

— Мне уже доложили о продвижении Мантейфеля, —
сказал он. — Случилось то, от чего я предостерегал. Пред-
видел это и генерал-фельдмаршал Модель, но не посмел
сказать вам.

Гитлер подумал с отвращением: «Эта старая ворона
опять пришла каркать», — но внешне оставался спокоен.

— Продолжайте, господин генерал-фельдмаршал, —
сказал он.

— Наше наступление в Арденнах, вместо того чтобы
разлиться широким веером, вытянулось уродливой черве-
образной кишкой. Сейчас в основание этой кишки уже
начинают вгрызаться с юга Паттон и с севера Монтго-
мери, в подчинение которому сейчас придали Первую и
Девятую американские армии.

— Так это хорошо! — вскричал Гитлер. — Чем больше
эта вонючая маразматическая развалина получит под-
креплений, тем грандиознее будет его разгром. Ведь он
вопиющая бездарность! Ему не армиями командовать, а
сидеть в халате и шлепанцах у камина и вынимать кузи
из носа!

Рундштедт покачал головой:

— Монтгомери доставил нам много неприятностей в
Африке.

— Ах, не говорите мне об Эль-Аламейне! Удар в спи-
ну нам нанесли не люди, а климат.

Рундштедт знал, что Гитлер приравнивает африкан-
ский зной к русскому морозу и этим стихиям, а не про-
тивнику приписывает поражение немецких армий. Знал
и поддакивал в этом Гитлеру. Но сейчас старый фельд-
маршал считал положение слишком серьезным, быть мо-
жет гибельным для армии и империи, и старался своими
старческими руками эту катастрофу задержать.

Гитлер между тем распространялся насчет безобразий
в тылу.

— У нас всякая шваль ходит закутанная в мехах.
А на фронте мои солдаты мерзнут в своих шинельках. Вы-
зовите ко мне Лея! — крикнул он Йодлю. — Это он раз-
вел бардак со сбором теплых вещей для фронта. Я застав-
лю его лично сдирать шерстяные подштанники с разжи-
ревших баб!

— А кроме того, мой фюрер, — продолжал Рундштедт, — мне не нравится подозрительное спокойствие на Восточном фронте. Мой опыт мне говорит, что это — затишье перед бурей. Да не только мой опыт. Того же мнения и генерал Гудериан, а он сейчас, быть может, наш самый лучший оперативный ум...

Гитлер поднял голову и пристально посмотрел на Рундштедта.

— Вы что, сговорились с Гудерианом? — сказал он тихо.

Рундштедт побледнел. «Сговорились» — это пахло виселицей.

Но прежде чем он успел проговорить что-нибудь, Гитлер сказал:

— Я вас не задерживаю.

О эта арденнская кишка, выступающая далеко на северо-запад! Она так уязвима с флангов, и именно об этом Рундштедт попытался предупредить Гитлера. Предупреждал, а все-таки продолжал тянуть кишку все дальше, все глубже на северо-запад... Почему? Ведь он считал это наступление обреченным на провал. Да, но... Они же были связаны одной веревочкой — он и Гитлер. А вдруг выйдет? А? Чудо? А может быть, этот бесноватый сотворит чудо? А? И Рундштедт тянул и тянул арденнский аппендикс все дальше, все глубже на северо-запад...

Танки Мантейфеля действительно стояли у ворот Динана, маленького прелестного городка, который так нравился Брэдли.

Сам Брэдли находился на своем командном пункте в столице великого герцогства Люксембургского — городе Люксембурге. Окна гостиницы «Арлон», где он теперь жил, были крестообразно оклеены бумажными полосами, чтобы не лопаться от обстрела. Немецкие снаряды уже достигали центра. Церковь напротив командного пункта была сегодня разворочена прицельной стрельбой из гаубиц. По-видимому, метили в «Арлон». Брэдли стоял у окна и задумчиво смотрел на распотрошенный храм. Он был расстроен, но, как это ни странно, не успехами противника, а тем, что 1-я и 9-я армии были отняты у него и переданы Монтгомери. Брэдли уподоблял Монтгомери одному из персонажей «Айвенго», а именно Ательстану,

родовитому, но вялому, мелкотщеславному, нерешительному типу. Его, Брэдли, 21-я группа армий теперь, в сущности, состоит из одной 3-й армии. Хороша «группа»!

И все работники его штаба были возмущены этой переброской и, нисколько не скрываясь, вслух осуждали Эйзенхауэра. Впрочем, они решили пренебречь этим приказом и по-прежнему считали 1-ю и 9-ю армии состоящими в подчинении Брэдли. Да и в самих этих армиях так считали. Честер Хенсон, адъютант Брэдли, прямо писал об этом в своем дневнике.

ИЗ ДНЕВНИКА ПОДПОЛКОВНИКА Ч.Б. ХЕНСОНА

«20 декабря. Старик, конечно, в ярости. Из-под него выдернули стул. Что он может с одной 3-й армией Паттона. Да и к тому же с Джорджем Паттоном подчас еще труднее справиться, чем с немцами. Кстати, армия Паттона замусорена черт знает кем! По штатному расписанию ему полагается 801 офицер. На деле у него там до четырех с половиной тысяч офицеров. Это большей частью бизнесмены в погонах, налетевшие на запах жареного в Германии, начиная от совладельца банкирского дома «Диллон и К°» и кончая этим стервятником менеджером похоронного бюро Корнелиусом Ли.

Мы все считаем, что Айк дал маху. Запаниковал, попросту говоря. Ах, немцы под Динаном! Ах, немцы всего в тридцати километрах от Льежа! Ну и перекинул к Монтгомери две наших кровных армии. Конечно, ор был страшный. Брэдли кричал: «В конце концов, кто воюет, черт побери? Мы, которые на европейском театре имеем пятьдесят дивизий, или англичане со своими пятнадцатью?!»

Англичане, конечно, задрали нос: потребовали, чтобы вообще передать Монтти командование всеми сухопутными силами союзных войск. Передают как факт, что сам Монтгомери сказал, что этого требует не только целесообразность военной обстановки, но и прямое указание в Евангелии от Иоанна, где Христос в главе 10-й говорит: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора; и тех надлежит мне привести: и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Это было бы просто комично, если бы Айк не запутался и до того потерял голо-

ву, что запросил Вашингтон. Вообще он шлет за океан Маршаллу, пользуясь особыми, словно бы родственными с ним отношениями, почти как между отцом и сыном, срочные депеши ежедневно, а то и два раза в день. Маршалл, у которого, благодарение всевышнему, голова на плечах, телеграфировал в ответ: «Ни при каких обстоятельствах не делайте никаких уступок англичанам, пошлите их к черту». Так в телеграмме и сказано. Молодец!

Вчера Айк созвал совещание в Вердене, в штабе 12-й группы войск. Он приехал из Версаля в бронированной автомашине. Ну, это его дело. Но вообще развели конспирацию не дай бог! Страшно бояться диверсантов, которые рвут связь на дорогах, сбивают дорожные указатели, режут часовых. Ну и тому подобные детские номерочки.

В общем, собрались мы в нетопленной казарме, набилось нас в этом чулане до черта. Айк склонялся к тому, чтобы остановиться на прочных рубежах, например реках. Но, к счастью, это отвергли, решили наступать главным образом благодаря настояниям Брэдли и Паттона.

20 дек. Мне поручают доставить Монтгомери его новые полномочия и кстати выяснить причины его неуместной медлительности. Отвертеться не удалось. Выехал на север кружным путем в обход Арденн, диверсанты по-прежнему сильно шалят на дорогах.

Англичане называют Монти: «Наш главный». Обожают его. По-моему, главным образом за то, что он не посылает их в бой. Генерал-майор Френсис де Гингал, щеголь, состоящий у него начальником штаба, довольно откровенно выразился об этом после второго стакана доброго шотландского виски с кусочком льда, достать который сейчас, конечно, не проблема. «Великая заслуга старика Монти, — сказал он, — это то, что он бережет английскую кровь. В конце концов, сколько нас на нашем небольшом острове? А вы, Чарли, гигантская страна, в которой до черта напихано народа, притом какого? Всяких там черных, да мексиканцев, да филиппинцев, и прочих не-разбери-каких. А у нас каждый солдат — чистопородный англичанин...»

Ну, я ему, конечно, не спустил! «Вы понимаете, Фредди, что вы расист?» Крупный был разговор. Он ерзал, как камбала на сковороде. Так или иначе, он повел меня в конце концов к «нашему главному», как они его все здесь называют.

Оказалось, что Монти — невысокий старичок с петушиным задиром головы и высоким, почти бабьим голосом. Я увидел его первый раз, когда он стоял перед строем солдат и вопил: «Наши войска самые лучшие, и с божьей помощью мы победим!» Но для того, чтобы победить, подумал я, нужно как минимум сражаться.

Эту мысль я выразил — конечно, в соответствующей дипломатической форме — при первом же свидании с Монти. Состоялось оно на оперативной летучке в комфортабельном прицепе Монти, убранном коврами. Перед началом Монти заявил: «Даю на откашливание две минуты, потом запрещаю кашлять». Поднялось усиленное прочищение носоглоток. Я вытащил портсигар. Меня схватили за руку: «В присутствии фельдмаршала не курят!» Разбирали какие-то мелкие вопросы о снабжении, действительно никто не сморкался и не кашлял.

Летучка кончилась довольно поздно. А так как Монтомери ложился спать рано, я потребовал довольно настойчиво, чтобы он принял меня немедленно, ибо не собирался здесь задерживаться и хотел сегодня же ночью выехать обратно.

Приняли. Думаю, хмурый вид фельдмаршала объяснялся именно этим нарушением его обычного распорядка. Он сидел против меня в стареньком свитере с дырками на плечах от погон, в грубых вельветовых брюках. Не снимал своего знаменитого черного берета, который ему вовсе не полагался по форме. Но Монти кокетлив, этим же объясняются его необычно толстые подошвы: чтоб казаться выше ростом. Конечно, ни сигар, ни стакана джина, ни даже чашечки кофе. Впрочем, потом сержант с чопорной физиономией породистого дворецкого принес два стакана слабого чая. Монти — убежденный чаепийца.

Я передал ему приказ Айка о переходе двух армий в 21-ю группу. Не читая, он сложил его вдвое, вынул из кармана толстую Библию и сунул туда приказ. Де Гинган уже говорил мне, что Монти не расстается с Библией, как Брэдли с «Айвенго». Я не осуждаю его, это дело вкуса.

Я приступил к самой деликатной части моей миссии. Я сказал, что в Верховном штабе союзных войск в Версале удивлены тем, что 21-я группа армий не делает попыток сдержать хотя бы на своем участке натиск Рундштедта.

Монти бесстрастно выслушал меня. Только пощипы-

вал свою правую щеку — признак волнения. Ответ был довольно туманный. Он сказал, слегка гнусая, как всегда, что основная черта его — фельдмаршала Бернарда Лоу Монтгомери — это решительность, любовь к дисциплине и нетерпимость к бестолковым советам.

Последняя «черта» явно метила в меня. Я, должен признаться, рассердился и преподнес ему пилюльку, напомнив, конечно в форме комплимента, о блестящем деле при Кане, который фельдмаршал целый месяц не мог взять даже при мощной поддержке авиации дальнего действия и загубил там британский танковый корпус, поставив под убийственный огонь 88-миллиметровых орудий. Когда он наконец сподобился взять Кан, он получил от Сталина телеграмму: «Поздравляю с блистательной победой при Кане». Можно быть о дядюшке Джо какого угодно мнения, но нельзя отрицать, что в данном случае он проявил высокоразвитое чувство юмора.

Монти проглотил пилюлю, немного сник и стал лопотать что-то о Клаузевице.

Я не замедлил тут же процитировать Клаузевица: «Бой — это платеж наличными».

Мне не хотелось упоминать о провале операции Монтгомери под Арнемом. Мне стало скучно, надоело пикироваться, я понял, что добиться от него обещания наступать я не смогу, и решил, вернувшись, посоветовать нашим, чтобы они обратились к Черчиллю, пусть он убедит Монти запрячь коней и помчаться вперед.

Когда я вернулся к себе, я узнал, что Айк запросил помощи у России. Очевидно, вопросы престижа отступают на задний план, когда тебя бьют.

Конечно, Айк сделал это кружным путем, через Вашингтон. Он отправил телеграмму в Объединенный совет начальников штабов, то есть Маршаллу:

«Если русские намереваются предпринять решительное наступление в этом или в следующем месяце, знание этого факта имеет для меня исключительно важное значение. Я бы перестроил все мои планы соответственно с этим. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы добиться такой координации?»

Что до старика Брэдли, то он, конечно, не преминул мне воткнуть:

— Знаете, Чарли, из вас дипломат, как из дерьма.

Только что мне донесли, что Монтгомери отдал приказ отступить от Сен-Вита...

Ну а при чем тут я? Старiku ничего не стоит обидеть человека походя, между прочим. Охаял меня, а сам развалился в кресле, вынул из кармана толстенную книгу, уткнулся в нее и забыл обо мне. Это, конечно, «Айвенго».

Злость еще бродила во мне, и я сказал:

— И что вы находите в Вальтере Скотте? Он каждого мажет одной краской: Ательстан — обжора, Седрик — праведник, Брин — злодей. И так все у него. Все — однозначны.

Старик посмотрел на меня и сказал:

— Это ничего, я сам однозначен.

Хотелось мне спросить: «Какой же знак у вас, генерал?» И тут же, не дожидаясь его ответа, добавить: «Упорство — это, конечно, добродетель, до тех пор пока она не вырождается в упрямство».

Только я собирался воткнуть ему это, как он поднял голову, и меня поразила его вид — словно он был одержим какой-то неотвязной мыслью. Вдруг он рванул к столу и принялся быстро писать. Я смотрел через его плечо.

«Командующему 1-й армией генералу Ходжесу. Хотя вы уже не находитесь под моим командованием, все же я считаю нужным сообщить, что, по моему мнению, дальнейшее оставление территории на северной стороне арденнского выступа будет чревато серьезными последствиями. Омар Брэдли».

— Вот, — сказал он, — отвезите это Ходжесу. И расскажите ему все о Монтгомери.

Значит, опять в дорогу...»

БАСТОНЬ-I

Сердце Арденн Бастонь как магнит манила к себе обе сражающиеся армии.

С севера с поразительной быстротой, одолевая лесистые кряжи и горные реки, устремился к ней партизанский отряд. Урс миновал не задерживаясь населенные пункты, он почти не делал привалов. Закаленные в длительных переходах, партизаны не чувствовали усталости.

Осборн изнемог. В конце концов его устроили в обозе. Он лежал на мешках с продовольствием в телеге, упряженной двумя мулами. Он до того ослабел, а может быть, разленился, что не смахивал крупинки мерзлой мороси, сверкавшие в его мушкетерских усиках. Иногда он беспокойно искал глазами Майкла. Он хотел, чтобы тот подошел к нему. Что-то тревожное, какая-то тягостная мусть по-прежнему лежала между ними. Но Майкл шагал впереди на своих длинных циркулеобразных ногах, он втянулся в поход и тоже почти не чувствовал усталости. Урс, чтобы подать пример партизанам, отказался от верхового коня, который полагался ему как командиру. Несмотря на свой грузный вес, он шагал посреди отряда.

С запада к Бастони мчалась из-под Реймса из резерва главного командования 101-я воздушно-десантная дивизия. Командовал ею генерал-майор Маколифф, американизированный шотландец, отличавшийся от своих древних соотечественников на редкость порывистым и эксцентричным характером, за который его втихомолку прозвали Nut, что означает иногда «чудак», а в более выразительных случаях «сумасброд». Дивизия находилась еще довольно далеко от Бастони, но продвигалась быстро, потому что была погружена в десятитонные грузовики. В одном из них сидел юный лейтенант Вулворт. Он был пьян. Вчера американцы наткнулись на группу немецких диверсантов. Распознав их, несмотря на американо-английскую маскировку, десантники тут же их расстреляли. Во взвод, отряженный для казни, был назначен и Вулворт. Картина расстрела безоружных потрясла его. На сетчатке его глаз все время извивался в предсмертных корчах молодой солдат, которого он приканчивал из своего кольта. Так и не добив его, Вулворт застонал и пошатнулся. Маньковский подхватил его. Птицепольское лицо Феликса светилось сочувствием. Он не раз видел это состояние у молодых солдат, когда в них впервые вползает война. Он выпросил у рыжего десантника полбутылки джина для Вулворта, пообещав вернуть ему в Бастони. «Черт с тобой, — не очень охотно согласился рыжий, — мальчишка и вправду расстроен после этой собачьей операции, пусть глотнет как следует». Действительно, после джина омерзительная дурнота пропала и Вулворт даже начал бахвалиться: «А ловко мы это их

сковырнули» — хотя немец не хотел убираться с его сетчатки, но, правда, стал сильно бледнеть.

С востока к Бастони продиралась сквозь грязь на узких дорогах (неожиданное и короткое, но сильное потепление!) немецкая 2-я танковая учебная дивизия 47-го танкового корпуса. Она шла от Дасбурга, от командного пункта генерала Мантейфеля, который благословил дивизию на взятие Бастони. На третий день, 18 декабря, в девять часов утра дивизия успешно форсировала реку Клерф. Командир дивизии генерал-лейтенант Фриц Байерлейн полагал в тот же день достигнуть Бастони. «Я иду следом за вами, — сказал командир корпуса коротконогий красномордый генерал Гейнрих фон Лютвиц. — Бастонь должна быть взята, иначе она остается гнойником на линии наших коммуникаций. Я приведу 26-ю народно-гренадерскую дивизию. Но рассчитываю, что вы справитесь и сами». Байерлейн был опытным генералом. В 1941 году он воевал в России, где был помощником самого Гудериана. В 1942-м — в Африке, где был начальником штаба у самого «лиса пустыни» Роммеля, в 1943-м — в Италии, где был начальником штаба 1-й армии у самого фельдмаршала Кессельринга. Все эти кампании заканчивались поражением немцев, и генерал Байерлейн винил в этом Россию, которая в двух последних случаях предпринимала совершенно неуместные, на его взгляд, наступления и оттягивала на себя значительную часть немецких сил. Теперешнюю свою задачу — взятие Бастони — Фриц Байерлейн считал нетрудной. Однако в тот день его дивизия не дошла до Бастони... Снова ударил мороз, снег налипал на катки гусениц, истаявал и снова замерзал. Дивизия продвигалась с ужасающей медлительностью — за три часа менее километра. К вечеру удалось достигнуть только дрянного люксембургского местечка Нидер-Вампах. На следующий день притащили в штаб какого-то бельгийца, который клялся, что видел неподалеку от Бастони не менее сотни американских танков и бронемашин.

В половине шестого утра в полной тьме, которая усугублялась туманом, дивизия двинулась дальше. Головной танк подорвался на mine. Из всего экипажа уцелел только маленький танкист Йоганн, благополучно ускользнувший от партизан в бронетранспортере Вайнерта и вернувшийся в свою родную 5-ю армию. Гибель танка вы-

звала задержку, пришлось расчищать минное поле. Окоченевшие трупы, твердые, как бревна, Leichen-Kommando¹ побросала в обозные машины, с тем чтобы пристойно похоронить их в Бастони, в овладении которой никто не сомневался.

Только на следующий день немцы увидели издали шпиль собора святого Петра. Когда они придвинулись ближе, их встретил жестокий огонь. Под стенами стояла американская 101-я воздушно-десантная дивизия. Завязался бой.

Даже на старых, обстрелянных солдат немецкие завывающие мины действовали угнетающе. Вулворт поначалу не понял, откуда этот грозный томительный гул, нарастающий непрерывно, как будто само это свинцовое небо опускалось, чтобы своей тяжестью расплющить всех внизу. Потом посыпались осколки. Вулворт вжался в снег, он еле сдерживал желание бежать. После налета этих «воющих истериков», как их называли ветераны, обрушился огневой артиллерийский вал. Вулворт терпел. Он привыкал. Самый страх имеет свой предел. И в аду, оказывается, можно жить. И все же, когда показались танки, он снова ощутил гибельное чувство, словно что-то обрывалось в нем, внутри него, где-то за грудной костью, и катилось вниз, холодное и дрожащее. Он подумал: «Может быть, я мочусь в штаны?»

Если бы он знал, как трудно приходилось танкам, возможно, ему стало бы легче. Танки двигались тесной колонной, самая узость дороги лишала их свободы маневрирования. Иоганн, обычно такой сдержанный, ругался, сидя в башне танка. Он ничего не видел, кроме белой дороги и черных тел, исчезающих, когда он к ним приближался. Он думал, что американцы прячутся в щели и оттуда будут подрывать его. Но десантники были плохо вооружены. У них не было ни гранат, ни противотанковых мин, ни базук, ни даже бутылок с горючей смесью, и танки легко смяли передние ряды американцев. Вулворту повезло, его послали с истребительной группой для уничтожения автоматчиков, залегших по обе стороны дороги и даже на опушках леса, спускавшегося по склонам. Борьба с ними была похожа на охоту.

Истребители ползком подкрадывались к месту, где

¹ Похоронная команда (нем.).

засел автоматчик. Притаившись, истребители — небольшая группа, всего три человека: Вулворт, Маньковский и рыжий десантник (Вулворт до сих пор не дознался его имени), — ждали, пока автоматчик откроет огонь и обнаружит себя. Они не брали его в плен, они обычно кончали его на месте бесшумно кинжалами. На Вулворта эти убийства уже не действовали, потому что это же борьба в бою с противником вооруженным, а главным образом потому, что Вулворт был уже немного другой. Сознание его притупилось. Он огрубел. Насилие становилось чем-то привычным.

Когда Вулворт вернулся к Бастони, бой уже затих. Он увидел, что за спинами сражающихся саперы и жители города успели вырыть рвы и волчьи ямы, установить надолбы, рогатки, засеять дорогу минами. Правда, саперы ворчали, не хватает колючей проволоки, мало мешков для земли и мин, в общем, маловато.

Вулворт чувствовал непобедимую усталость. Кроме того, в нем родилось необычное новое и странное ощущение: он чувствовал, что взрослеет. Это, конечно, было приобретением мужества, рассудительности, спокойного достоинства. Но и потерей — душевной свежести, стыдливости и той наивной восторженности, которая так украшает юных. Это не ускользнуло от взгляда Маньковского, он с удовлетворением подумал: «Парень покрывается корочкой».

Вулворт и Маньковский (с особого разрешения начальства) устроились в небольшой брошенной квартире. Окна ее выходили на старинные арочные ворота Порт-де-Трев. Под аркой беспрерывно сновали солдаты, монахини в высоких чепцах, санитарные машины, велосипедисты, девушки и юноши, бежавшие из окрестных деревень, некоторые вели коней под уздцы. Маленькая Бастонь, узел пяти дорог, трещала под напором переполнившего ее народа.

В тот же день под вечер у арки Вулворт наткнулся на офицера, извинился, откозырял, пошел дальше. Вдруг обернулся: это бледное удлиненное лицо, насмешливый лягушачий рот, высокий лоб под сдвинутой на затылок каской показались ему знакомыми.

— Конвей! — воскликнул он.

Офицер оглянулся, растянул рот в улыбку:

— Если меня не подводит память, это малютка Вул-

ворт, племянник тети Эдны, «стандартные цены 5 и 10 центов». Рад вас видеть, старина. Давно в этой дыре? — И не дождавшись ответа: — А я прибыл позавчера и здесь ставлю точку. Баста! Я остаюсь. Я устал бегать по Арденнам, как борзая за несуществующим зайцем. Где вы устроились? — И снова не дождавшись ответа: — Идемте ко мне, у меня великолепный бункер. Тепло, комфортабельно и полная гарантия... — Он не договорил и предостерегающе поднял палец, прислушиваясь к недалекому артиллерийскому выстрелу. Спустя несколько секунд где-то тоже не очень далеко ухнул разрыв. Конвей закончил: — И полная гарантия от этих игрушек.

Бункер оказался подвалом в трехэтажном доме. Койка, покрытая толстым пледом. На столе полевой телефонный аппарат в кожаном футляре. В углу самозарядка-браунинг. Со стены глядит строго и милостиво Сикстинская мадонна с хмурым младенцем на руках. Полка с книгами, преимущественно сине-желтые экземпляры «Ранних византийских икон», сочинения Томаса А. Конвея. В другом углу шкафчик. Конвей вынул оттуда бутылку виски, два пластмассовых стаканчика, электрический чайник. Наполнил его водой из крана, включил чайник в розетку. Налил виски в стаканчики.

— За встречу! — сказал он приветливо.

Он действительно был рад Вулворту. Разговорщик по складу натуры, Конвей нуждался в резервуаре для своих словесных водопадов. Ему нужны были чьи-нибудь уши. Все равно чьи.

— Устроились недурно, — сказал Вулворт, хлебнув виски.

Конвей махнул рукой:

— Я в отчаянии. Все у меня сорвано. Я не закончил курс ванн в Спа. И вообще полетел к черту весь мой режим. Я должен лежать днем не менее двух часов со слегка приподнятыми ногами. Я и лежал в грузовике по дороге сюда. Но на чем? На боеприпасах! Представляете себе, как чувствовали себя мои суставы?!

Вулворт смеялся. Он никогда не знал, говорит Конвей серьезно или валяет дурака. Откуда такая изнеженность в боевом офицере? Ведь он разведчик. Наверно, разведчикам так и полагается — болтать с посторонними всякую чушь и — ни слова о своей таинственной работе.

Вулворт, конечно, не удержался и начал рассказы-

вать, как он расправлялся с диверсантами и как охотился за автоматчиками. Посреди этого рассказа он вдруг заметил устремленный на него насмешливый и чуть брезгливый взгляд Конвея.

— Война — это война... — пробормотал он, не зная, что сказать.

— Что меня в вас восхищает, Вулворт, — сказал Конвей, раскуривая трубку, — это то, что вы ни на секунду не задумываетесь перед тем, как изречь оригинальную мысль. Но я готов с вами согласиться: война — это война, а не заповедник генералов, куда посторонним вход запрещен. Войну выигрывает пехотинец в башмаках, облепленных грязью, а не полководцы, разъезжающие по тылу в роскошных лимузинах. Немцы здесь, в Арденнах, бросились в наступление на заре шестнадцатого декабря, а Айк раскумекал это только к вечеру восемнадцатого. Когда немецкие парашютисты захватили деревушку Живэ, фельдмаршал Монтомери до того запаниковал, что перенес штаб своей Двадцать первой группы армий чуть ли не в Брюссель. Что такое паника, я видел собственными глазами в Спа, когда мы с перепугу сожгли сто двадцать четыре тысячи галлонов горючего, вместо того чтобы его спокойно вывезти. Говорю вам — у нас перепроизводство генералов! Отсюда неразбериха. Слишком много поваров суетится вокруг одной плиты.

Вулворт откашлялся. Речи эти показались ему кошунственными. Подумайте, Конвей замахнулся на самого Эйзенхауэра!

— Но ведь война начинается с разведки, — сказал Вулворт, мрачно глядя на Конвея.

Кажется, слова эти попали в больное место Конвея. Его даже передернуло. Он вспомнил то утро, когда к нему пробрался этот партизан Урс в одежде священника и предупредил о подозрительных передвижениях немцев. И он, Конвей, пошел с этими сведениями к главе войсковой разведки Монку Диксону, и тот не придавал значения этим сведениям.

— Вулворт, мой мальчик, разведчики тоже люди, — сказал Конвей мягко. — И лучшие из них отнюдь не те, которых муштруют на «ферме» возле Вашингтона или в Пенсильванской, Вирджинской и других специальных школах управления стратегической службы. Разведчиком нужно родиться. Можно сделать человека образован-

ным, но нельзя сделать его талантливym. Клянусь вам, Вулворт, что я сигнализировал командованию накануне выступления, но мой сигнал презрели.

— А вы настаивали? — все так же сурово сказал Вулворт.

«Эге, мальчуган может быть безжалостным! Чему-чему, а этому война его научила».

Конвей счел уместным переменить тему. Он пустил клуб дыма к потолку и сказал несколько в нос, как всегда, когда впадал в назидательный тон:

— Человек не властен над прошлым. Он еле справляется с будущим. А настоящего вообще не существует: оно мгновенно превращается в прошлое. Мы здесь, в Бастони, знаем одно: она наша и она должна остаться нашей. Конечно, война — капризная дама, иногда она повелевает отступать даже победителям. Но сейчас не тот случай. Немцы хотят взять Бастонь. Уже по этому одному мы не имеем права отдавать ее. Оказывается, этот маленький городок им очень нужен. Вы догадываетесь почему? Очень просто: по трем основаниям. Слушайте внимательно, этих истин вы не услышите ни от кого другого. Во-первых, Бастонь, покуда она наша, срывает немцам подвоз снабжения, ибо она — скрещение пяти дорог. Во-вторых, Бастонь мешает их продвижению на запад, а захватив ее, Мантейфель обеспечил бы себе свободу действий на левом фланге. В-третьих, Бастонь приковывает значительные их силы.

Конвей помолчал, отхлебнув из стакана, глянул на Вулворта — ему понравился ошеломленный вид юноши — и прибавил:

— Есть еще одно основание. Быть может, оно самое главное. Скажу вам его по секрету. — Он театрально оглянулся и проговорил показным шепотом, хотя, разумеется, никого, кроме них, в бункере не было: — Борьба за Бастонь есть борьба за сохранение престижа.

Он откинулся на спинку стула, довольный эффектом, произведенным на совершенно подавленного Вулворта, и сказал уже обычным, прозаическим, то есть несколько не приподнятым, тоном:

— Мы будем драться за Бастонь, и — я вам предсказываю это — драться жестоко. Быть может, Бастонь и есть та кость, которой Гитлер подавится. Так и скажите вашим солдатам, Вулворт. Подготовьте их психологиче-

ски к осаде, то есть к голоду, к эпидемиям, к припадкам отчаяния, к самопожертвованию, к жестокой дисциплине блокады.

Вулворт слушал как зачарованный. Глаза его блеснули. Упоминание о дисциплине взволновало его.

— Наш солдат так недисциплинирован! — почти крикнул он. — Вы не поверите, Конвей, они иногда даже не отдают честь офицерам!

— Не придирайтесь к солдату, — сказал Конвей, с удовольствием прислушиваясь к своей плавно текущей речи, — да, американский солдат недисциплинирован. Его привычка к демократическим свободам несовместима с машинообразностью, нерассуждаемостью, субординацией и прочими качествами, характерными для германского или японского солдата. Это независимое поведение, эта потребность в жизненных удобствах, даже в известном комфорте делает нашего солдата в гарнизонной службе весьма недисциплинированным. Однако в бою он преобразуется. Когда он видит, что для того, чтобы выжить, надо победить, он побеждает, Вулворт.

К 21 декабря окружение Бастони было почти закончено. 26 декабря 2-я танковая дивизия СС, присланная оберстгруппенфюрером Зеппом Дитрихом, учебная танковая дивизия 5-й армии и примаршировавшая к Бастони с востока бригада из личной охраны Гитлера «Фюрербеглейт» — молодцеватые парни один к одному, хоть сейчас на парад, к чему, кстати сказать, они более привыкли, чем к осаде городов, хотя и были сейчас щедро оснащены боевой техникой, — все эти войска прочно обложили город почти со всех сторон. Полоса пастбищ шириной километров около восьми между Шаном и Сеншаном оставалась еще не занятой. Но, очевидно, и ей предстояло вскорости быть занятой, поскольку к Бастони направлялись форсированным маршем еще две дивизии.

Однако, пока кольцо еще не совсем замкнулось, Урс решил через этот свободный коридор просунуть в Бастонь тех американцев, которые были в его отряде, в том числе, разумеется, Осборна и Майкла.

Пошли цепочкой. Конечно, ночью. В полном молчании. Впереди на изрядном расстоянии от группы шли дозорные — Брандис и Финик. Они изредка тихо перекли-

кались. Туман притушивал голоса и шаги. Иногда они останавливались, поджидая отряд. Потом опять отдалялись от него, тщательно прислушиваясь к окружающей местности, почти вынюхивая ее. Позади отряда в замыкающем дозоре шли оба фламандца, Питер и Ян, тоже вслушиваясь в черно-серую туманную муть, облипавшую их отовсюду. Стояла мертвая тишина. Изредка только чавкали сапоги в истаявшем снегу и проносилось тихое, как вздох, ругательство.

Урс шел посреди отряда. Он решил лично сдать американцев. А кроме того, он рассчитывал, что, может быть, ему удастся раздобыть какие-нибудь надежные сведения о положении на фронте. Все так перемешалось, потеряна связь с разведкой, неизвестно, где штабы и какие задачи стоят сейчас перед партизанами в этой новой обстановке.

Он надеялся, что они войдут в город до рассвета. Ведь нынче светает поздно, в восемь часов. Это будет трудный момент: без сомнения, там стоят сторожевые заставы, они могут, не узнав своих, обстрелять их.

Урс не мог не поверить своим дозорным, когда они доложили ему, что никакой заставы нет и вход в город в этом месте свободен. Возмущенный, он сам поспешил к этому месту.

— Гостеприимно... — пробормотал он сквозь зубы.

Действительно пусто... Несколько стреноженных коней разгребали копытами снег и с хрустом жевали прошлогоднюю жухлую траву.

— Вояки, так и так их мать, — повторил Урс.

Финик качал головой:

— Как же это немцы проморгали...

Урс огрызнулся:

— Потому что немцы воюют грамотно и не могут представить себе такого военного невежества.

Он расположил свой отряд на этом участке, растянув его тонкой линией. Сам же поспешил в штаб дивизии.

Затруднение состояло в том, что он в штабе ничего не знал, кроме Конвея, с которым был связан конспиративно. Но благодаря духу беспечности, который царил здесь, Урсу не составило труда узнать его домашний адрес.

Урс застал его дома. Конвей говорил по телефону. Он приветливо помахал рукой и продолжал говорить:

— Видите ли, с горючим у нас дело дрянь... Как я вспомню о тысячах галлонов, брошенных в Ставло... Нет, дух нашего солдата очень высок, но одним духом не выдержишься, если нет боеприпасов... Что?.. Я понимаю, снабдят по воздуху... Конечно, конечно, и это... Обязательно!.. И побольше... Потому что костлявая рука голода...

Урс больше не мог выдержать. Он вскочил и положил на телефон свою лапу с крупными ногтями, раздавшими-ся более в ширину, чем в длину. Разговор, естественно, прервался.

— Как вы можете говорить о таких вещах клером?! — загремел он. — Что ни слово...

— ...то выдача военной тайны, — сказал Конвей, растянув губы в привычной усмешке. — Но, дорогой мой, вы свой. Вы даже не представляете себе, Урс, как глубоко вы проверены.

— Да разве я о себе? Какой же вы, к черту, разведчик, если не знаете, что в нейтральной зоне у немцев сидят подслушиватели со специальными аппаратами и перехватывают телефонные разговоры. Вообще, что за бардак у вас в штабе! Вы оставили открытыми ворота в город! Что это — кретинизм или предательство?!

Урс рассказал о неохраняемом участке к югу от города.

— Вам все смешки, Конвей! — сказал он с гневом.

— Но это действительно забавно, Урс, что немцы не вошли. Вы знаете почему? Это напоминает детскую игру «в какой руке камешек?». Вы рассуждаете так: в прошлый раз я клал его в правую руку, — значит, логично сейчас положить его в левую. Но противник тоже так рассуждает. И я оставляю его в правой и выигрываю.

— Да, — устало сказал Урс, — но в нашем случае не было прошлого раза.

Мало кто знал, что командующий 3-й армией генерал-лейтенант Джордж Паттон, такой резкий, вспыльчивый, часто грубый, обладал натурой чувствительной, даже сентиментальной, как девушка. Во всяком случае, сознание, что гарнизон осажденной Бастони терпит муки голода, причиняло ему страдания. Именно гарнизон. Это нечто конкретное. Свое. Родное, как семья. А жители?

Да, конечно, им тоже не сладко. Но это абстракция. Население. Понятие географическое. Так или иначе, генерал Паттон мучился от невозможности облегчить страдания осажденного города и проклинал нелетную погоду. Метеорологи боялись показаться ему на глаза, ибо по несдержанности генерал способен был обвинить их в том, что тучи такие низкие, а снегопад такой густой, а ветер такой пронзительный.

В конце концов генерал вызвал главного капеллана армии, пожилого, всеми уважаемого пастора в чине подполковника.

— Послушайте, — сказал он, — вы там молитесь черт знает о чем, вместо того чтобы выклянуть у бога хорошую погоду. Я приказываю вам, чтобы во всех вверенных мне соединениях, частях и подразделениях отныне включили в молитвы требование о ниспослании нам летной погоды.

Священнослужитель слушал эту речь генерала с чувством, близким к ужасу. Он сдерживал себя, памятуя, что всякое выражение раздражительности уже есть грех. Он ограничился тем, что сказал сухо:

— Можно ли приказывать богу...

Паттон резко повернулся на каблуках, отшвырнул сигару и сказал металлическим голосом:

— У кого вы, черт возьми, в подчинении? У меня или у бога? Вы офицер Третьей армии. Идите и выполняйте приказ.

В тот же день солдатам и офицерам 3-й армии был роздан текст молитвы, свежееотпечатанный в армейской типографии и утвержденный генералом Паттоном:

«Господи, боже наш! Даруй нам в милости твоей хорошую погоду для битвы, чтобы сокрушить жестокость и злобу наших врагов. Амины!»

И что вы думаете! За два дня до рождества проклюнулось солнце, робкое, правда, какое-то, завуалированное кисейными облаками. Все же и такого его было достаточно, чтобы из 3-й армии вылетели самолеты и принялись сбрасывать в Бастонь мешки с консервами, медикаментами, яичным порошком и боеприпасами. Однако самолеты держались на большой высоте, и большая часть грузов попала к немцам. Тут уж ни бог, ни сам генерал Паттон ничего не могли сделать.

Между тем атаки следовали одна за другой. С востока

в Бастонь прорывалась учебная танковая дивизия, состоящая из отборных солдат 47-го корпуса 5-й армии. Она была как таран по укреплениям, наскоро возведенным защитниками Бастони. Первую их линию немцам вскоре удалось преодолеть. Генерал-майор Энтони Маколифф, этот, как его прозвали люксембуржцы, смешав французский и английский, *le heros des puts*¹, направил против немцев половину имевшихся у него танков. Он приказал намалевать на каждом четыре буквы: АААВ. Отправляясь на позиции, танкисты охотно объясняли любопытным их значение: *Anything. Anytime. Anywhere. Bar nothing*². Им удалось задержать немцев.

Остальные танки Маколифф направил на запад от города. Здесь немцы тоже пробивали укрепления непрерывными атаками. Это был как бы второй конец воображаемой оси, долженствовавшей пронзить Бастонь. Однако и здесь дальше первой линии укреплений немцам продвинуться не удалось.

Генерал Байерлейн, командовавший учебной дивизией, взвесил шансы. По данным разведки, в Бастони и вокруг нее потери американцев достигли по меньшей мере трех тысяч человек убитыми и ранеными. Голод в городе, как доносили лазутчики, дошел до крайних пределов, резали лошадей, но и их уже почти не было в этой конской столице. Начинался голодный тиф. Генерал Байерлейн решил, что плод созрел и вот-вот упадет, пора подставлять руки. И он направил к Маколиффу парламентаря с предложением капитулировать. Генерал Мантейфель в своих записках весьма сдержанно пишет: «Наше требование о капитуляции было отклонено».

Ответ генерала Маколиффа был более живописным. Внимательно прочитав предложение капитулировать, генерал Маколифф надел очки и старательно начертил на нем каллиграфическим почерком: «*К а т и т е с ь к е д р е н о й м а т е р и !*»

Жаль, что эта жизнерадостная резолюция не сохранилась. Она заняла бы почетное место в библиотеке конгресса в Капитолии в Вашингтоне среди важнейших исторических документов эпохи.

Бедный Байерлейн! И тут ему не повезло! Однако

¹ Герой сумасбродов.

² Все. Всегда. Везде. Нет преград (англ.).

этих невезений набирается столько, что впору усомниться в его качествах полководца. Вот и здесь он ошибся в главном: в оценке сил противника. И этим ввел в заблуждение своего командующего армией. Генерал Мантейфель считал, что Бастонь не только «сердце Арденн». Этот маленький бельгийский городок стал сердцем обороны американских войск. И здесь его наметанный глаз не ошибся. Но он ошибся в другом. Этот опытный генерал не подозревал, что упустил момент овладеть Бастонью почти без боя. Вот тут-то, сам того не желая, выдернул из-под него стул генерал-лейтенант Фриц Байерлейн. Во время боя за городок Новиль, что к северо-востоку от Бастони, он принял слабые дозоры противника за крупные силы. Таково было неистовство в бою одного из небольших подразделений американской 10-й бронетанковой дивизии, что Байерлейн послал Мантейфелю донесение, что учебная танковая дивизия попадает в невыгодное (он еле удержался, чтобы не написать «гибельное») положение и он вынужден отступить. Не проверив действительной обстановки на месте, Мантейфель несколько не усомнился в правильности действий своего лучшего командира своей лучшей дивизии.

Справедливость требует сказать, что обе стороны преувеличивали силы друг друга. Первый лейтенант Конвей признавал, что здесь есть промах американской разведки, совпавший с подобным же промахом немецкой разведки. «И мы и немцы,— писал он в своей статье «Бедный заблудший ангел», помещенной уже после войны в парижском издании «Геральд трибюн», — смотрели друг на друга расширенными от ужаса глазами. Мы были уверены, что бросившиеся в это безумное наступление немецкие войска глубоко эшелонированы и имеют большую глубину оперативного построения, тогда как это была тонкая ниточка, которую ничто не стоило прорвать. А немцы полагали, что перед ними мощные американские соединения, богато оснащенные техникой, тогда как в тот момент это были разрозненные подразделения, мечущиеся в панике, к тому же плохо вооруженные».

Конвей и Осборн встретились во время вылазки у брошенной фермы «Старый вебрь». Название это сохранилось на сквозной ажурной вывеске, которая болталась на одном гвозде над воротами.

Высотка, на которой стояла ферма, господствовала над местностью и была приманкой для обеих сторон. Большой скотный двор окружен буками, посаженными так тесно, что они образовали почти стену. Здесь Конвей установил противотанковое орудие и, когда был убит первый номер, сам заменил его. «Все-таки я артиллерист», — сказал он. Собственно, по этим жеманным интонациям Осборн, уже встречавший Конвея в городе, узнал его, ибо лицо Конвея было испачкано копотью до неузнаваемости.

После того как американцы отразили одну за другой три атаки, наступило затишье. Вообще-то говоря, можно было возвращаться в Бастонь. И командовавший небольшим отрядом пехоты первый лейтенант Осборн собрался поначалу именно так поступить. Но потом передумал.

— Разумнее это сделать, когда стемнеет, — объяснил он Конвею, — возвращаться надо по открытой местности. И хотя мы в белых халатах, они всех нас расколошматят, как бутылки в тире.

Осборн знал, что, как только они покинут ферму, немцы займут ее. Отсюда открывался обширный вид на восточную часть города. По мнению Осборна, ферму следовало удержать в своих руках. Конвей был согласен с этим. Но генерал Маколифф приказал всем участникам вылазок обязательно к ночи возвращаться в город.

— Приказ есть приказ, — сказал Осборн в ответ на предложение Конвея «поправить» генерала и не уходить с фермы.

Не стреляли. Осборн присел на брошенную автопокрышку с грузовика и с наслаждением оперся уставшей спиной о стену полуразрушенного сарая. Это был отдых. Мыслями он вернулся к довоенному покою. Нет, нет! Военная служба нравилась Осборну. Он уже решил, что после войны останется в армии. Никакие страсти не сравнятся с наслаждением командовать и подчиняться. Да, он останется в армии. Если, конечно, его оставят. И если его не убьют. Но сейчас, сидя на этой старой шине, расслабившись, он предавался уютным воспоминаниям о мирной жизни. Он не давал себе труда упорядочивать их. Он плыл по течению. Большое место в них занимал душ... Ласковые прикосновения этого благословенного домашнего дождя из низкого кафельного неба... Девушки... Преимущественно высокие блондинки, с которыми он

встречался обычно после работы в кафе, очередная она с правой стороны, в левой руке контрабас в чехле, с длинной извилистой царapiной на деке, он все собирался залакировать ее, да так и не успел. . . Дыни. . . он обожал дыни, обычно перед обедом он отправлял в рот влажный пахучий розовый ломоть. . .

В это время немцы открыли огонь из учетверенного миномета. Осборн упал, обливаясь кровью. Миномет замолчал так же внезапно. Очевидно, просто пробовали вновь прибывшее оружие.

В госпитале в Бастони, лежа на койке, Осборн догадывался, что не выкрутится. Он считал, что это самая большая глупость в его жизни. Его лицо сделалось совсем маленьким, как у ребенка. Мушкетерские усики и эспаньолка выделялись на нем нелепыми запятыми. Собирались сделать переливание крови, но он увидел на банке ярлык: «Цветная кровь» — и отказался от переливания. «Какое счастье, — сказал он, — что я умираю в католическом городе. . .»

Он потребовал к себе патера. Но в армии не оказалось католического священника. «Есть дьяконисса», — сказали ему. «Баба? Ни за что!» От услуг лютеранского капеллана он отказался. «Позовите поляка», — сказал он. Позвали Феликса Маньковского. Осборн ему исповедался. Он признался в постыдном грехе: уже коснеющим голосом он рассказал Феликсу, как он в свое время не поделился хлебом с Майклом. Маньковский знал ритуальные слова, сопровождающие отпущение грехов. . . «Absolvo te. . .¹» — сказал он срывающимся голосом.

На погребении произошел неприятный инцидент, несколько нарушивший привычное благообразие похорон. К гробу подошел пожилой джентльмен в куртке с кенгуровым воротником и заявил, что может организовать захоронение останков первого лейтенанта Лайонела Осборна у него на родине, то есть в Штатах. Маньковский и Вулворт узнали его: это был Корнелиус Ли, представитель «Симетри элайнс», объединения компаний, эксплуатирующих кладбища. Мистер Ли вежливо, но настойчиво допытывался у окружающих, есть ли у Осборна родственники в США и насколько они состоятельны. Ибо,

¹ Отпускаю тебе (лат.).

как выяснилось из дальнейшего разговора, перевозка останков производится за счет родственников.

Мистер Ли тут же заметил, что последние бои значительно расширяют деятельность «Симетри элайенс», и не без самодовольства добавил: это общество настолько влиятельно, что провалило в конгрессе законопроект о создании новых национальных кладбищ для бесплатного погребения погибших воинов. Дальнейшие рассуждения мистера Корнелиуса Ли были прерваны Майклом, который взял его за кенгуровый воротник и, наподдав сзади коленом, швырнул довольно далеко от лакомых останков первого лейтенанта Лайонела Осборна.

Конвею понравился этот поступок. Он пригласил Майкла к себе в бункер. Ему вообще понравился этот тощий юноша с приподнятыми бровями мечтателя и плечами боксера. Он уже слышал о нем кое-что. Главный капеллан армии подполковник Френкленд рассказал, что недавно к нему явился Майкл и покаялся:

— Я убил ангела.

И рассказал о стычке на дороге, где он застрелил одного из близнецов, а тот, оказывается, был не кем иным, как ангелом в мундире немецкого солдата.

Капеллан принялся утешать его. А потом, устав от собственных банальных поучений, признался:

— А что я могу тебе сказать, парень? С одной стороны, я проповедую вам всем: «Люби ближнего, как самого себя». А с другой — я же призываю вас: «Убивайте немцев». Значит, приходится говорить, что немцы не люди, а черти. Но вот ты убил не черта, а ангела...

Майкл зачастил к Конвею. Его привлекал открытый — иногда до цинизма — ум Конвея. Да и Конвея устраивали беседы с Майклом более, чем с Вулвортом. Нельзя отрицать: Вулворт великолепно молчит, это имеет свои удобства для такого говоруна, как Конвей. Но уж очень он примитивен, этот молоденький лейтенант из семьи мелкокорозничных магнатов. А Конвей любит примитивы только в искусстве, главным образом церковном. А его словесные пиршества нуждаются в острой приправе — возбуждающих репликах собеседника.

В последнее же время в повадках Вулворта, еще недавно такого нежного, такого, сказал бы Конвей, трогательно нежного юноши, появилось что-то грубо-солдафонское, особенно когда он, закинув на стол ноги в гряз-

ных бутсах и потребовав хриплым «фронтovým» голосом выставить джин, начинает нести хвастливую околесицу о своих подвигах на передовой.

Другое дело нервный, почти истерический рассказ Майкла о том, как он убил ангела. До сих пор это продолжало мучить Майкла. Конвей жалел его и утешал по своему способу, который называл «метод каленой кочерги». Он пошел в атаку на идеализм Майкла:

— Конечно, ограниченному, ну, скажем, просто туповатому воображению идеалиста нет ничего удобнее, чем придумать боженьку. Ход мыслей при этом примитивный. Вопрос: откуда все взялось? Ответ: хозяин создал. И сравните эту наивность с силой и смелостью воображения материалиста, который постиг извечность мира, его безначалие! Какая свобода духа нужна, чтобы примириться с этой идеей!

Майкл слушал очень серьезно. Потом чуть улыбнулся и сказал:

— Вы забываете одну очень простую вещь, Конвей.

— Какую?

— Хозяин, как вы его назвали, или бог, как говорят все, или Разумная Сила, как выражаются некоторые философы, или что-то другое — условно, но с наибольшим приближением к сути обозначим его словом Создатель, — что он тоже извечен и безначален...

Разговор этот и другие, подобные ему, шли под разрывы снарядов, которыми осаждающие засыпали город. В пылу споров Конвей и Майкл не слышали их.

Однако скоро Конвей лишился своего лучшего собеседника. Нет, нет, он не убит! Другое.

Однажды Майкл проходил мимо Порт-де-Трев. Немцы беспорядочно стреляли по городу из орудий. Люди разбегались, прятались под арки домов, Майкл даже не прибавлял шага. Он считал это постыдным проявлением слабости. Он рассуждал так: «Это чудовище, Гитлер, хочет, чтобы я переменялся, чтобы я стал мельче, ничтожнее самого себя. Но он этого не дожидется, я останусь сам собой». И он не прибавлял шага.

Случилось ему как-то увидеть посреди улицы скопление женщин. Он видел только их спины. Некоторые — в элегантных меховых шубках. Сидя на корточках, женщины копошились в чем-то лежавшем на мостовой и не обращали внимания на разрывы снарядов.

В стороне стояла девчонка в старенькой накидке, из которой выбивались клочья ваты. Съежившись от холода, она топталась на месте в своих грубых мужицких сапогах и попеременно дышала то на одну, то на другую руку в проданных рукавичках.

Изредка она посматривала на группу женщин посреди мостовой, и на ее лице, замерзшем и чем-то испачканном, появлялось отвращение и жалость.

Когда Майкл приблизился, он увидел, над чем склонились женщины: над трупом павшей лошади. Они вырезали из него куски мяса и набивали им сумки. Теперь никто в Бастони не ходил без сумки. А вдруг удастся набрести на что-нибудь съестное, на сброшенную с самолета пачку сала или, как вот сейчас, на падаль.

Замухрышка в накидке бросила взгляд на Майкла. Он поразил юношу. Это был монашеский взгляд исподлобья, горячий и стыдливый. Майкл остановился. Неожиданно для себя он проговорил церемонно:

— Can I help you? ¹

И тут же спохватился, что обращается к ней по-английски. От смущения, конечно. Но почему он смутился? Неужели этот взгляд?.. Девчонка пожала плечами и, к удивлению Майкла, ответила ему тоже по-английски:

— No... Unless... if you could... ² — и тут же перешла на какую-то беглую смесь французского и старонемецкого, которая была для нее явно привычнее: — ...оторвать мою подругу от этого...

Она не закончила.

— Как зовут твою подругу? — спросил Майкл, оправившись от непонятного смущения, сердясь на себя из-за него и перейдя на немецкий.

Но замарашка уже передумала:

— А в общем, черт с ней. Она голодна.

— А ты? — невольно спросил Майкл и полез к себе в карман.

Там у него болталось несколько кусочков сахара.

— Но это каннибализм!

Майкл подумал, что он не понял ее. Ее странное наречие отдаленно напоминало немецкий. И в нем, как золотые крупинки в песке, мелькали французские слова.

¹ Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен? (англ.)

² Нет, если бы только вы могли...

Майкл вгляделся в девочку. Глядя на ее замерзшее и чем-то испачканное лицо, он увидел, что она старше, чем показалось ему прежде. Но вот снова этот не дающий ему покоя монашеский взгляд исподлобья!

— Канибализм, — сказал он, — это поедание себе подобных.

Он готов был поклясться, что девушка посмотрела на него с презрением.

— Кони подобны людям, — сказала она. — Иногда они даже лучше людей.

Внезапное подозрение осенило Майкла. Он спросил строго:

— Ты немка?

— Что это вам пришло в голову? — удивилась она. И прибавила с некоторой надменностью: — Я люксембуржанка.

— Но ваш язык... — сказал он, не заметив, что перешел на «вы».

А когда заметил, смутился и не то чтобы рассердился, но остался недоволен собой.

И она, казалось, рассердилась.

— Какое вам дело до моего языка! — сказала она довольно грубо. — Это наш язык — мозельфренкин.

Все еще сердясь на себя, Майкл сказал сурово:

— Люксембуржцы служат в немецкой армии.

Она вспыхнула:

— Вы что, с луны свалились! Вы что, не знаете, что их туда загнали силой? Им приказано быть немцами. Но при первой возможности они сдаются вам.

Майкл уже привык к ее языку. О чем, однако, говорить? А расставаться с ней почему-то не хотелось.

— Я — Майкл Коллинз, — сказал он и протянул руку.

Она коснулась ее кончиками пальцев, которые выглядывали из дырок меховой рукавички. Он заметил: ногти обломанные, нечистые.

— Мари Шульц, — сказала она.

«Имя французское, фамилия немецкая», — машинально отметил он в уме.

— Нет, я больше не могу ее ждать, — сказала Мари, беспокойно оглядываясь, — у меня дома Джильда некормленая.

— Джильда? — повторил Майкл. — У вас есть...

Он остановился, не решаясь сказать: дочь. Мысль

о том, что у нее есть ребенок, была почему-то ему неприятна. Но, может быть, сестренка? А может, старуха мать, которую эта бесцеремонная девушка называет по имени?

Мари расхохоталась. И сразу стала другой, как будто смех привел в движение какие-то скрытые механизмы ее лица. Оно стало добрым, но и лукавым, оно осветилось изнутри нежностью, оно стало каким-то умно-ласковым. Майкл не мог отвести от нее глаз.

— Это моя кобыла, — сказала Мари. — Конечно, она еще почти ребенок. Двухлетка.

Она вдруг задумалась на мгновение (о эта поразительная смена выражений на ее испачканном лице!), глядя на Майкла, но словно не видя его, просто задумавшись, уперев взгляд во что-то перед собой.

— Послушайте, — сказала она нерешительно.

Потом вдруг решила, доверчиво положила на его руку свою и сказала серьезно, даже каким-то деловым тоном:

— Вы можете достать мне корм для Джильды?

— Ну... — сказал он, — может быть... А что это? Овес? Видите ли, у нас в армии нет лошадей.

Ему ужасно хотелось помочь ей.

— Можно просто хлеб, — сказала она нетерпеливо.

Он обрадовался:

— О, это можно!

Но, вспомнив, как скуден блокадный паек, пробормотал:

— Может быть...

Он жаждал снова увидеть этот взгляд исподлобья. Но она, не посмотрев на него, кивнула и ушла. И как-то сразу исчезла в толпе, вечно сновавшей у Порт-де-Трев.

Тут только он сообразил, что не знает, где она живет. Он кинулся за ней, но она как в землю провалилась.

«Подруга!» — вспомнил он.

Но когда он прибежал обратно, никого не было, один только обглоданный скелет лошади с желтыми крутыми ребрами и разметанной гривой над костяным оскалом морды.

Блокада Бастони разомкнулась так же неожиданно, как началась. В те же рождественские дни, точнее — 26 декабря, части 4-й бронетанковой дивизии 3-й армии прорвали в одном месте немецкое кольцо и вошли в город.

Еще накануне генерал Маколифф говорил озабоченно:

— Больше всего меня беспокоит юг. Там стоят не эти наспех сколоченные дивизии Дитриха и Мантейфеля, а испытанная в боях Седьмая армия Бранденбергера. Если она вздумает рвануть в город, я ни за что не ручаюсь.

Как бы в подтверждение теории Конвея: «В какой руке камешек?» — прорыв произошел на юге.

Через эту приотворившуюся калитку в блокаде успел ускользнуть из города небольшой отряд Урса. Перед уходом Урс тепло попрощался с Конвеем.

— Завидую вам, Урс, — сказал Конвей со вздохом, — вы вырываетесь, как говорится, на оперативный простор. А мне еще торчать в этой зловонной дыре. Конечно, мы герои. Целую неделю мы отбивали наш осажденный город. Но вы знаете, чего нам это стоило: свыше трех тысяч убитых и раненых. И потом, не скрою от вас, Урс, у нас уже появились первые признаки деморализации, упадок духа, мародерство, насилия... Что удивительного: семь дней полной блокады...

Урс стремительно поднялся. Казалось, он сейчас обрушится на Конвея всей своей разгневанной громадой. Но он сдержал себя и сказал только:

— Ленинград был в блокаде почти девятьсот дней...

Прорыв армии Паттона еще не означал, что осада с Бастони снята. В ней только была приоткрыта форточка. Все же даже через этот глазок в камере заключенного повеяло ветром освобождения. Стало возможным в одну сторону вывозить раненых, в другую ввозить продовольствие.

Итак, осада, хоть и прорубленная в одном месте, продолжалась непрерывными атаками и жестоким обстрелом. Бессмысленность и бесцельность ее были очевидны. Но такова воля фюрера и его окружения, в первую голову генерал-полковника Альфреда Йодля и генерал-фельдмаршала Моделя.

Эта затянувшаяся осада и неуспех 6-й армии СС, увязнувшей в безуспешных боях на севере Арденн, и недосягаемость Мааса — все это нервировало Гитлера, но он верил в магию своего красноречия и счел наступающий Новый год вполне подходящим поводом для очередного словоизвержения. 28 декабря он созвал у себя в «Орли-

ном гнезде» всю командную верхушку арденнского войска вплоть до командиров дивизий.

Йодль, Бургдорф и другие приближенные к Гитлеру лица, видевшие его ежедневно, уже не замечали перемен в его наружности. Но армейские офицеры со страхом наблюдали его одутловатое, отечное лицо, трясущиеся руки, дергающуюся ногу.

— Противник ничего не обнаружил! — кричал он. — Полное отсутствие вражеской разведки из-за явного зазнайства противника! Эти люди не сочли необходимым посмотреть, что делается вокруг. Они даже не верили в возможность нового наступления. Может быть, этому соответствовало и убеждение, что лично меня уже нет в живых или что я, по меньшей мере, болен раком, что не в состоянии ни жить, ни пить...

Гитлер демонстративно отхлебнул из стоявшего перед ним стакана. По залу пробежал почтительный смешок.

— ...так что ожидать от меня чего-либо опасного не приходится. Новогодняя ночь в истории Германии всегда сулила немцам военные успехи. Когда мы возьмем Бастонь и форсируем Маас, мы рванем на север и увлечем с собой в наступление всю нашу грозную для противника армию!..

Когда Гитлер делал паузу, чтобы откашляться или глотнуть воды, в зале воцарялась тишина. Командующий 6-й армией СС оберстгруппенфюрер Зепп Дитрих сидел в первом ряду с выражением восхищенного волнения на бугристом лице. Он только что получил сильный нагоняй от фюрера за бездарное топтание 6-й армии у Мальмеди. Не дотянули до этой вонючей бельгийской деревушки Стабло каких-нибудь полтора километра, а там два с половиной миллиона галлонов горючего! Оберстгруппенфюрер униженно каялся, клялся, что искупит свою вину тем, что перережет тонкую, проложенную Паттоном нитку коридора, связывающего Бастонь с его армией. Йодль поймал оберстгруппенфюрера на слове, тут же была принесена карта и начерчен на ней путь наступления на коридор через Лютрубуа с форсированием незамерзающей реки Урт.

— Моя Первая танковая дивизия как секирой перерубит эту дерьмовую, полную американского кала кишку! — кричал Дитрих.

Но этого верноподданнического сквернословия было

Дитриху мало. Он намеревался взять слово немедленно после Гитлера для выражения своего восторженного поклонения фюреру. Он был уверен, что опередит командующего 5-й армией Мантейфеля. Единственное, что могло помешать оберстгруппенфюреру, это выступление генерал-фельдмаршала Рундштедта. Но Дитрих надеялся, что престарелый полководец не выступит, он так инертен в последнее время...

Дитрих ошибся. Только стихла овация, как поднялся Рундштедт и, выпрямив свой стройный стан (поговаривали, что он носит корсет), заговорил:

— Мой фюрер! От имени собравшихся здесь командиров я хотел бы выразить твердую уверенность, что мы сделаем все, чтобы обеспечить успех...

Гитлер благостно улыбнулся.

— Никто лучше нас не знает, — продолжал генерал-фельдмаршал, — какие ошибки были допущены во время предыдущих операций. Мы извлечем из них необходимый урок.

Дитрих поежился. Гитлер сдвинул брови...

Уже уходя, перед тем как сесть в свой «опель-адмирал», генерал Мантейфель подошел к оберстгруппенфюреру Дитриху и с деланной дружелюбной улыбкой (он терпеть не мог этого выскочку Дитриха) сказал, что до сих пор не получил от глубокоуважаемого оберстгруппенфюрера ответа на свое послание, которое направил со специальным порученцем в чине капитана.

Обергруппенфюрер, изобразив полное недоумение на своем шишковатом лице, ответил, что никакого капитана он не видел, высказал уверенность, что капитан подстрелен по дороге «этими проходимцами, именующими себя партизанами», и осведомился, о чем, собственно говоря, было послание.

— О, сейчас военная обстановка так переменилась, что это уже не имеет значения, — сказал генерал, махнув перчаткой и на секунду слегка огорчившись печальным концом чем-то когда-то понравившегося ему офицера.

Преобладающим чувством Конвея во время вылазки из Бастони было удивление: каким образом немцы оказались здесь, у этого уединенного домика с конической шиферной крышей? Ведь еще совсем недавно, просто

только что, ну от силы минут пятнадцать назад, он говорил стоявшему перед ним Вулворту:

— Смотрите, какие наши разрывы сочные!

Вулворт позавидовал Конвею и восхитился им: только профессионал мог сказать о разрывах «сочные».

Отсюда, с этого чердака, нависавшего над окружающей долиной, глаз хватал довольно далеко. Конвей, спокойный, приятно оживленный, словно он сидел в ложе театра, озирает в полевой бинокль местность и отдавал артиллерийские команды, которые тотчас подхватывал и кричал в телефон связист, сидевший рядом на ящике из-под галет. Орудие ухало, и через мгновение там, вдали, вставал черный дым, и еще через секунду оттуда приходил смягченный расстоянием гром, и Вулворт почтительно соглашался, что разрыв действительно сочный!

Он никак не мог выбрать момент, чтобы сказать Конвею, что надо бы его командный пункт перевести куда-нибудь в другое место, потому что со стороны немцев какое-то подозрительное шевеление за этой стеной из сплетенных буч. И не орудийный грохот мешал ему сказать это, а опасение, а что вдруг он ошибается и никакой опасности в этом шевелении нет, и тогда он выставит себя в смешном виде в глазах этой язвы — Конвея.

Немцы ворвались неожиданно, стреляя непрерывно из автоматов. Отсюда, из чердачного окна, было видно, как они окружают орудийную прислугу. Вулворт ринулся вниз и запоздало пожалел об этом, потому что сверху удобно было обстреливать немцев. Он командовал группой охраны, и его люди уже ввязались в бой. Да нет, все равно сверху уже стрелять нельзя было, дрались врукопашную, стрелять сподручно только очень хорошему стрелку типа снайпера. Конвей считал себя таковым, он остался наверху и методически слал пули, укрывшись за балкой, стоя на подпиравшей крышу. Но патроны кончились, и, отшвырнув бесполезную винтовку, он сбежал вниз. Только теперь по эмблемам на петлицах солдат — маленьким молниям — он увидел, что перед ним эсэсовцы.

Здесь, в Бастони, Конвей по необходимости вернулся к своей первоначальной военной специальности артиллериста. Но как разведчик, коим он стал впоследствии, он знал, каким скоплением чудовищ были эти части, известные под кличкой «войска СС». Знал по сведениям, сте-

кавшимися в разведку, что эсэсовцы расстреливают пленных, что удушают в газовых камерах всех поголовно евреев, да и своих же немцев из числа политически нежелательных, что уничтожают тысячи русских, украинцев, поляков, чехов как расово неполноценных. Знал все это, но как-то отвлеченно, умозрительно, и все это вызывало в нем не более чем удивление, что народ Луки Кранаха и Мемлинга, создавший «Фауста» и «Тангейзера», мог разделить из себя эту ораву истязателей, — да, знакомясь с этими сведениями, он испытывал удивление и, пожалуй, нечто вроде брезгливого негодования.

Но сейчас, увидев эсэсовцев перед собой, лицом к лицу, представив их победы над безоружными, их измывательства над беззащитными, Конвей почувствовал, как передернулось все его существо. Ведь именно эти ребята Зеппа Дитриха расстреляли на днях триста сорок американских пленных. . .

Эсэсовец уже навалился на него, высокий, плечистый, лицо гладкое, юношески красивое, неприятно оскаленные зубы. Конвей почувствовал, что ненависть заполняет его до краев. Он успел схватить ствол автомата, который немец наводил на него, и с силой отбил его вверх. Автомат выплюнул в потолок серию пуль и умолк. Не выпуская автомата, Конвей подпрыгнул и сразу резко опустился на корточки. От сотрясения с эсэсовца слетела каска с кокардой Totenkopf. Автомат оказался в руках у Конвея. Он замахнулся и прикладом хватил немца по голове. Тот рухнул. В этот момент Конвей почувствовал боль в спине. Он успел сообразить, что его пырнули сзади штыком или кинжалом. Он потерял сознание.

Впоследствии, уже лежа в госпитале в Бастони, Конвей узнал, что немцы овладели домом. Но это несколько не повлияло на положение города. Эсэсовцам Дитриха не удалось прорвать коридор, пробитый Паттоном.

Все это Конвею рассказал Вулворт. Сам Вулворт вышел из стычки без единой царапины. Он был как замороженный. Пули избегали его. Он досадовал. Он ничего не имел против того, чтобы его ранило. Не для того, чтобы улепетнуть с фронта, боже сохрани! Он и раненный, конечно, остался бы в строю. Но «Пурпурное сердце»! Он так жаждал получить этот орден! А его давали только за ранение. Даже за такое легкое, как у Конвея.

БАСТОНЬ-II

Совсем недалеко от Мааса, между Маршем и Рошфором, 2-я танковая дивизия СС, переданная из 6-й армии в 5-ю, и 47-я фольксгренадерская пехотная дивизия уперлись в 7-й американский корпус и не смогли пробиться дальше. Перешли к обороне. Это была вершина немецкого выступа в Арденнах, ее пик. А до Мааса (о этот недостижимый Маас!) рукой подать.

Для того чтобы возбудить угасающий наступательный дух, в дивизии были отправлены фотографии фельдмаршала Рундштедта с его собственноручной подписью для раздачи в виде боевых наград особо отличившимся солдатам. Одна из таких фотографий досталась танкисту Иоганну.

— Можешь не завидовать, — сказал Иоганн своему приятелю, безволосому Вилли, — хотел ее использовать, да уж очень она жесткая, только задницу оцарапал.

В этот день ударил сильный мороз с метелью, обещанной теплой одежды из тыла в дивизию не прислали. Не подвезли ни нового стрелкового оружия вместо устарелых датских винтовок, которыми были частично вооружены фольксгренадеры. Разъяренный командир дивизии отправил в пропаганда-штаффель¹ язвительную бумагу:

«Никаких заявок на присылку нам изображений фельдмаршала Рундштедта дивизия не делала. Дивизия не думает, что такие награды могли побудить пехоту драться лучше. Войска можно заставить драться лучше только путем создания лучших боевых условий. По мнению командира дивизии, выбор этого типа награды неудачен».

Между тем километрах в тридцати восточнее Рошфора в направлении на Уффализ генерал Паттон начал вгрызаться в основание немецкого клина в Арденнах. На какое-то время Уффализ, унылое захолустье с отвратительными булыжными мостовыми, со старенькой задыхающейся лесопилкой на дне оврага и кособокими домишками, натыканными вдоль льежского шоссе, вынырнул из мрака неизвестности и сосредоточил на себе напряженное внимание Версаля, Лондона и Вашингтона. Снежные метели, узкие обледенелые дороги в горах, над

¹ Отдел пропаганды.

которыми к тому же низко стлался густой туман, конечно, затрудняли продвижение американцев.

Конвей, однако, находил еще одну причину этой медлительности.

— Вы понимаете, — говорил он в непривычном для себя возбуждении, — у наших генералов не хватает стратегического воображения.

Он говорил это Вулворту, который слушал его с почтительным одобрением.

Что касается Конвея, то, даже увлеченный, как сейчас, разговором, он не забывал представлять себя самого таким, каким его видит этот загрубелый юнец Вулворт. Нет сомнения: сильным, мудрым, всезнающим. Такого именно и играл в его присутствии Конвей почти бессознательно, в глубине души при этом полагая о себе, что он слабый, ленивый, эгоистичный человек. Но так ли это? По крайней мере, здесь, в Бастони, где он командовал батареей, он показал себя, особенно в контратаках за стенами города, где обстановка, как известно, не очень располагает к самоанализу, опытным и бесстрашным командиром. На груди его сияло новенькое «Пурпурное сердце», полученное им за ранение, от которого он, в общем, уже оправился, хотя повязку со спины, по совету врача, еще не снимал.

— Операция на окружение напрашивается сама собой, — продолжал Конвей, — и мы будем величайшими дураками, если не захлопнем за немцами дверь на восток.

— Если бы вместо Айка командовал Паттон... — вставил Вулворт хриплым голосом.

Ему нравилось, что он охрип, он даже специально для этого неумеренно хлестал виски, от которого его уже поташнивало, но он считал, что хрипота дополняет тот образ старого забубенного фронтовика, который он на себя напускал.

Конвей безнадежно махнул рукой.

— Вы идеализируете наших генералов, мой мальчик. Лучший из них Омар Брэдли. Но и он глубоко невежествен, хотя был в молодости школьным учителем, или, может быть, именно поэтому. Что из того, что он не расстается с «Айвенго» как с неким патентом на интеллигентность. Если бы Брэдли читал Стендаля, он бы знал, что его излюбленный Вальтер Скотт был подха-

лим и блюдолиз. На банкете в Эдинбурге в честь Георга Четвертого он благоговейно похитил бокал, из которого пил король. А что касается Джорджа Паттона, то энергии его хватает на то, чтобы дать затрещину солдату или шокировать конгресс заявлением, что разница между нацистами и антинацистами в Германии примерно такая же, как между демократами и республиканцами в Соединенных Штатах. Но на большой полет оперативной мысли он неспособен. Говорю вам, мой мальчик, ваш Паттон преувеличивает силу немцев, даже битых.

Вулворт вскочил и зашагал по комнате, громко стуча сапогами, грязными, как и полагается фронтовику, не вылезавшему из окопов, где под ногами солдат девственно белый снег мгновенно превращался в болотную слякоть.

— Слушайте, Конвей, у меня идея! — прохрипел он.

— С чего бы это? — насмешливо удивился Конвей.

— Нет, я серьезно. Давайте подадим докладную записку в Верховный штаб экспедиционных сил.

— О чем, мой мальчик?

— Об окружении немецких войск, прорвавшихся в Арденны. Проект: «Арденнские Канны...» Нет, я серьезно говорю. Конечно, с картами, со схемами, с подсчетом вооруженных сил... Нет, не смейтесь! Мы подадим прямо в штаб, нам не надо по команде. Да, прямо Беделу Смитту, мой дядя, полковник Вулворт, его правая рука...

Несколько возбужденный джином, Вулворт был необычайно красноречив. Он приводил десятки доводов. Один из них в конце концов подействовал на Конвея.

— Война — это цепь случайностей. Толчок, который вам кажется ничтожным, может изменить течение событий. Наполеон одержал бы победу при Ватерлоо, если бы маршал Груши не опоздал со своей армией. Если бы Жоффр не догадался в тысяча девятьсот четырнадцатом году использовать парижские такси для перевозки войск в битве на Марне, Франция была бы побеждена в самом начале войны. Если наш план окружения пройдет, это может быть концом войны.

Конвей задумался. Потом сказал нерешительно:

— Да и у меня есть рука в Верховном штабе. Я могу действовать через Монка Диксона...

Вулворт понял, что он победил. Он раскрыл свою полевую сумку и вынул оттуда небольшой футляр.

— Что это?

— Готовальня. Нам ведь придется чертить план операции и схемы боевых действий. А это масштабная линейка...

Не следует думать, что замысел, такой естественный и такой соблазнительный, окружить немецкий клин, вдавываясь в расположение союзных войск, родился только у одного юного офицера. Он приходил в голову разным людям в американских войсках, правда мелькая по мере того, как подымался вверх по иерархической лестнице. Но все-таки и на самом верху он тревожил воображение одного из самых способных, но ныне обессиленных генералов — Омара Брэдли.

Он видел смысл наступления 3-й армии генерала Паттона не только в том, чтобы прорвать осаду Бастони — это частная задача, и она может быть решена попутно. Главное же движение армии должно быть направлено с юга в основание немецкого выступа. Но при этом обязательно сопряжено с одновременным движением туда же с севера, где стояли бездействуя 2-я английская и 1-я канадская армии, а также 1-я и 9-я американские армии, на днях — увы! — отнятые у генерала Брэдли и переподчиненные фельдмаршалу Монтгомери.

Охваченный этой мыслью, которая приобрела силу одержимости, Брэдли позвонил из люксембургского отеля в Версаль Эйзенхауэру. Того не оказалось на месте. Взволнованный до крайности, Брэдли потребовал к телефону начальника штаба Смита.

Генерал-лейтенант Уолтер Бедел Смит, как всегда спокойный и корректный, взял трубку. Он вздрогнул, услышав яростный голос Брэдли:

— Какого черта, Бедел, вы не можете заставить Монти начать наступление на север? Противник скоро начнет откатываться назад, если не сегодня ночью, то наверняка завтра!

Генерал Смит вздохнул. Ох эти полевые генералы! Сколько бы глупостей они натворили, если бы не благоразумие и зоркость Верховного штаба! Особенно эта парочка — Брэдли и Паттон, пылкие, как лейтенанты, только что выпорхнувшие из Вест-Понта. Такая близорукость! Стоять в непосредственной — грудь в грудь — близости к немцам и недоучитывать их силы!

Стараясь говорить как можно спокойнее, генерал

Смит медленно, членораздельно, как школьнику, втолковывал Брэдли:

— О, нет, Брэд, вы ошибаетесь. Немцы через двое суток форсируют Маас. Они...

Тут Брэдли не выдержал. Он рявкнул в трубку:

— Катитесь вы к такой-то матери!..

И швырнул трубку на стол с такой силой, что она треснула. Конечно, связист немедленно заменил ее новой.

В ту же ночь, вопреки унылому прогнозу генерала Бедела Смита, немцы начали отступление с вершины своего выступа. Уж они-то не хуже старого опытного генерала Брэдли и юного сосунка-офицера Вулворта понимали, что им грозит окружение. Правда, они рассчитывали на нерасторопность фельдмаршала Монтгомери. И здесь не прогадали. Только 3 января, то есть через неделю, фельдмаршал раскачался двинуть с севера на Уффализ в основание немецкого клина 1-ю армию, эту рабочую лошадь американского войска, в прошлом году возглавившую вторжение в Нормандию. Командовал ею по-прежнему генерал Кортни Ходжес, однокурсник Паттона по Вест-Пойнту, но в отличие от него хладнокровный, уравновешенный и словно распространявший на всю 1-ю армию свой спокойный, методический нрав. К 1-й армии Монтгомери придал одну английскую бригаду, что, конечно, по сравнению с десятью дивизиями Ходжеса носило чисто символический характер.

Это породило недовольство, и не только в рядах американских войск, оно перелилось за океан и вызвало бурю негодования в американских газетах, что, в свою очередь, явилось причиной запроса в английском парламенте и вынудило министра обороны Уинстона Черчилля выступить с парламентской трибуны и заявить о решающей роли американских войск.

Что касается Эйзенхауэра, то он заявил корреспондентам с иронически-скучающей миной:

— По правде говоря, меня несколько не пугало арденское наступление Рундштедта до тех пор, пока я не прочел о нем в нью-йоркских газетах возбужденные статьи некоторых журналистов с пылким воображением.

Эта изящная острота имела успех, ее, смеясь, повторяли в кругах конгресса, пока не узнали об американских потерях в Арденнах: 59 тысяч человек, из них 6700 убитых...

И только один человек не то чтобы одобрил действия фельдмаршала Монтгомери, но, во всяком случае, отозвался о них сочувственно — рядовой Майкл Коллинз:

— Я понимаю старика Монти, у него сердце обливается кровью при виде каждого убитого английского солдата.

Вулворт посмотрел на Майкла с негодованием:

— Да вы знаете, что на каждого убитого английского солдата приходится от тридцати до сорока убитых американцев!

— Знаю.

Майкл подошел к столу и налил себе кофе. Он чувствовал себя у Конвея как дома.

— Знаю, — повторил он, — и нахожу это вполне естественным, если только можно вообще считать убийство естественным. Ведь нас, американцев, в несколько раз больше.

Конвей с улыбкой наблюдал их перепалку.

Вулворт задыхался от возмущения:

— Но ведь англичане тут, в Европе, у себя дома. Их жены и дети, их семейные очаги тут же, у них за спиной. А мы приперли бог знает откуда, из-за океана, чтобы защищать их закопченные каминные и подстриженные газоны вокруг двухэтажных домиков. Я уважаю русских за то, что они защищают сами себя. А мы умираем за чужую землю, за чужую жизнь, за чужую свободу! И они, англичане, хладнокровно смотрят на это, скрестив руки на груди, во главе с этим хитрым стариком в клоунском берете и с маршальским жезлом в руке, который ему подарили не знаю уж за какие заслуги, только не за военные.

Конвей захлопал в ладоши:

— Bravo, мой мальчик! Я аплодирую энергии ваших выражений. Это почти талантливо. Джин идет вам явно на пользу. Но справедливости ради и потому, что этот святой Майкл не даст мне соврать, скажу, что вы не совсем правы в отношении Монтгомери. Он все-таки опытный полководец, и, в конце концов, там, в Африке, это именно он вставил перо в задницу этому прославленному лису пустыни фельдмаршалу Роммелю.

Но Вулворт не успокоился. Он с ненавистью смотрел на Майкла, безмятежно прихлебывающего кофе. Вулворт с наслаждением поставил бы его по стойке «смирно» и

погонял бы по всем правилам казарменной муштры. «Как вы разговариваете с офицером! Налево, кругом, марш! Доложите вашему отделенному командиру, что я приказал арестовать вас на трое суток». Но он стеснялся Конвея и ограничился тем, что глотнул джина и прохрипел сквозь зубы:

— Коллинз, я не вижу в вас ни капли патриотизма.

— Вулворт, — сказал Майкл, с грустью вглядываясь в него, — я пошел на войну добровольцем. Я хотел бороться с фашистским насилием. И я считаю, что я это делал когда убивал немцев. Однажды я столкнулся с ними лицом к лицу, и я увидел, что они такие же люди, как мы. И я, еще не зная этого, убил лучшего из них. После этого я понял, что против насилия надо бороться не насилием, а убеждением. Надо открыть этим ослепленным людям глаза.

— Так... — сказал Вулворт.

Лицо его приняло жесткое, решительное выражение. Он обратился к Конвею:

— Я еду в Верховный штаб и отвезу наш проект.

Он похлопал по объемистой полевой сумке, свисавшей с плеча.

— Как вы едете?

— Полковник Вулворт прислал за мной «джип».

— Будьте осторожны, мой мальчик. По дорогам бродят диверсанты. И они, в отличие от нашего друга, действуют не убеждениями, а автоматами.

Он обвел смеющимся взглядом Майкла и Вулворта. Майкл ответил ему улыбкой. Вулворт сохранял на лице упрямое выражение.

— На дорогу? — спросил Конвей, кивнув в сторону стола.

Вулворт молча подошел к столу, налил виски и, не разбавив, залпом выпил. Потом крепко пожал руку Конвею и, не попрощавшись с Майклом, вышел.

У штаба коменданта города его уже ждал «джип». Шофер дремал за баранкой. Рядом на сиденье лежал автомат Вулворта. Он снял его и сел, положив автомат на колени. Вдруг вскочил, точно вспомнив что-то или придя к окончательному решению, бросил шоферу: «Я сейчас» — и вошел в комендатуру.

Здесь, даже не присев, а стоя, склонившись над столом, он написал рапорт о непатриотичном поведении

солдата 1-го разряда 101-й дивизии Майкла Коллинза, запечатал в конверт и, написав: «Генералу Маколиффу», отдал дежурному.

После чего сел в «джип», прямой, как штык, с раскрасневшимися щеками, и все с тем же выражением жесткой решительности на юношеском лице покатыл по коридору, пробитому в Бастонь 3-й армией.

Уже вечерело, когда Майкл вышел от Конвея. Он направился в казарму 101-й дивизии. Он мог бы еще задержаться у Конвея: увольнительная записка была выписана до десяти часов вечера. Сержант Нортон, взводный командир Майкла, питал к нему слабость и делал ему всякие поблажки. Но Майкл не хотел плутать в темных покореженных улицах Бастони и ушел от Конвея еще засветло.

Собственно, это были зимние сумерки, час, который всегда (о незапамятное мирное время!) наполнял Майкла томной и сладкой нежностью. Люди сновали по улицам с особой настороженной суетливостью, ведь каждую минуту мог начаться обстрел города. Но Майклу казалось невозможным, чтобы этот томительно-сладкий час был прерван убийствами. В эту минуту он увидел Мари. Он сразу узнал ее, хотя ничего общего в ней не было с замарашкой, какой она была тогда, в первый раз. Сейчас на ней был клетчатый короткий плащ, широкая, тоже короткая юбка, берет, сапожки со шпорами, почти элегантно. И не совсем обыкновенно — особенно шпоры. Да еще хлыст в руке; собственно, кисть руки была свободна, хлыст висел в петле на запястье. В Бастони, конской столице, никто не считал такой наряд эксцентричным.

Майкл обрадовался. Он так обрадовался, что даже удивился себе: с чего это я так?

Он готов был поклясться, что и она обрадовалась. Она порозовела. Или в этот час все было розово кругом, снежные сугробы, которых никто не убирал, стены домов с щербинками от осколков, небо, — впрочем, все больше смуглевшее и окрашенное на одном из склонов заревом далеких пожаров.

Они не успели ничего сказать друг другу. Начался обстрел. Немцы вывесили над городом осветительные

ракеты, их называли в армии «люстры». Они действительно были не только ослепительно светлы, но и нарядно роскошны, как те люстры, что висят в дворцовых и театральных залах. Посветив несколько минут, они гасли — зажигались новые.

Снаряды рвались неподалеку. И всё приближались. По-видимому, немцы стреляли с высоты «Рыжий вепрь», которой они в конце концов овладели. Майклу показалось, что он и Мари попали в «вилку»: первый снаряд был с перелетом, второй с недолетом, третий будет по ним. Конечно, не по ним именно, а по тому дому, возле которого они стояли. Вероятно, наводчик принял его за административное здание, хотя это просто школа. Майкл схватил Мари за руку, чтобы оттащить ее. Она вырвалась и крикнула: «Вы с ума сошли!» — когда снаряд бухнул рядом с ними. Майкл все-таки успел швырнуть ее на землю и сам упал.

Она осталась недвижима. Он испугался.

— Ранена?

Он поднял ее на руки. Она обвила руками его шею. Он отнес ее под арку ближайшего дома. Там осторожно положил ее на деревянную приступочку. Она не отпускала его шею. Он сказал:

— Чудачка, у тебя же все в порядке.

Она разжала руки медленно, словно нехотя, как будто руки были какими-то отдельными от нее существами и, опускаясь, неспешно скользили по шее, по плечам Майкла. Глаза ее были закрыты, и в то же время можно было разобрать сквозь грязь, хлынувшую из-под осколков снаряда и запятнавшую ее лицо, что она чуть-чуть, кончиками губ, улыбается, нежно и доверчиво.

Наконец она открыла глаза, и тут они оба смутились и отвернулись. Она сгребла горсть снега и принялась оттирать грязь с лица.

Однако здесь нельзя было оставаться. В убежище? Майкл не доверял этим хрупким подвалам, где могло пришибить балкой или завалить рухнувшими стенами.

Он взял ее за руку:

— Побежали!

— Куда?

Он повлек ее на север. В этой части города находились амбары с горючим. Немцы их не обстреливали. Они надеялись захватить их. Несмотря на то что блокада

Бастони была в одном месте пробита, немцы не отходили от города. Они не только обстреливали, но время от времени атаковали его, обычно одновременно с востока и с запада. Они стремились захватить его во что бы то ни стало. Таков был безоговорочный приказ Гитлера.

Только что фюрер принял в своем кабинете генерала Рейнгарда Гелена, начальника разведки ОКХ¹. Генерал надеялся открыть глаза Гитлеру. В руках у него поразительные сведения. Он рассчитывал, что они подействуют отрезвляюще на фюрера. Дело шло о жизни или смерти фашистской Германии. Он допускал, что первой реакцией Гитлера будет приступ гнева. Генерал готовился встретить его грудью. В дальнейшем — он считал — он убедит фюрера.

Гелен сообщил, что, по данным вверенного ему управления, русские собираются наступать на фронте от Балтики до Балкан. Ободренный молчанием Гитлера, он привел цифры предстоящего русского наступления: 225 дивизий и 22 бронетанковых корпуса. Соотношение русской пехоты к немецкой 11 к 1, бронетанковых войск — 7 к 1, артиллерии и авиации — 20 к 1.

Вот тут Гитлер прервал свое молчание. Он сказал голосом, не предвещавшим ничего доброго:

— Какой соплик подготовил эти вздорные цифры? Кто бы он ни был, его надо отправить в сумасшедший дом!

Гелену в сумасшедший дом не хотелось, и он забормotal, что и у немецкой разведки, конечно, могут быть свои просчеты, которые не ускользают от проницательного взора фюрера. А в то же время в памяти присмирившего генерала лукаво и уж совсем непрошено шмыгнуло воспоминание об одном замечании фюрера, брошенном им накануне войны: «Из всех людей на свете я боюсь только двух: Сталина и Черчилля». Но, конечно, Гелен тут же затушил, затоптал, замуровал это нахальное воспоминание и, по-солдатски вытягиваясь и щелкая каблуками, поспешил ретироваться из кабинета прежде, чем фюрер вспомнит о своем обещании насчет сумасшедшего дома.

¹ Главное командование сухопутных войск.

Генерал Гелен не знал истинной причины дурного настроения Гитлера. Незадолго до его посещения генерал-полковник Альфред Йодль, правая рука Гитлера, его опора в ставке, безропотный исполнитель его стратегии, сказал, уставившись в пол:

— Мой фюрер, мы должны смотреть правде в глаза. Мы не можем прорваться к Маасу.

Да, Гитлер знал это. Йодль передержал это сообщение, не желая быть дурным вестником. Действительно, почему именно он должен попасться под гневную руку фюрера, а не генерал Мантейфель со своей 5-й армией, которая обессилела за несколько километров от Мааса, и не оберстгруппенфюрер Дитрих со своей 6-й армией СС, которая безнадежно застряла где-то у Мальмеди и Сен-Вита? Да, почему не они, быть может, истинные виновники неуспеха, а он, Йодль, штабной отшельник, рыцарь чернил и двухкилометровых карт? Почему из него делают мальчика для битья?

Битья на этот раз не было. Но на ком-нибудь Гитлер должен был сорвать свой бессильный гнев. Взгляд его упал на овчарку. Блонди дремала, положив большую голову на лапы. Гитлер пнул ее ногой в бок. Собака поднялась и зарычала, шерсть на ее загривке вздыбилась. Гитлер попятился за огромный наполеоновский стол.

— Йодль! Мы нанесем союзникам удар в другом месте. Там, где они ожидают его меньше всего: в Эльзасе.

— Счастливая мысль, мой фюрер, — пробормотал Йодль.

— Да, — повторил Гитлер увлеченно, — мы перенесем удар с Арденн на Эльзас и верхний Рейн. А потом вернемся и форсируем Маас. Но для этого мне нужна Бастонь. Вы слышите, Йодль? Когда мы возьмем Бастонь, мы двинемся на север и увлечем за собой в наступление увязшую Шестую армию СС. Передайте мой приказ Мантейфелю: овладеть Бастонью во что бы то ни стало!

Йодль молча склонил голову.

— Разработайте эльзасскую операцию, Йодль. Учтите: наша цель — уничтожение вражеских сил. Вопрос о захвате территории сейчас не стоит. Повторяю: цель — уничтожить живую силу противника. Ударом на Бастонь мы сковываем армию Паттона, а Седьмую американскую армию в Северном Эльзасе мы уничтожаем.

Йодль делал заметки в своем блокноте.

Этот новый план через некоторое время был объявлен на широком совещании в ставке. Присутствовали фельдмаршалы Рундштедт, Модель, а также командиры дивизий, корпусов и начальники их штабов. К тому времени Йодль подготовил карты и объяснительные записки. План был заслушан в молчании. Гитлер ждал возражений. Их не было. Это безмолвие не понравилось фюреру, даже испугало его. Чтобы спровоцировать возражения, он заявил, что Мааса не удалось достигнуть из-за плохих дорог, нехватки горючего и отсутствия переправ. Он подумал и прибавил уже раздраженно:

— А также из-за того, что наши войска тащили на себе слишком много трофейного барахла!

Возражений опять не последовало. В таком же единодушном молчании было принято предложение фельдмаршала Моделя: разъяснить войскам через пропагандаштаффель, что отступление в Арденнах временное и что оно вызвано стратегическими соображениями.

Оставшись наедине с оберстгруппенфюрером Дитрихом, Гитлер сказал ему:

— Зепп, тебя следовало бы разжаловать.

Дитрих склонил голову, насколько ему позволяла короткая шея, и сказал:

— Мой фюрер, я готов пойти в войска простым эсэсманом и служить вам, как служил до сих пор.

Гитлер улыбнулся:

— Ну, ну, Зепп, до этого не дошло. Ты временно передашь Мантейфелю две твоих танковых дивизии. Они ему нужны для взятия этой дерьмовой Бастони и удара на Эльзас. В Эльзасе нас поддержит немецкое население.

Оберстгруппенфюрер вспомнил про немцев из Мальмеди с их прискорбным отсутствием немецкого духа, но промолчал. Гитлер любил разговаривать с Дитрихом: никаких возражений. В последнее время фюрер чувствовал их даже в Моделе, хотя тот молчал, соглашался, но протест протступал сквозь поры.

Только расставшись с Мари, Майкл почувствовал, что ему совершенно необходимо встретиться с ней, и притом как можно скорее. Ночью он вдруг проснулся от нестерпимого желания увидеть ее. Удивительнее всего для него самого было то, что он почувствовал, что она ему дорога. И все в ней ему дорого, все видимое, что можно взять

в руки и прижать к себе или просто увидеть, например ее маленькие руки с обломанными ногтями, и смелый взгляд серых глаз, и женственный изгиб спины. Но также и то, что только чувствовалось в ней, — милосердие, живость ума, отвага и что-то еще, что он не мог определить, но ощущал как близкое себе. Он сказал себе: «Декарт сказал: «Уточняйте понятие, и вы избавите мир от заблуждений». Следуя этой аксиоме, я должен признать, что я влюблен».

А Мари? Тут все было несколько сложнее. Она хотела влюбить в себя Майкла. Пусть потеряет голову, пусть ходит за ней своей нескладной походкой как тень, пусть не сводит с нее глаз, застекленных очками, пусть тянет к ней свои длинные руки. А когда он окончательно влюбится и скажет ей об этом, она с независимым видом ответит ему, что он совсем ей не нравится. Это был эффектный план, но, к сожалению, он рухнул, когда Мари обнаружила, что и руки Майкла, и глаза его, и нескладная походка, и все в нем ей бесконечно дорого.

Как все в этом городе, стиснутом отовсюду войсками противника, любовь их развивалась быстро. Уже на седьмой день они поссорились. Разговор шел о будущем. Конечно, они оба уедут в Штаты. Любовь их была так сильна, что они не представляли себе, что кто-нибудь из них может быть убит.

— Джильду мы возьмем с собой.

Он улыбнулся ее наивности. Но даже и в ее наивности он находил прелесть.

— Мы полетим, — возразил он мягко, — а для лошадей в самолете нет места.

Мари не соглашалась:

— Но почему же? Джильда небольшая.

— Да, но неизвестно, как она поведет себя в самолете. Вдруг начнет брыкаться. Это опасно.

— О, она смиренная, и я все время буду с ней.

Он говорил со снисходительностью взрослого, обращающегося к ребенку.

— Нет, дорогая, к сожалению, Джильду не пустят в самолет.

Она задумалась. Она искала выход.

— Майкл! Мы поедем пароходом!

— Но, милая, Джильду и на пароход не возьмут.

Она сразу нашла новый выход:

— Тогда мы останемся в Люксембурге.

Он помрачнел:

— Я вижу, ты любишь Джильду больше, чем меня.

Она вспыхнула, освободилась от его объятий, вско-
чила.

— Я поняла тебя, Майкл! Ты хочешь, чтобы я лежала на пороге твоего дома в Штатах как половик и ты бы вытирал об меня ноги!

Она ушла. Он не пошел за ней. Он смотрел на ее удаляющуюся спину с горечью и удивлением. Впервые он обнаружил в этом нежном создании строптивость. И повелительность. И все равно любил ее.

ДЛЯ ПРИМЕРА

Назавтра Майкл не пришел к Мари. Ей было немножко жалко его, она так резко разговаривала с ним накануне. Но она не хотела поддаваться расслабляющему чувству жалости, она считала себя правой. Майкл не пришел и на следующий день. Она по-прежнему приписывала это их ссоре. Из самолюбия (оборотная сторона любви!) она не хотела делать первый шаг к примирению. Но когда и на третий день его не было, Мари забеспокоилась. «Его могли ранить...» О худшем она не смела думать. Она бродила по городу, не зная, как отыскать его. Она не знала номера его части, ни даже рода его оружия. Она набрела на длинный дощатый барак — солдатский клуб Красного Креста. У входа рядом с плакатом «Сегодня «Красотка из Клондайка» с участием Бетти Грейбл», сидя на табуретке, дремал часовой, поставив карабин между ног. Мари показалось, что у него доброе лицо. Поначалу он никак не мог взять в толк, что ей нужно, — она говорила на таком странном языке. Но имя, которое она то и дело повторяла, — Майкл Коллинз — наконец вразумило его.

— Так это, пожалуй, тот парень, о котором оглашено в приказе по гарнизону. Так он арестован. А черт его знает за какие проделки! Его судить будут... Ну, не горюй! Может, утешимся с тобой, а?

Процесс был назначен на полдень. Ровно в двенадцать часов дня немцы начинали обедать, и не было силы, ко-

торая могла бы оторвать их от овсяной похлебки, приправленной маргарином, и толстого ломтя хлеба, обильно смазанного эрзац-маслом, плюс порция желтоватого шнапса, полученного путем электролитического перегона из сосновых чурбаков.

Для суда был отведен самый большой зал в городе. В одном конце возвели помост для судей, сторон и обвиняемого, здесь установили микрофон. Другой конец зала отгородили канатом для солдатни. Несколько скамей было поставлено для офицеров.

В ставке дали санкцию на публичный процесс, это сочли полезным для поддержания воинского духа в освобожденном городе. Из Верховного штаба прибыли на автомобиле «линкольн-континенталь» назначенный главным судьей полковник Вулворт из отдела личного состава и административных вопросов и прокурор, молодой военный юрист капитан Ричард Браун. Прибыла также в качестве секретаря суда лучшая стенографистка штаба — старший сержант Нелли Кельвин. Труднее было найти защитника для обвиняемого в таком тяжком преступлении: отказ сражаться в боевой обстановке и распространение антипатриотических взглядов. Подсудимый считался обреченным, и никому из юристов не хотелось компрометировать себя защитой явно безнадежного дела. Однако законное судопроизводство даже в военно-полевом суде предусматривало участие в состязательном процессе двух сторон. Затруднение неожиданно устранилось, когда первый лейтенант Томас Конвей вызвался выступить в качестве защитника.

Главный судья полковник Вулворт занял свое место за столом на помосте. Он снял пилотку и подшлемник и разгладил седоватые волосы, аккуратно расчесанные на прямой пробор. Он никогда не носил фуражку, а только пилотку (зимой прибавляя к ней подшлемник) для придания себе моложавого вида. Он так и выглядел — благообразным моложавым офицером, довольно бравым на вид. Конвей отлично знал его и считал, что это еще не самая плохая фигура в качестве главного судьи.

— Что вам сказать о полковнике Вулворте? — говорил Конвей накануне своему подзащитному. — Великий Кулинар, состряпавший это блюдо, положил в него всего понемножку, но поскупился на соль и переложил са-

хара. Получилось варево, вполне приличное на вид, но совершенно безвкусное. Преснятина!

Два других судьи были молодые военные юристы, обрадованные тем, что наконец им нашлась работа по специальности. Один служил в химических войсках и ставил (очень редко!) дымовые завесы, другой работал карикатуристом во фронтовой газете «Stars and Stripes»¹. Появление на помосте секретаря суда старшего сержанта Нелли Кельвин вызвало оживление в публике, поскольку китель с трудом сходился на ее пышной фигуре. Полковник Вулворт возгласил:

— Обвиняемый Коллинз, вы признаете себя виновным?

Майкл встал. Он был без пояса. Отсутствие этой, казалось бы, ничтожной подробности военного костюма сразу придавало ему какой-то опущенный, не воинский и подозрительный вид.

Он ответил:

— Нет, не признаю.

— Значит, вы отрицаете предъявленные вам обвинения?

— Нет, не отрицаю.

Полковник Вулворт в некотором недоумении потер свои угловатые ладони.

— Вы противоречите сами себе.

— Нисколько. Я признаю самый факт существования обвинения. Но я отрицаю факт существования вины.

Полковник нахмурился. Его предупреждали, что обвиняемый — трудный субъект, из той новой американской молодежи, которая склонна к умничанью и обсмеивает все на свете. На всякий случай он сказал строго:

— Обвиняемый, старайтесь взвешивать свои слова.

С каких пор у вас это началось?

— Простите, сэр, что именно?

— Ну, вот эти преступные антивоенные взгляды?

— С тех пор как я убил ангела.

Наступило молчание. Только в дальнем углу зала из публики донесся восхищенный возглас:

— Во дает!

Судья поспешно сказал:

— Садитесь, обвиняемый.

¹ «Звезды и полосы» (англ.).

Он вспомнил, что по этому делу назначена врачебная экспертиза для обследования степени вменяемости подсудимого. Он вызвал экспертов. Вошли два военные врача. Один из них доложил:

— В результате обследования психического статуса подсудимого экспертиза пришла к единодушному заключению, что подсудимый совершенно вменяем.

Поднялся Конвей:

— Ваша честь, я заявляю отвод данной медицинской экспертизе как неквалифицированной; один из экспертов — хирург, другой — врач по венерическим болезням. Я прошу суд назначить авторитетную экспертизу, для чего необходимо пригласить специалистов, то есть психиатров и невропатологов.

Прокурор Браун поднял руку:

— Я протестую! Уж не предполагает ли представитель защиты, что мы будем выписывать специалистов из-за океана?

— Придется, если мы не найдем их здесь, — сказал Конвей серьезно. — Ведь не забудьте, что здесь решается вопрос о жизни и смерти моего подзащитного.

Полковник, пошептавшись с двумя другими судьями, объявил:

— Протест прокурора принят. Подсудимый признан вменяемым и, следовательно, полностью отвечающим за свои поступки.

И он добавил:

— Введите свидетеля.

Перед судом предстал молодой Вулворт.

«Конечно, — писал впоследствии Конвей на страницах парижского издания «Геральд трибюн», где он уже по окончании войны рассказал обо всем этом странном и жутком процессе в наделавшей шуму статье «Бедный заблудший ангел», — конечно, я мог потребовать отвода главного судьи полковника Вулворта, поскольку он и свидетель лейтенант Вулворт находились в родственных отношениях, но я понимал, что мой протест будет отклонен, и предпочел оставить это обстоятельство в запасе как повод для обжалования приговора в высшей инстанции. Я не учел только одного: молниеносной быстроты, с какой приводятся в исполнение приговоры военно-полевого суда».

Что касается Майкла, то на лице его при виде этого

свидетеля изобразилось огорчение — не за себя, конечно. За него, за лейтенанта Вулворта. К чести главного судьи надо сказать, что на время допроса его племянника он передал председательствование одному из рядом сидящих судей, карикатуристу из газеты «Stars and Stripes», а сам несколько отсел от стола и, благожелательно наклонив голову, наблюдал течение процесса.

Майор-карикатурист, приосанившись, спросил лейтенанта Вулворта:

— Свидетель, вам приходилось встречаться с подсудимым Коллинзом?

— Да, сэр.

Лейтенант отвечал четко, уверенно, нисколько не колеблясь, и весь вид его, гордо поднятая голова, смелый открытый взгляд, который он упирал в судей, в прокурора, даже в Конвея, во всех, только почему-то не в подсудимого рядового Коллинза, — все это сливалось в образ настоящего воина, честяги, на таких, черт побери, держится армия! — не то что этот унылый очкарик, этот долговязый интеллектурал, который сидит между двух конвоиров со спокойным, даже скучающим видом, словно он в парикмахерской дожидается очереди побриться.

Карикатурист продолжал, купаясь в юридическом блаженстве:

— Вам приходилось, свидетель, слышать антипатриотические речи подсудимого?

— К сожалению, сэр.

— Не можете ли вы припомнить, что он говорил, кроме того, что вы приводите в своем заявлении, поданном по начальству?

Полковник Вулворт досадливо хрустнул пальцами. Ах, карикатурист, карикатурист, что же ты наделал! Ты же выдал молодого Вулворта, ты публично расколол доносчика! Даже там, за канатом, пошел гул: так вот кто наклепал на парня... вот этот офицерик... информатор, сука!..

Лейтенант как будто не придавал этому значения. Но что-то в нем определенно слиняло. По-прежнему гордый задир головы, но это уже только оболочка, внутри все смято и подленько дрожит. Он не ожидал этого удара в спину, да к тому же еще от своих. Он пробормотал:

— Не припомню... Это было давно...

Сзади, из-за каната, из солдатской массы:

— А ты помочись себе в карман, может, припомнишь. Главный судья быстро вмешался, отпустил свидетеля и дал слово прокурору.

Речь представителя обвинения была краткой. Он квалифицировал действия обвиняемого, во-первых, как дезертирство с поля боя и, во-вторых, как государственную измену. Эта преступная деятельность, подчеркнул прокурор, тем более возмутительна, что она протекала в условиях героической обороны города армией и населением от осаждающих их гуннов.

Речь прокурора текла гладко, она к тому же была несколько не кровожадной. Он даже выразил некоторое сожаление по поводу заблуждений подсудимого, к несчастью принявших такую острую форму, которая исключает всякую возможность снисхождения... Да, речь капитана Брауна текла на редкость плавно, почти певуче. Один раз только он запнулся, когда распространялся насчет воинской присяги. Он заколебался между двумя ее определениями — *military oath* и *war vow* — и на секунду затих, мысленно оценивая вескость каждого из них. В это мгновение затишья из солдатской массы раздался зычный голос сержанта Нортон:

— Чего заткнулся? Толкай дальше, лошадиная задница!

Главный судья тут же призвал публику к порядку, пригрозил, что в случае повторения недостойного шума очистит зал от буйных элементов, а в крайнем случае вообще удалит всю публику, и отрядил к канату патруль военной полиции. Четыре Эм-Пи, все негры, стояли у каната, грозно поблескивая белками глаз из-под низко надвинутых касок.

Прокурор продолжал речь. Но уже в ней не было прежнего блеска. После приведенного выше поощрительного выкрика из публики представитель обвинения как-то сник и заключительную часть своей речи промямлил без всякого энтузиазма, в том числе требование о вынесении подсудимому смертного приговора. Часть публики все же услышала это требование и подняла шум, унять который патруль военной полиции был не в силах, тем более что эти четыре Эм-Пи сами стучали о пол прикладами карабинов и кричали вместе со всеми:

— Позор!..

*Речь представителя защиты первого лейтенанта
Томаса А. Конвея, М. А.¹*

(Стенографическая запись)

«Конвей. Ваша честь! Господа судьи! Я пересмотрел все наши кодексы и уложения, а также специальные решения, и нигде я не нашел закона или хотя бы судебного прецедента, разрешающего подвергать судебному преследованию ангела.

Прокурор капитан Браун. Ваша честь, я протестую!

Главный судья полковник Вулворт. Протест принят. Представитель защиты, потрудитесь в дальнейшем обходиться в судебном разбирательстве без обращения к потусторонним силам.

Конвей. Я не могу согласиться с протестом уважаемого представителя обвинения по той простой причине, что он меня неправильно понял. Этот вопрос чисто терминологический. Никакого обращения к мистике в моих словах, как и в моих помыслах, нет. Я вовсе не хотел сказать, что мой подзащитный является пришельцем из небесных сфер. Если в этом есть хоть тень сомнения, защита не возражает против образования специальной экспертизы для обследования анатомического строения тела моего подзащитного, чтобы убедиться, что ни малейшего признака ангельских крыльев на нем нет и, наоборот, есть все, что полагается иметь земному стандартному мужчине.

Шум в публике, смех. Возглас: «Пусть покажет!»

Главный судья. Прошу немедленно прекратить шум! Первый лейтенант Конвей, продолжайте!

Конвей. Благодарю вас, ваша честь. Таким образом, употребленный мной термин «ангел» надо понимать в переносном смысле, в поэтическом, философском и, главным образом, психологическом. Под термином «ангел» я разумею то светлое, то возвышенное, то подлинно человеческое, что живет в душе каждого человека. Разве когда вы подаете милостыню бедняку, в вас не просыпается ангел? Вся вина моего подзащитного в том, что в нем ангел никогда не засыпал. Никакая война не спо-

¹ Master of Arts — магистр искусств (англ.).

собствует смягчению нравов. Наоборот, сражающийся мир сейчас до того озверел, что не только люди, но, как мы видим, даже и ангелы стали убивать друг друга...

Прокурор. Протестую! Ваша честь, уж не думает ли достопочтенный представитель защиты, а вместе с ним его подзащитный, что это «светлое, возвышенное, подлинно человеческое» живет также и в душе палачей Майданека и Освенцима, в душе изверга Гитлера и его подручных?

Защитник. Нет, я этого не думаю и смею утверждать, что мой подзащитный тоже этого не думает.

Прокурор. Для окончательного разрешения сомнений ходатайствую о том, чтобы суд задал этот вопрос подсудимому Майклу Коллинзу.

Судьи совещаются.

Главный судья. Суд постановил удовлетворить ходатайство обвинения. Подсудимый Коллинз, вы слышали вопрос обвинения? Вы можете ответить на него?

Подсудимый. Да, сэр. Я противник насилия. Но я не задумываясь разрядил бы винтовку в любого человека, который на моих глазах производил бы насилие над беззащитным человеком!

Шум в публике. Голос оттуда: «Парень, бери винтовку и жарь на фронт! Покажи этим ублюдкам, на что ты способен!»

Главный судья. Старшина, уgomоните крикунов.

Военная полиция удаляет из зала нескольких человек.

Главный судья. Капитан Браун, вас удовлетворяет ответ подсудимого?

Прокурор. Не вполне, ваша честь. В нем есть что-то ускользающее от прямого ответа на прямой вопрос. Разрешите поставить вопрос иначе.

Главный судья. Разрешаю.

Прокурор. Считает ли подсудимый, а также глубокоуважаемый представитель защиты, что то, что он обозначил термином «ангел», то есть, очевидно, божественное начало, другими словами, некое нравственное чувство, есть и в профессиональном убийце?

Подсудимый Майкл Коллинз. Безусловно, есть. Только оно затоптано уродливой жизнью. Но оно есть в нем в дремлющем состоянии. Задача заключается в том, чтобы пробудить его. Я и старался сделать это,

ибо мы граждане свободной страны и мы вольны высказывать свои взгляды, как бы они ни разнились от взглядов джентльменов за судейским столом.

Шум в публике. Выкрики: «Правильно, парень!.. Выплюнь кляп изо рта им в морду!.. Скажи им всю правду, как она есть!.. Да здравствует ангел!..»

Главный судья. Объявляю перерыв на тридцать минут».

В перерыве прокурор подошел к Конвею.

— Слушайте, Том, — сказал он, — я думаю, что в конце концов он действительно психопат.

— Откажитесь от обвинения, Дик. Скажите, что вы не можете обвинять ненормального. И дело с концом. Это лучший выход из положения.

— Вы понимаете, что я не могу этого сделать, потому что есть официальная медицинская экспертиза.

— Неквалифицированная!

— Неважно. Суд не пойдет на создание новой экспертизы. Единственное, что может спасти этого чудака, это признание своей вины. Он пойдет на это?

— Боюсь, что нет.

— Ну, значит, он действительно псих.

Конвей вздохнул и сказал:

— Да, так называется мера его честности...

Капитан Браун пристально посмотрел на Конвея:

— Том, вы понимаете, что они его не пощадят. Они это сделают «для примера». Все-таки попробуйте поговорить с ним...

Майкл сидел на табурете, спустив руки между коленей, глядя в дощатый пол помоста. Он думал о том, что он скажет в своем последнем слове, если, конечно, оно будет ему дано. Он расскажет, как он пришел к своим убеждениям. А стоит ли? Стоит ли выворачивать душу перед людьми другого сознания? Разве это проймет их? Конечно, таких, как капитан Браун или полковник Вулворт и оба майора обок него, не проймет. Но молодого Вулворта... Майкл вспомнил, какое у него стало жалкое, растерянное лицо, когда открылось, что он доносчик. Майклу снова стало жалко его, и он подумал, что Вулворт, наверное, раскаивается сейчас в своем поступке, и ради таких, как он, в которых еще не до конца умерла душевная чуткость, стоит сказать то, что Майклу хоте-

лось сказать в последнем слове, если ему его дадут, конечно. А может быть, даже удастся расшевелить глубинное, ангельское и в самом главном судье. «Кажется, он добрый», — думал Майкл, вглядываясь в симпатичное бесхарактерное лицо полковника Вулворта.

В этот момент полковник повернулся, чтобы скрыть зевок, и взгляды главного судьи и подсудимого встретились. Полковник мгновенно отвернулся. «Он явно испугался меня. Почему?» — недоумевал Майкл.

Мысли Майкла были прерваны подошедшим Конвейем. Конвоиры преградили ему путь. Но полковник Вулворт милостивым жестом допустил его к Майклу. Никто не может сказать, черт побери, что в процессе, где председательствует полковник Вулворт, не соблюдаются нормы судопроизводства. Защитник, господа, может в любое время общаться со своим подзащитным!

— Майкл, — сказал Конвей, — слушайте меня внимательно. Вам дадут последнее слово. Могут не дать? Ну, этого я добьюсь во всяком случае. Не вздумайте там настаивать на ваших миролюбивых идеях. Погребите их на дне своей души. Оставьте это до лучших времен. Перестаньте быть ангелом хоть на время. Признайте свою вину. Ну, не резко, а, так сказать, на тормозах: я, мол, увидел, что ошибался, я пересмотрю свои позиции. Словом, мягко, как вы умеете.

— Нет, я не умею, Конвей. Я не хочу уметь.

— Майкл! Опомнитесь! Тут не шутят!

— Конвей, подумайте, что вы мне предлагаете! Это — бесстыдство!

— Майкл, не губите себя.

— Я не могу предать себя.

— Вы помните, какого приговора требовал прокурор?

— Да.

— Ну хорошо, Майкл, вы вольны распоряжаться собой. Но зачем вы губите Мари?

— Она здесь?

— Вот она, за канатом, справа.

Майкл увидел ее. Маленькое заплаканное лицо. Он закрыл глаза от внезапной боли. Жалость и любовь наполнили его.

— Конвей, зачем она пришла?.. Я все время отгонял мысли о ней, чтоб не ослабеть.

— Слушайте, через четверть часа кончится перерыв.

Обдумайте хорошенько, что я вам сказал. Не губите Мари. Ведь вы нарушаете свои же убеждения — вы убьете беззащитное создание: она вас не переживет.

Но звонок главного судьи раздался раньше. Он спешил. Он боялся, что немцы доконали свои маргариновые бутерброды и примутся за обстрел города. Пока судьи и стороны рассаживались, а публика вновь заполняла свой загон, Майкл собирал мысли для последнего слова.

Он вспомнил того близнеца, в которого он выпустил обойму. Мальчик пал сразу. Какое у него было успокоенное лицо! Смерть не обезобразила его. Наоборот! Оно было прекрасно своей добротой. Словно смерть принесла ему радость. Майкл чувствовал, что он мог бы полюбить его. Второй близнец склонился над убитым братом, прижал к нему лицо, искаженное горем и все же очень похожее на того и в то же время заурадное, без ангельского света в нем.

*Последнее слово подсудимого, солдата первого
разряда Майкла Ч. Коллинза*

(Стенографическая запись)

«Не знаю, известно ли джентльменам за судейским столом, что я был освобожден от призыва на военную службу из-за плохого зрения. Но я добивался, чтобы меня взяли в армию добровольцем. И я добился. Я это сделал потому, что хотел лично участвовать в борьбе с той формой насилия, которая называется фашизмом. Сейчас я не могу без стыда вспомнить об этом, но я воевал, как все. Тогда мне казалось, что каждый убитый мной немец приближает избавление мира от ужасов насилия. Так это продолжалось некоторое время. Но постепенно сомнения стали одолевать меня. «Неужели можно убийством пресечь убийства?» — спрашивал я себя. Я продолжал ходить в бой, но старался не стрелять, если только не вынуждала меня к этому необходимость самосохранения. И вот однажды случилось нечто такое, что окончательно отравило меня от убийств. Случилось, что в рукопашной стычке, испугавшись за себя, я застрелил одного немецкого солдата, который, как тут же выяснилось, совершенно не покушался на мою жизнь. И я услышал возглас другого — потом оказалось, что это его брат-близнец: «Что вы сделали! Он шел в бой без оружия!

Вы убили ангела!..» Взятый в плен, этот солдат рассказывал мне, что его брат, убитый мной, ни в кого не стрелял, что он не хотел марать свою душу убийством, что он считал, что люди могут договориться друг с другом мирно, не прибегая к насилию, одной силой убеждения. Тогда я понял, что война — это наибольшая гнусность, какая возможна на земле, и она порождает другие гнусности, и что мир вступил в эпоху убийств...»

На этом стенограмма обрывается. Конвей в упомянутой статье «Бедный заблудший ангел», помещенной в 1946 году в парижском издании «Геральд трибюн», пишет, что начавшийся артиллерийский обстрел встревожил главного судью, хотя несколько не повлиял на публику за канатом, там ни один человек не тронулся с места. Конвей приводит еще одну фразу Майкла. Он посмотрел в публику, нашел глазами заплаканное жалкое лицо Мари и, обращаясь к суду, сказал глухим голосом: «Конечно, я виноват... с вашей точки зрения...»

Вряд ли судьи, как свидетельствует Конвей, обратили внимание на эти слова, которые при желании можно было счесть, по мнению Конвея, за признание своей вины. В обстановке все усиливающегося обстрела полковник Вулворт пробормотал приговор. Мало до кого из публики дошел его задыхающийся голос, к тому же то и дело заглушаемый уже довольно близкими разрывами снарядов. По крайней мере, еще два дня спустя солдаты спрашивали друг друга: «Так что они сделали в конце концов с тем парнем, который так лихо обделал всю эту судейскую шпану?»

В той же статье Конвей пишет, что полковник Вулворт несколько не кровожаден, как и те две марионетки, что сидели по обе стороны его. «Дело не в них, — продолжал Конвей, — Дело в автоматизме военно-бюрократической машины. С той же аккуратностью, с какой автомат, куда вы опустили монету, выбрасывает вам пачку сигарет или бутылку кока-колы, военно-бюрократическая машина, куда Майкл опустил свои ангельские антивоенные взгляды, выбросила ему смерть».

Приговор был приведен в исполнение через полтора часа после вынесения, на обрывистом берегу речонки Вамм. Тело кое-как зарыли, а вернее, забросали снегом там же в овраге.

«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»

Раз в день Штольберга выпускали погулять. Разумеется, с конвоиром. Каждый раз это был другой эсэсман. Разговаривать им, по-видимому, было запрещено. Может быть, им внушили, что Штольберг крупный преступник. Во всяком случае, попытки Штольберга завести разговор не удавались. На его слова эсэсманы не откликались. Штольберг злился. Он возненавидел своих безмолвных стражей. Как-то ему попался конвоир-коротышка. Длинноногий Штольберг намеренно делал огромные шаги. Коротенький солдат еле поспевал за ним, задыхался, потел. Штольберг насмешливо оглядывался и встречал горящие злобой глаза. Вечером Биттнер сказал ему:

— Я понимаю, вам скучно. Но это довольно опасный вид развлечения. Солдат может принять вашу быструю походку за попытку к бегству и всадить вам пулю в затылок.

«Я ему для чего-то нужен живым, — подумал Штольберг. — Иначе он давно расправился бы со мной посредством Genickschuß. Это ведь у них излюбленный метод расправы».

Ровно через полчаса прогулки конвоир отрывисто брякал: «Обратно!» — и Штольберг уныло возвращался в опостылевшую ему квартиру Биттнера. Ведь арест был домашний. Пока...

Ему принесли его чемодан из автомашины. Все было цело, даже дневник. Штольберг не сомневался, что его прочли. Но никаких последствий. Пока...

Биттнер переменялся. Уже не было деланно приятельских бесед вечерами за бутылкой мозельвейна. Бледное лицо гауптштурмфюрера было холодно, даже надменно. На раздраженный вопрос Штольберга: «Долго ли я буду торчать здесь?» — Биттнер ответил вопросом:

— Почему вы спрашиваете об этом меня?

— Ведь вы мой тюремщик!

Биттнер провел мизинцем по своим фюрерским усикам и сказал скучающим голосом:

— Я не тюремщик, я следователь. Следствие по вашему делу продолжается.

— Мне надо послать отчет генералу Мантейфелю.

Ведь он должен знать, куда девался его специальный курьер!

— Уже сделано, — ответил Биттнер коротко.

Генералу было совсем не до Штольберга. Он и забыл о незначительном капитане, которого он послал в 6-ю армию, когда положение на фронте было другим. Сейчас все круто переменялось. Убедившись в безуспешности арденнского наступления, Гитлер приказал ударить на прилегающий с юга к Арденнам Эльзас.

31 декабря в 23 часа, за час до Нового года, началось это новое наступление — из Битша на Пфальцбург и с Кольмарского плацдарма (то есть уже по ту сторону Рейна) на Сабернский проход в Вогезах. А тот, кто владеет Сабернским проходом, владеет Странсбургом, черт побери! «Ах, опять эти горы! В печенке они у нас, будь они прокляты», — ворчали солдаты, подталкивая буксующие машины. Но эти же горы укрывали передвижения немецких войск.

Кодовое название новой операции — «Северный ветер». Мощное вторжение в Эльзас, неожиданное, как ураганный порыв ветра! И когда — в новогоднюю ночь! Праздничная ночь как элемент гениальной стратегии фюрера. Небось эти сопливенькие американские генералишки благодушествуют за бокалами с шампанским, поскольку «вдову Клико» они временно оттяпали у нас. Вот мы им и врежем! Давай, Гиммлер!

Теперь, когда у Гитлера стало не хватать людей для пополнения убыли, ни горючего для его некогда всемогущих танков, ни самих танков, когда его империя стала потрескивать на востоке и на западе, он начал искать спасения в шоковой стратегии — скажем, наступать в праздничную ночь, чтобы застать противника врасплох, или спускать на противника свору переодетых диверсантов, превращая войну в какой-то дьявольский маскарад, или заменить в руководстве армии профессиональных военных своими подручными, в данном случае Гиммлером.

Что ж, эта тактика мелких укусов поначалу имела успех. За первые три дня немцы продвинулись в Эльзасе примерно на тридцать километров, перерезали дороги на Мец и Нанси. Только пятнадцать километров от-

деляли их от Сабернского прохода. Захватив его, немцы заперли бы в котле всю 7-ю американскую армию. Итак, вместо того чтобы самим быть окруженными в Арденнах, немцы готовили — притом с поразительной быстротой — котел для американцев. В Страсбурге паника.

— О да, мой фюрер! — воскликнул Гиммлер, приняв на себя командование войсками на верхнем Рейне. — Мы отберем у них весь Эльзас!

Гиммлер всегда считал себя выдающимся полководцем, которому только недоставало случая доказать это. Первым делом он приказал снять часть войск с Кольмарского плацдарма и перебросить их на север. Узнав об этом, фельдмаршал Рундштедт пришел в ужас и, изменив своему обычному хладнокровию, помчался к Гитлеру. Тот его не принял.

Произведя разные переброски в переподчиненных ему войсках и растопырив их по всему фронту, Гиммлер стал ждать победного результата. Но оказалось, что одерживать победы на полях сражений — это далеко не то же самое, что затискивать беззащитных евреев в газовые камеры.

Однако поначалу «Северный ветер» дул исправно. Рейн севернее Страсбурга немцам удалось форсировать. Таким образом, был захвачен еще один плацдарм, куда Гиммлер немедленно перебросил 10-ю танковую дивизию СС, отдавая, как и Гитлер, эсэсовским частям явное предпочтение.

Во всяком случае, в Шеллбёрсте, то есть в Верховном штабе экспедиционных сил союзников, «Северный ветер» вызвал ряд сквознячков. Хлопали двери, встревоженные оперативники бегали по комнатам, и Дуайт Эйзенхауэр распорядился подготовить приказ об отходе 7-й армии. При этом Страсбург оказывался обнаженным, и немцы, конечно, не преминули бы его взять (тем более без боя!). Эйзенхауэр заранее санкционировал это. Его, как и премьер-министра Англии Уинстона Черчилля, бывшего в то время в штабе, это нисколько не взволновало. Действительно, что им, в конце концов, Страсбург! Еще к Парижу они могли питать некоторое почтение. А что Страсбург, что какой-нибудь Сен-Вит — им это все едино. Не американские же они и не английские.

Взволновался один только французский представитель при штабе и немедленно известил де Голля.

Де Голль прибыл тотчас. Он отказался сесть, поэтому все стояли. В свои пятьдесят четыре года седой, неправдоподобно высокий, он недобрал только восьми сантиметров до двух метров. Маленькая голова его возвышалась над всеми. Он говорил, чеканя каждое слово:

— Боши держали Страсбург пять лет...

В голосе его, от природы гортанном, в минуты волнения появлялось нечто вроде орлиного клекота.

— Мы взяли Страсбург месяц назад, — мягко перебил его Эйзенхауэр.

— Его взяла моя Первая французская армия. И что же, вас хватило только на один месяц, чтобы удержать его.

Эйзенхауэр счел эти слова по меньшей мере некорректными, если не оскорбительными.

— Генерал де Голль, между нами говоря, — сказал он холодно, — ваша армия не более чем символ.

Де Голль чуть пошатнулся. Это был недозволенный удар. Ниже пояса. Да, в этой войне французской армии нечем похвастать. И все же...

— Вы забыли, — сказал де Голль надменно, — что в сорок втором году не американцы и не англичане, а французы героически отражали атаки африканского корпуса Роммеля.

Черчилль многозначительно кашлянул. Покосившись на него, Эйзенхауэр увидел, что он смотрит на него неодобрительно. Американец рассердился.

— Генерал, — сказал он иронически, — в нашем послужном списке тоже значатся кое-какие победы.

И, переменив тон на серьезный, добавил:

— Для вас Страсбург вопрос престижа, а для...

Де Голль снова не дал ему закончить.

— Да, престижа, — сказал он, подчеркивая каждое слово взмахами длинной руки, — но не только. Вы понимаете, на что вы обрекаете жителей Страсбурга, которые с таким энтузиазмом сплотились вокруг своих освободителей!

— Это война... — сказал Эйзенхауэр. — Донкихотство тут неуместно.

Он подумал, глядя на грустное большеносое лицо

этого великана, что он в самом деле смахивает на рыцаря печального образа.

— Значит, у меня свои представления о войне, — сказал де Голль. И повысив голос: — Генерал Эйзенхауэр, от имени Франции я требую, чтобы Страсбург не был сдан!

Слово «требую» окончательно взорвало Эйзенхауэра. Он скользнул взглядом по двум скромным звездочкам бригадного генерала на рукаве де Голля и сказал:

— По общему стратегическому плану это невозможно.

Де Голль молчал несколько секунд.

— В таком случае, — сказал он, — французы сами будут оборонять Страсбург силами моей Первой армии.

Гнев все еще кипел в Эйзенхауэре. Такое пренебрежение к его словам, да еще в присутствии Черчилля, с интересом наблюдавшего эту сцену, попыхивая сигарой, такое возмутительное пренебрежение, и со стороны кого — со стороны правителя без страны, генерала без войска!

Между тем де Голль казался совершенно спокойным. Волнение его выражалось, может быть, лишь в том, что он беспрерывно дымил, закуривая одну сигарету за другой. Он как бы курил одну сигарету, бесконечно длинную, как он сам.

— Предупреждаю вас, генерал, — сказал Эйзенхауэр, грозно нахмурившись, — что, если Первая французская армия не подчинится моим приказам, я сниму ее со снабжения.

— Вы не сделаете этого!

— Я это сделаю. Она не будет получать ни боеприпасов, ни снаряжения, ни продовольствия.

— Что ж... Франция создана ударами меча. Она будет сражаться даже голыми руками.

Эйзенхауэр вздохнул. Гнев его остыл. К досаде его начал примешиваться оттенок восхищения. «Это какая-то Жанна д'Арк в штанах», — подумал он.

— Слушайте, генерал, — заговорил он примирительно, — смотрите, как действую я. Гибко! Когда нужно, уступаю, но потом беру свое. Больше гибкости, генерал.

Де Голль пожал широкими плечами.

— Вам легко говорить о гибкости, — сказал он. — Под вами могучая опора — Америка! Огромная страна,

нетронутый материк. А что подо мной? Растерзанная страна, ничтожная армия. Нет, генерал Эйзенхауэр, гибкость не для меня. Я слишком слаб, чтобы позволить себе такую роскошь.

Провожая де Голля, Эйзенхауэр взял его под руку и сказал ласково:

— Мы расстаемся друзьями, не правда ли?

Де Голль глянул на него с высоты своего башенного роста и позволил себе впервые за время их разговора улыбнуться. Он понял, что выиграл игру.

— Друзьями? — повторил он. — Люди могут иметь друзей. Государственные деятели — никогда.

Вернувшись в штаб, Эйзенхауэр отменил приказ об отступлении 7-й армии. Страсбург остался французским.

Все же положение было серьезным. Немцы в Эльзасе. Востонь осаждена. Правда, Паттон со своей 3-й армией продвигался в глубь Арденн и наконец достиг Уффализа. И чертовски медлительный Монтгомери навстречу ему продвигается туда же с 1-й американской армией.

Но ведь это уже отыгранная карта. Черчилль, правда, еще не расстался с эффектной мыслью окружить арденнскую группировку. Оставшись наедине с Эйзенхауэром, он сказал:

— Черепаха слишком сильно выдвинула вперед голову. Почему бы ее не отсечь?

Эйзенхауэр пожал плечами:

— Если черепахе не поддать в зад, она нас заглатывает.

Черчилль рассмеялся:

— На поле боя неумеренный аппетит ведет к катастрофе.

— Загнать немцев в окружение мы не могли бы. Откровенно говоря, с нашими силами мы и не пытались. Хотя такой план был нам представлен.

— Не Брэдли ли его разработал?

— Нет. Два молодых офицера.

— Похвальная инициатива.

— Безусловно. Но нам пришлось объявить им выговор за непрошенные и неуместные советы командованию. Мы предпочитаем не окружать немцев, а выжимать их.

Вздохнув, Эйзенхауэр добавил:

— Только бросив на чашу весов самую тяжелую гирию, можно сейчас добиться перевеса в нашу пользу.

Черчилль, прищурившись своими пронизательными, несколько заплывшими глазками, смотрел на Эйзенхауэра. Он понял, что хотел сказать этим генерал. Но его удивила иносказательная манера выражаться, отнюдь не свойственная Эйзенхауэру. Черчилль подумал, что это является признаком крайней тревоги, почти губительной неуверенности в своих силах и нежелания сказать это открыто. Черчилль пошел напрямик.

— Вы имеете в виду русских? — спросил он.

Эйзенхауэр опять ответил не прямо:

— Усилия наших офицеров связи в Москве узнать, собираются ли русские что-либо сделать, чтобы облегчить наше положение, потерпели неудачу.

— Отправьте в Москву специального посланца, причем обязательно высокопоставленного.

— Я это сделал. Я отправил своего заместителя, сэра Артура Теддера.

— Ну и что?

— Он до сих пор торчит в Каире. К сожалению, плохая погода властна даже над главным маршалом авиации.

Черчилль без труда разгадал в полушутливом, казалось бы, тоне Эйзенхауэра скрытую просьбу.

— Я полагаю, — сказал англичанин, — Сталин сообщит мне, если я спрошу его. Попытаться мне? — Огладив свою мясистую щеку и лукаво глянув на генерала, Черчилль добавил: — Разумеется, я это сделаю деликатно, без лобовых приемов.

Эйзенхауэр одарил его одной из самых обаятельных своих улыбок, которых у него был богатый выбор.

В тот же день через всю Европу в Москву полетело:

«ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ

...Я только что вернулся, посетив по отдельности штаб генерала Эйзенхауэра и штаб фельдмаршала Монтегомери. Битва в Бельгии носит весьма тяжелый характер, но считают, что мы являемся хозяевами положения. Отвлекающее наступление, которое немцы предпринимают в Эльзасе, также причиняет трудности в отношениях с французами и имеет тенденцию сковать американские

силы. Я по-прежнему остаюсь при том мнении, что численность и вооружение союзных армий, включая военно-воздушные силы, заставят фон Рундштедта пожалеть о своей смелой и хорошо организованной попытке расколоть наш фронт... Я отвечаю взаимностью на Ваши сердечные пожелания к Новому году».

К вечеру этого дня немецкие части вошли в Винген и Хагенау. Двинулись они также с Кольмарского плацдарма. Они легко преодолевали слабые инженерные сооружения американцев, у которых всюду почему-то фатально не хватало надолб, противотанковых мин, проволочных спиралей Бруно, даже мешков для земли.

Между тем из Москвы не было ответа, и на следующий день Черчилль решил отправить второе послание в Москву и на этот раз откровенно, без обиняков обрисовать тяжелое положение на Западном фронте. Черчилль набрасывал свое послание в присутствии Эйзенхауэра, изредка спрашивая его совета. Вверху бланка уже заранее было отпечатано, как и на предыдущем послании:

«ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ».

Черчилль писал своим энергичным почерком: «На Западе идут тяжелые бои...»

— Очень тяжелые, — добавил Эйзенхауэр.

«...очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного Командования могут потребоваться большие решения. Приходится защищать очень широкий фронт...»

Эйзенхауэр остановил его:

— Вы могли бы связать это с началом войны Гитлера с Россией. Эта аналогия тут уместна.

— Стоит ли? — усомнился Черчилль. — Воспоминания о поражениях не принадлежат к числу самых отрад-ных.

Эйзенхауэр настаивал:

— Просто для соблюдения равновесия.

— Ну что ж, — не очень охотно согласился Черчилль и вставил:

«Вы сами знаете по Вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт...»

Черчилль вопросительно посмотрел на Эйзенхауэра.

— Это хорошо, — одобрил Эйзенхауэр, — тон верный.

— Да, но все-таки в России было несколько иное положение, — возразил Черчилль и приписал:

«...после временной потери инициативы».

— Теперь, генерал, — продолжал Черчилль, — я прямо упомяну вас. «Генералу Эйзенхауэру очень желательно...»

Эйзенхауэр добавил:

— Тогда уж вставьте и «необходимо».

«...желательно и необходимо, — писал Черчилль, — знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях...»

Черчилль прервал письмо:

— Где сейчас Теддер?

— В Каире.

«Согласно полученному сообщению, — продолжал писать Черчилль, — наш эмиссар главный маршал авиации Теддер вчера вечером находился в Каире, будучи связанным погодой. Его поездка сильно затянулась не по Вашей вине...»

— Я это не совсем понимаю, — сказал Эйзенхауэр.

— Я тоже, — нетерпеливо сказал Черчилль, — но это хорошо звучит.

И продолжал, склонившись над бумагой:

«...Если он еще не прибыл к Вам, я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы...»

— Но почему обязательно Вислы?

— Потому что они собираются брать Варшаву. А впрочем, можно шире поставить вопрос.

И Черчилль добавил:

«...или где-нибудь в другом месте в течение января и в любые другие моменты, о которых Вы, возможно, желаете упомянуть...»

Черчилль откинулся на спинку кресла с удовлетворенным видом.

— Он ответит? — спросил Эйзенхауэр. — Ведь он очень подозрителен.

— Я вам признаюсь, Эйзенхауэр, с тех пор как я соединил в своем лице премьер-министра, первого лорда казначейства и министра обороны, я тоже фактически

диктатор Англии и я тоже стал подозрителен, как дядя Джо.

— Что ж, — задумчиво сказал Эйзенхауэр, — это естественно. Сталин вправе опасаться, что эти сведения как-нибудь просочатся к противнику.

— Совершенно верно. Поэтому мы добавим: «...Я никому не буду передавать этой весьма секретной информации, за исключением фельдмаршала Брука...»

— Не понимаю, при чем тут сэр Алан, — сказал Эйзенхауэр недовольно.

— Если вы возражаете против Алана Брука, я отказываюсь посылать эту телеграмму. Начальник английского генерального штаба должен иметь эту информацию.

Эйзенхауэр промолчал. Черчилль сердито хмыкнул и продолжал:

«...фельдмаршала Брука и генерала Эйзенхауэра, причем лишь при условии сохранения ее в строжайшей тайне...»

Эйзенхауэр взял телеграмму.

— Я сам отнесу ее шифровальщику.

— Подождите, — сказал Черчилль, — положение слишком серьезно. Достаточно ли это явствует из вашего послания?

Эйзенхауэр молчал. Потом он сказал:

— Мне не хотелось бы изображать наше положение слишком уж...

Он замялся. Черчилль подхватил:

— Катастрофичным? Мы не будем прибегать к этому паническому слову, хотя, может быть, оно... Мы скажем иначе, но достаточно выразительно.

Черчилль взял листок из рук генерала и приписал в конце:

«...Я считаю дело срочным».

Он снова откинулся на спинку кресла, утомленно прикрыл глаза рукой и сказал:

— Теперь будем ждать.

Ждать пришлось недолго. Наутро летчик принес в Шеллбёрст пакет, который ему три часа назад вручили в советском посольстве в Лондоне, где московские послания расшифровывались и переводились на английский язык:

**«ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА
И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕР-
ЧИЛЛЮ**

Получил вечером 7 января Ваше послание от 6 января 1945 года.

К сожалению, главный маршал авиации г-н Теддер еще не прибыл в Москву.

Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации. В этих видах требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный огонь. Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам.

7 января 1945 года».

Послание это, несмотря на грифы «лично» и «строго секретно», было немедленно доведено до сведения осажденного гарнизона Бастони. И оно подняло дух солдат гораздо больше, чем виски и джин, доставлявшиеся через коридор, пробитый 3-й армией.

Конечно, подготовка к грандиозному русскому наступлению не могла остаться совершенно скрытой от немецкой разведки. Крайне встревоженный генерал Гудериан примчался 9 января в «Орлиное гнездо».

— Нет никакого сомнения, — заявил он, — что русские ударят по нас на очень широком пространстве. А наш Восточный фронт — мой долг сказать вам это, мой фюрер, — не более чем карточный домик.

— Я уже говорил и повторяю вам это, Гудериан...

Если Гитлер не устроил сцену в своем обычном стиле, то лишь потому, что он пребывал в благодушном настроении по причине успешного продвижения в Эльзасе. Тут же сидел тщедушный человек в очках и недобро смотрел

на Гудериана. Это был Гиммлер, душа эльзасского наступления.

— ...повторяю вам, Гудериан: русское наступление — гигантский блеф.

Подведя Гудериана к карте, Гитлер стал объяснять ему, как искусно 89-й армейский корпус овладел тремя деревушками на Рейне. Гудериан слушал с почтительным вниманием, думая в то же время: «Почему, когда над фюрером нависает реальная угроза, он в своем ослеплении считает ее блефом?»

Это было 9 января.

А через три дня, 12 января, автор был разбужен непрерывным гулом, тяжелым, как отдаленный рокот землетрясения. Он вышел и стал на обочине шоссе, ведущего из Калушина в Варшаву (тогда еще немецкую) и наблюдал, потрясенный и восхищенный, бесконечную громаду войск, двигавшихся на запад. Действительно, погода была, как упоминал Сталин в послании к Черчиллю, нелетная. Грузные, набухшие влагой тучи так низко ходили над польской землей, что местами сливались с густым туманом, который клубился на шоссе и придавал фантастические очертания танкам, самоходным орудиям, гаубицам, «катюшам», грузовикам с бойцами и даже самим бойцам, выглядывавшим из-под брезентовых навесов.

Конечно, автор не мог знать далеко идущей цели этого грандиозного движения армии, как не знал и того, что примерно в эти же дни такое же движение на запад происходило на всем Восточном фронте от Балтийского моря до Балкан. Автор видел только каплю гигантского стихийного, как сама природа, движения. Но и эта капля потрясла его.

Того же 12 января Гитлер примчался из «Орлиного гнезда» в Берлин, в подземелье имперской канцелярии, забыв об эльзасских деревушках. Он наконец поверил в русское наступление. Забегая вперед, скажем, что больше он из своего имперского бункера не выезжал и там же через три с лишним месяца, убоявшись суда, убежал в смерть.

Все в тот же незабываемый день 12 января Гитлер приказал Рундшtedту перебросить 5-ю и 6-ю армии на восток. Он не знал, что Рундшtedт приступил к этому по собственному почину еще три дня назад после разговора

с Гудерианом. Все это делалось, разумеется, скрытно. То, что не могли срочно увезти, например осадные орудия, уничтожали предназначенными для этого мешками со взрывчаткой, которые почему-то называли «пакеты фюрера». Наблюдая это зрелище, Штольберг сказал Биттнеру:

— Машина для разрушения умирает и призывает маму...

Они сидели в купе классного вагона — Штольберг, Биттнер и два эсэсмана из числа тех, что сторожили Штольберга в квартире Биттнера. Штольберг насмешливо приветствовал их как старых знакомых. Они боязливо покосились на Биттнера и не ответили. Очевидно, запрет общаться с арестованным продолжал действовать. Но говорить вслух никто пока не догадался запретить Штольбергу. И он сказал, глядя в окно:

— А от вашей Шестой армии осталась одна тень.

— Но довольно густая, — проворчал Биттнер.

Действительно, сколько хватал глаз, видны были длинные колонны танков, штурмовых орудий, бронетранспортеров.

— Так куда же мы с вами, Биттнер?

— В Польшу, — коротко ответил гауптштурмфюрер.

— Ага! Разозлился, стало быть, наконец русский медведь...

Биттнер молчал. Но Штольбергу и так все было ясно: «Домашний арест перенесен на колеса. Дело о содействии побегу Ядзи-с-косичками продолжается. Теперь следствие перебрасывается, так сказать, на место преступления. Очевидно, рассчитывают, что там найдутся улики достаточно веские, чтобы сунуть меня в петлю. Может быть, даже очная ставка? Неужели ее схватили? ...»

ПОСРЕДИ НОЧИ

Биттнер всюду таскал за собой Штольберга. Начать с того, что 6-я танковая армия СС, в эшелонах которой они ехали на восток, прибыла совсем не в Польшу, как предполагал Биттнер, а в Венгрию. Через несколько дней они увидели серые воды Балатона. Штольберг подозревал, что Биттнер из каких-то соображений соврал ему с самого начала. Армия сразу включилась в бои за Буда-

пешт. Биттнер раздобыл трофейный полугрузовичок «додж — три четверти». Он сам сидел за рулем. Штольберг и конвоиры расположились в кузове. Штольберг решил сбежать при первом удобном случае, как только они углубятся в Польшу.

Они пробирались по узким польским дорогам меж отступающими войсками. На привалах офицеры из пропаганда-штаффель возглашали — кто возбужденно выкрикивая, кто вещая твердым и мужественным голосом, а кто монотонно бубня канцелярским напевом: «Солдаты! Отступление временное. Оно вызвано стратегическими соображениями...» Солдаты молча слушали, и по их неподвижным лицам нельзя было понять, что они думают, может быть, уже не верят, а может быть, просто устали от войны и им стало все равно, наступают они или отступают.

«Додж» остановился в небольшом польском городке. Здесь Биттнер узнал, что русские заняли Варшаву и Краков и движутся сквозь Польшу к Германии. Биттнер запер Штольберга в сарае.

Посреди ночи он разбудил Штольберга и вывел его на тихую спящую улицу. Спросонья Штольберг с трудом соображал, где он и что с ним происходит. Пахло свежестью от только что выпавшего снега. В вышине мурлычут самолеты. Штольберг по звуку определил: «Русские...» Почему-то в их журчании не было ничего грозного. Так мирно все кругом...

«Сейчас меня застрелят...» Штольберг вздрогнул, когда Биттнер взял его под руку.

— Ну что, Штольберг?

В голосе Биттнера было притворное дружелюбие.

— Вы хотели бы, чтобы я вас освободил? Да? Или, может быть, вы задумали убежать? И именно здесь, в Польше? К вашим польским друзьям? Может быть, к Ядзе-с-косичками? Увы, Штольберг! — Биттнер вздохнул сокрушенно. — Я ничего не делаю наполовину. Ваше дело будет мной доследовано до конца, несмотря ни на что.

Штольбергу стало легко. Нет, его не собираются кончать. Во всяком случае, не сейчас. Он сказал:

— Несмотря на то, что Германия проигрывает войну?

— Ах, вы на это рассчитываете? Вас вдохновило зрелище временно отступающих войск? Да, Германия сей-

час отдает пространство, но она уничтожает живую силу противника. — И добавил: — Германский тигр отступает, чтобы сделать новый прыжок.

Он толкнул Штольберга в машину и сел за руль. Машина рванулась с такой силой, что Штольберг и конвоиры стукнулись лбами.

Польша бежала под их колесами со стремительной быстротой. Через несколько дней, точнее, 23 января русские войска достигли границы Германии. Биттнер гнал машину, почти не останавливаясь.

В начале февраля ночью они въехали в Берлин. Мокрый снег. Берлин не бомбили. Штольберг пристально вглядывался сквозь оконце в город. Трудно было понять, где они. То ему казалось, что они на Франкфуртер-аллее под обгоревшими деревьями. Внезапно они сворачивали и кружили меж кирпичных холмов, среди поваленных зданий и переплетений рухнувших балок.

— Куда мы едем? — спросил он Биттнера.

Гауптштурмфюрер не ответил. Он был трезв и мрачен. Штольберг отвернулся от окошка. Зрелище разрушенного Берлина причиняло ему боль.

Они остановились перед массивным зданием крепостного вида. Штольберг сразу узнал его: тюрьма Плетцензее. Он подумал: «Конец». Он знал, что отсюда не выходят, отсюда выносят. Но он так устал, что ему сейчас было все равно, что с ним будет. Страшное напряжение последних дней сменилось бесчувствием. Он не ощущал себя. Ему казалось, что это не он шествует по коридору рядом с Биттнером, а кто-то другой, кого он видел как бы со стороны. Равнодушным взглядом скользил он по стенам, машинально искал на них следы запекшейся крови. Но белые кафельные стены сверкали лабораторной чистотой.

Они вошли в канцелярию. Биттнер положил на стол папку, о чем-то пошептался с эсэсовцем, сидевшим за столом. Штольберг только расслышал:

— Приговор будет доставлен дополнительно.

«Ага, — подумал Штольберг, — значит, не сегодня...»

На прощанье Биттнер сказал Штольбергу:

— События складываются так, что ваше дело не может быть доследовано до конца с достаточной детальностью. В то же время нет никакого сомнения, что обвине-

ние предъявлено вам совершенно правильно. В этих случаях приговор может быть вынесен на основании косвенных улик и внутреннего убеждения судей...

ФЕВРАЛЬ — АПРЕЛЬ

Тринадцатого февраля, после полуторамесячных боев, советские войска взяли Будапешт. В середине марта разбили немцев у Балатона. В середине апреля вошли в Вену, в конце — сомкнулись на Эльбе с американскими войсками.

Но еще до этого Биттнер узнал новость, которая его потрясла: Вальтера Моделя не стало. Этот маленький расторопный фельдмаршал, любимец Гитлера, покончил с собой. Из-за чего? Из-за краха империи? Германия погибла? Но ведь не может погибнуть стомиллионная нация? Значит, не из-за этого... Из-за чего же? Может быть, из-за страха возмездия?..

Биттнер отшвыривал от себя эту мысль, но она упорно возвращалась...

«Почему он не сдался американцам? — рассуждал Биттнер. — Да, он мог сдать союзникам, перед которыми у него руки чисты, если не считать расстрелов американских и английских военнопленных молодцами Скорцени...»

Биттнер сидел в пустом кабинете брошенного комендантского управления. Все бежали еще вчера, когда стала слышна отдаленная канонада. Все! За исключением его вестового солдата — эсэсман остается преданным до конца. Она и сейчас слышна, эта глухая канонада, русские еще далеко, еще есть время...

Для чего?

Вот в этом весь вопрос...

Биттнер достал из ящика початую бутылку джина. Он задумчиво посмотрел на нее. Может быть, на дне ее ответ на этот вопрос... Он налил полный стакан, но медлил пить. Эта назойливая мысль мучительно застряла в сознании, список военных преступников. Русские могли вытребовать Моделя у союзников, потому что он значится в списке военных преступников. Притом на одном из первых мест.

Биттнер отлично знает, когда это началось: еще в со-

рок третьем году. Модель, тогда генерал-полковник, отступал со своей 9-й армией от «московского плацдарма», как они называли эти места, то есть от района к западу от Москвы...

...Ах, как четко работает голова! Как немилосердна память! Биттнер хлебнул джина.

...словом, от Вязьмы, от Гжатска — они еще смеялись в своей компании над этим варварским сочетанием букв — и проводили там «политику пустыни», разрушали города, а деревни просто сжигали, население... вот в этом вся штука — население...

Население! Гибли города и деревни — так на то война! Но люди! Тут, конечно, дело дрянь, потому что у русских данные о расстрелах, повешенных, утонах в рабство... И не очень далеко от фельдмаршала в этом списке военных преступников он, Биттнер.

Конечно, это можно оспорить. Жестокость? Да. Но она введена в систему, разбита на параграфы, приобрела форму инструкции. Да и само выражение «военный преступник» — такого юридического термина нет. Опротестовать!.. Но перед кем?..

Он снова хлебнул джина. И еще. Он знает, как это происходит, когда шею захлестывает петля. Он рванул себя за воротник, полетели крючки, какая она скользкая, ах да! Ведь ее мылят. Он скинул китель и швырнул его в угол. Выпустил живот поверх ремня. Все равно душно...

Рывком, резко, как все, что он сейчас делал, выдвинул ящик стола. Там лежал пистолет. Он как-то косо посмотрел на него и зажмурился. «Но все-таки (он призывал себе на помощь весь свой цинизм) свой пистолет лучше, чем петля карателя».

Его восхитило собственное хладнокровие. «В т а к у ю минуту у меня хватает мужества остричь».

Да! Пора кончать. Все дела устроены: письма сожжены, четыре пары белья (из них одна неношенная) отосланы матери, смертный приговор Штольбергу отослан в тюрьму Плетцензее, золотой нацистский значок передан в надежные руки. «Я уйду из жизни как рыцарь. Для меня это вопрос чести...»

Он поднял стакан и медленно выпил до дна. Он хотел довести сознание до такого состояния затмения, чтоб ему стало все равно, что с ним будет. Тогда он найдет в себе силы совершить над собой то, что он собирался.

«Нет, не годится... Это состояние безразличия лишит меня желаний действовать. А между тем то, что я собираюсь сделать с собой, есть действие... А впрочем, какое же это действие... Ничтожное движение пальца...»

И он влил в себя стакан джина. Теперь он единственная неподвижная точка в мире. Все вокруг вертится... Но он не пьянел.

И вдруг ему стало безумно жаль себя: «А почему? Да, почему я должен лишать Германию себя? Что? Это не согласуется с вопросом чести?»

И тут же мозг-подхалим услужливо подсказывает:

«Но есть другая, высшая честь: быть полезным родине! Да! Притаиться! Прикинуться! Действовать исподтишка, пока не придет момент!»

Он знал, что он лжет, что все это притворство, игра, но не хватало мужества признаться себе в этом, потому что был трус.

Канонада внезапно стала оглушительной, потом она прекратилась, и сразу — совсем близко автоматные очереди.

В комнату вбежал вестовой.

— В городе русские! — крикнул он и исчез.

Биттнер метнулся за ним к дверям. Выстрел за дверью заставил его отпрянуть.

Он схватил бутылку и выпил все, что там было.

Посмертная записка гауптштурмфюрера Биттнера

«Идите вы все к черту... и пусть все идет к черту...»

ПОЧТИ СЕГОДНЯ

Как Ядзя могла узнать Штольберга в этой толпе, хлынувшей из поезда, если она видела его более двадцати лет назад в течение нескольких минут, когда он влек ее из сарая и потом торопливо усаживал, почти втискивая в ящик из-под сигарет? А когда через полтора часа выпустил ее оттуда и ссаживал из грузовика, уже было сумеречно, и он только указал ей на темнеющий вдаль лес и шепнул: «Беги!» Как она могла бы узнать его сейчас, отличить именно его в сутолоке вокзала среди других пожилых мужчин, дельцов, туристов, пенсионеров, торгов-

цев, ученых, поездных воров, обладающих, как известно, особенно благородной наружностью?

И все же она узнала его.

Они сидели на балконе ее дома, и под ними шумела и сияла Варшава. Разговор у них получился какой-то прыгающий, и посреди этой радостной возбужденной сбивчивости они не могли прийти в себя от изумления, что видят друг друга, и считали это чудом.

— Неужели вы нас до сих пор не любите?

— Кого «вас»?

— Видите ли, дорогая Ядзя, я заметил еще в вагоне со стороны ваших земляков... Ну, выразимся так: несколько настороженное отношение к немцам.

Ядзя поиграла пальцами по столу.

— Ну, прямо скажем, некоторые основания для этого есть.

— Были!

— Знаете что, не будем углубляться в национальную психологию. Это материя довольно скользкая.

Ядзя засмеялась. Она выглядела молодо. Да она и не старая, сорока еще нет. Солнце, пронзая легкий туман, плывущий над Варшавой, золотило ее косы. Она все еще не расставалась с ними, она обернула их вокруг головы как корону.

— Ну, — сказала она, смеясь, — вас, например, я люблю.

— Спасибо. Но я ставлю вопрос широко. А Томаса Манна вы любите?

— Люблю.

— Так вот Томас Манн — он, конечно, самый большой немец нашего века и самый упорный борец с фашизмом — сказал: «Если ты родился немцем, значит, ты волей-неволей связан с немецкой судьбой...»

— Это совершенно естественно.

— Подождите, я не кончил. Вернее, Томас Манн не кончил. «...связан с немецкой судьбой и, — добавил Манн, — с немецкой виной». А вот я считаю, Ядзя, что не может быть у народа круговой поруки! Что ж, значит, выходит по Манну, что я не немец?

— Милый Штольберг, вы забыли, что я вам сказала тогда: «Вы больше немец, чем все они, взятые вместе».

— Когда вы мне это сказали?

— Ну, тогда, на дороге, когда вы меня вытряхнули из ящика.

— Я видел, что вы шевелите губами, но я просто не расслышал. И моторы так шумели. К тому же я спешил.

— Да и я с трудом говорила. Я страшно волновалась!

— Еще бы! Они ведь пронюхали, что вы были в одном из ящиков.

Ядзя всплеснула руками:

— Неужели? Значит, вы меня ссадили вовремя! Между прочим, еще и потому вовремя, что я чуть не задохлась в том ящике. Если бы я там не провертела дырку...

Штольберг махнул рукой:

— Ох эта дырка! Когда моя автоколонна прибыла к месту назначения, там уже ждали ее гестаповцы, и они осмотрели каждый ящик. Они допросили всех шоферов. Ну, и, натурально, на меня как на начальника колонны завели дело. И эта ваша дырка сыграла не последнюю роль: она была тем, что мой следователь гауптштурмфюрер Биттнер назвал косвенной уликой.

— Что с ним стало, не знаете?

— Мне говорили, что он пустил себе пулю в лоб, когда фашизм рухнул. Но незадолго до этого он послал мой смертный приговор в Берлин, в тюрьму, где я был заключен. Меня уже собирались вздернуть. Да не успели. Русские меня освободили.

Ядзя на мгновение прикрыла глаза, как бы что-то вспоминая:

— А вы знаете, что вы едва не погибли гораздо раньше?

Штольберг посмотрел на нее с недоумением.

Она засмеялась:

— Два слова, которые вы тогда сказали, спасли вас от верной смерти.

— Когда?

— Когда вы вошли в тот сарай, где я спряталась.

Штольберг сказал несколько смущенно:

— Боже мой! Если бы вы знали, зачем я зашел туда. При даме сказать неудобно...

— Зачем бы вы ни зашли, вы тотчас об этом забыли: вы увидели меня.

— Да, вы сидели, скорчившись, в темном углу...

Ядзя неторопливо мотнула головой: не мешайте, мол!

Брови ее были грозно сведены, но глаза светились нежностью.

— Когда я увидела вас — темный силуэт офицера на светлом фоне открывшейся двери, я вскинула пистолет и прицелилась. В это время вы сказали... Вы помните, что вы сказали?

— Разве я что-то сказал? По-моему, я выглянул за дверь, увидел, что переулок безлюден, поманил вас, ну, и усадил в ящик.

— Но до этого вы сказали... В этом все дело! Я услышала в ваших словах и в вашем голосе столько доброты, что опустила руку с пистолетом.

— Но что же я такое сказал?

— Вы сказали: «Бедный ребенок...»

СОДЕРЖАНИЕ

Страницы из дневника первого лейтенанта Лайонела Осборна	5
Искусствовед	13
Вечер в казино	16
Поединок	22
Из дневника капитана Франца Штольберга	35
В ставке Гитлера	37
Поляк и его песня	60
Линия кометы	64
Операция	76
Техника	85
Ангелы не лгут	90
Чистокровные	95
Теорема Гёделя	101
Игра продолжается	118
Хлеб	126
Петля	128
Пощечина	132
Крупные разговоры	142
Из дневника капитана Штольберга	148
Strastoterpiets	149
Суматоха среди поваров	157
Из дневника подполковника Ч.-Б. Хенсона	164
Бастонь-I	168
Бастонь-II	194
Для примера	207
«Северный ветер»	219
Посреди ночи	231
Февраль — апрель	234
Почти сегодня	236

Лев Исаевич Славин

АРДЕННСКИЕ СТРАСТИ

*

М., «Советский писатель», 1978, 240 стр. План выпуска 1979 г. № 108
Художник М. З. Шлосберг. Редактор М. В. Ивачова. Худож. редактор Е. И. Балашева. Техн. редактор З. Г. Игнатова. Корректор Т. Н. Гуляева. ИБ № 1612. Сдано в набор 29.06.78. Подписано к печати 27.09.78. Формат 84×108^{1/32}. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 12,6. Уч.-изд. л. 12,80. Тираж 200 000 экз. Заказ № 593. Цена 95 коп. Издательство «Советский писатель». 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.

95 коп.



寶號

寶號